This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY LIBRARY
1969

Maksimov, S. V.

ЛѢСНАЯ ГЛУШЬ

КАРТИНЫ НАРОДНАГО БЫТА

ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ И ПУТЕВЫХЪ ЗАМѢТОКЪ.

С. МАКСИМОВА.

ВЪ ДВУХЪ ТОМАХЪ.

Повитуха—Знахарка. Крестьянскія посидѣлки. Дружка. Солдатъ Сысоевъ. Питерщикъ. Грибовникъ. Пастухъ. Японки. Китаянки.

Ищемъ добра на сторонѣ,
а домъ любимъ по старинѣ.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

14, rue Yvart, Paris XV

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ИЗДАНІЕ КНИГОПРОДАВЦА-ТИПОГРАФА К. Н. ПЛОТНИКОВА.

1871.

PG 3337
M13 L48

ПЕЧАТАНО ВЪ ТИПОГРАФІИ Е. И. ПЛОТНИКОВА. ПЕТЕРБУРГ. СТОР., КОЛПИНСК. УЛ., Д, № 23.

ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ И ВПЕЧАТЛѢНІЙ.

Б[illegible]КА
С[illegible]СКИХЪ
ШОФФЕРОВЪ
14, rue Yvart, Paris XV[illegible]

Повитуха-Знахарка.

Лежитъ мужичокъ на полатяхъ — сумерничаетъ: уповодъ на дворѣ еще непоздній и въ избахъ не зажигали лучины. Лежитъ мужичокъ и нѣжится, сонъ не беретъ его, а лезутъ въ голову разныя мысли: вотъ хотѣлось-бы ему пройтись по деревнѣ наѐбольшимъ, чтобъ всякій давалъ почотъ и ему, и хозяйкѣ-сожительницѣ. А то — онъ и въ выборныхъ-бы міру не-прочь послужить, лишь-бы не въ соцкихъ только:

— Замотаешься! — думаетъ онъ — да опять-же и про наѐбольшаго надумалъ, — не-рука и наѐбольшимъ быть — не выберутъ... Всякому, знать, зерну своя борозда, а давай намъ тюру да квасу, было бы за что ухватиться и зубами помолоть... вотъ оно что! А что и Бога гнѣвить: хозяйство веду не хуже кого: всего вдоволь — и скота, и птицы, и землицой міръ не обидѣлъ; вонъ и ребятенковъ возвелъ. Не морю ихъ, не пускаю по подоконьямъ...

Мужикъ повернулся, скрипнулъ полатями, обхватилъ голову руками и опять призадумался:

— Одного не пойму, что хозяйка совсѣмъ захилѣла: вонъ лежитъ на печи, словно пень, али-бо колода какая, а работящая баба, не во-грѣхъ сказать: на печи-то ее не удержишь въ другую пору. Совсѣмъ захилѣла баба, совсѣмъ: сѣлъ давѣ за столъ — глядь: и щи не дошли, да и каша перепрѣла. Сталъ говорить: отвѣту не даетъ толкомъ. Все на подложечку жалуется; не-то

дуритъ, не-то обошолъ ее какой недобрый человѣкъ. Взялъ бы плеть... такъ время-то, кажись, не такое: по лицу веснухи пошли, да опять-же и тяжелина...

— А которая тебѣ, Мироновна, пошла недѣля?—окликнулъ мужикъ сожительницу.

— Да вотъ, считай, съ заговѣнья-то на Петровки: которая будетъ?

— То-то, смѣкаю, Мироновна, не пора-ли?

— Ой, колибъ не пора, кормилецъ!—всю-то меня, разумникъ мой, переломало: и питье-то долитъ, и ноженки-то подламываетъ, вотъ къ ѣдѣ-то и призору нѣтъ... ни на что-то бы я, сердце мое, не глядѣла. Давѣ отъ печи словно шугнулъ кто: еле за переборку удержалась; въ головушкѣ словно толчея ходенемъ ходитъ; утрось пытало моторить...

Мироновна не вынесла и заплакала; мужичокъ опять заскрипѣлъ полатями.

— Да ты-бы, Мироновна, поспособилась чѣмъ!... — заговорилъ онъ послѣ продолжительнаго молчанія.

— Напилась давѣ квасу, ну-словно-бы и полегчѣло. А вотъ теперь опять знобитъ. Душа-то ничего не принимаетъ, разумникъ; позывъ-то не на то, что слѣдно брать: глины-бы вонъ я отъ печки поѣла, пирога-бы калинника пожевала...

— Нишни-ко, нишни, Мироновна, никакъ опять у тебя къ концу ведетъ! Давай-ко Богъ этой благодати на наше бездолье. Да смотри-же ты у меня опять рожай парня, а я, вотъ, тѣмъ часомъ пойду, да баню тебѣ истоплю. Пораспаришь косточки-то—полегчѣетъ. Вотъ я ужо...

Мужичокъ слѣзъ съ палатей, захватилъ топоръ, сходилъ истопить баню, вернулся назадъ, подошолъ къ печи и опять окликнулъ Мироновну:

— Что, спишь-ли, Лукерьюшка, спишь-ли, кормилка? али

ужъ тошно больно стало? нишни-же, нишни, дока!... вотъ я позову повитуху, добѣгу хоть до тетки Матрены!.. ужъ и мнѣ-то, глядя на тебя, таково тошно стало!..

Мужичокъ махнулъ рукой, повертѣлся по избѣ туда-да-сюда и опять ушолъ вонъ.

Вотъ онъ уже у тетки Матрены—деревенской повитухи-бабки. Кланяется ей въ поясъ и проситъ:

— А я опять со своей докукой, тетушка Матрена. Большуха-то у меня калины попросила; опять никакъ на-сносѣ: подсоби-

— Какъ-же не на-сносѣ, Михѣичъ! По-моему, ей еще вечоръ надо-бы... на тридцатую-то недѣлю шестая пошла...

— Не откажи!—проситъ Михѣичъ.—Ты, вотъ, и Петрованка повивала, и Степанко, и Лукешка отъ тебя шли: прими—куды не шло, еще какое ни-на-есть дѣтище. Рука у тебя легкая,—такъ по знати тебѣ и вѣру даешь: къ другимъ нашимъ бабамъ и не лѣзу...

— Ладно—ну, ладно, Михѣичъ!...

—Полтину-то я ужъ отъ себя сколочу, ну—тамъ, поди, съ кумовьевъ пособерешь: будетъ тебѣ за повитъ-отъ. Овчины я сейчасъ припасу, бери только бабу, да и веди въ баню...

И Михѣичъ опять поклонился въ поясъ; думаетъ, задуритъ баба—заломается, хоть и за своимъ-же добромъ пойдетъ; сказано: женской норовъ и на свиньѣ не объѣдешь, — ни съ чего инуюпору чванятся. А поклониться ей, не надломитъ спины, не волчья-же у мужика шея, не глоталъ мужикъ швецова аршина.

— Ладно—ну, ладно!—говоритъ повитуха,—а сколько ты посулилъ за повитъ-отъ?...

— Грѣшнымъ дѣломъ полтину мѣдью отвалю тебѣ, тетка Матрена; не стану врать—дамъ пятьдесятъ копѣекъ: не ругайся только!...

— Ну, а припасы-то какіе будутъ?

— Да ужъ на этомъ стоять не станемъ: приходи, да и хозяйничай. Я тебѣ и поросенка зарѣжу, и барана зарѣжу, куды не шло! Сама и сметаны напахтаешь!...

— Въ кумовья-то кого позовешь?

— Да братъ Семенъ будетъ и Степанида, Базиха Степанида...

— Что-жъ ты бурмистра-то не попросилъ, аль заломался?

— Не то, тетка Матрена, заломался! да нужно вѣдь и честь знать. Вонъ Лукешку принималъ, говоритъ: въ-послѣдніе принимаю, ни къ тебѣ, ни къ кому не тронусь; изъяну, слышь, много, а крестники-то развѣ куличъ принесутъ на Пасхѣ, а о Рождествѣ, глядишь, самимъ денегъ давай. И такъ ужъ ихъ у меня больше десятка... Пускай, говоритъ, Евлампей-земской крестить, тому это дѣло совсѣмъ на-новѣ. Благо вѣдь пріохотиться, говоритъ, къ этому дѣлу, а тамъ—подавай только...

— Такъ ты-бы лучше земскаго попросилъ, Михѣичъ,—все-жъ и тебѣ лучше. Вонъ онъ, толкуютъ, гужей накупилъ, дуги гнетъ—такъ лавку, слышь, открываетъ; кузницу, поговариваютъ, у Демки скупаетъ...

— Лучше по родству, тетка Матрена, водиться: и Евлампій чванливъ больно, богатъ—такъ и занозистъ. Мы вѣдь съ тобой и въ лаптяхъ ходимъ да не спотыкаемся, а и братъ мужикъ хорошій: три коровы на дворѣ, опять и жена тяжела... Сама знаешь: тебѣ-же на-руку...

Еще разъ поклонился Михѣичъ въ поясъ, но повитуха Матрена не ломалась больше. Въ-двоемъ стащили они роженицу въ баню и увидѣлъ здѣсь Михѣичъ свою радость, хотя и не въ первой ужъ разъ. Видѣлъ, какъ повитуха дала роженицѣ сначала воробьиное сѣмя, а потомъ стаканъ вина и на закуску—кусокъ круто-посоленаго чорнаго хлѣба. Видѣлъ, какъ поили потомъ его жену пивомъ съ толокномъ, и зналъ, что и впередъ ей не будетъ запрета ни на какую пищу.

Вечеромъ собрались у колодца двѣ бабы-сосѣдки—воды накачать, и повели пересуды:

— Смотри-кось, — говорила одна — новый мѣсяцъ никакъ народился, гляни-ка, мать, какой лупоглазый вылѣзъ; знать на утрѣ-то сиверкомъ завернетъ...

— А видѣла, дѣва, какъ давѣ Михѣичъ-то изъ бани выскочилъ?

— Нешто, родная, запарился?

— Чего, мать, запарился: сама-то, слышь, родила; вѣдь она на-послѣдяхъ ходила...

— Кого-же Богъ далъ: бычка или телочку?

— Опять, дѣва, парнемъ прорвало. Выбѣжалъ, слышь, давѣ изъ бани, словно сблаговалъ. Ухватилъ меня за понитокъ, дакакъ крикнетъ чуть не на всю-то деревню: радуйся, слышь, Агафьюшка,—третьяго парня рожаю. А мнѣ то что? по мнѣ-бы дѣвоньку-то лучше!..

— И по мнѣ-то, дѣва, кажись дѣвонька-то лучше. Ну, да давай ему Богъ; надъ его-бы семьей и сбывалось; мужикъ-то вѣдь онъ больно хорошій. Чего не попросишь: всего даетъ, коли-бъ не перечила ему большуха-то...

— Зелье-баба, и говорить нечего; попроси горшечка — задавится—говорила другая баба и расписала-бы Михѣича хозяйку хуже всего, еслибъ не перебила ее первая баба:

— Кого же они, мать, повивать-то взяли?

— Опять, дѣва, тѣ-же завидующіе, бестыжіе глаза, опять Матрена криворотая!.. ужъ такая-то прорва, такая-то волчья снѣдь, ненасытиха! Все бы тебѣ она поперечила. Вонъ пришла я лѣтось къ Скворцу на повитъ: и дѣло было сладили за полтину. Она тутъ и подвернись, ненасытиха-то эта и подвернись: да у Агафьи, говоритъ, рука тяжела, кость широка; да у ней, говоритъ, глазъ недобрый, обыку, говоритъ, не имѣетъ; у Базихи

ребенка, слышь, заморила... У, прорва эдакая!.. волчья снѣдь! ужъ я-жъ ее допеку!... вонъ на мѣстѣ мнѣ тутъ провалиться!..

И ничего больше не узнала любопытная допрощица—первая баба, какъ ни пробовала, какъ ни пыталась разговорить сосѣдку, но добилась только одного, что та и глаза Матренѣ пескомъ заслѣпитъ, и на задахъ поймаетъ—въ косы вцѣпится, со свѣту сгонитъ Матрену: пусть-де она не перечитъ другимъ,—не супротивничаетъ. Отъ другихъ уже кое-какъ допыталась распрощица, что самъ-де Матренѣ полтину посулилъ за повитъ; братъ самого идетъ отцомъ крестнымъ, Базиха рубаху начала кроить,—стало быть въ матери крестныя назвалась: послѣ-завтра, можетъ, будутъ крестины, а можетъ и нѣтъ... а самъ-де куды-шибко радуется: то въ баню забѣжитъ, то опять вернется въ избу: поиграетъ здѣсь съ старшенькими ребятенками, да и опять лѣзетъ въ баню. И зачѣмъ его носитъ туда: студитъ только.

Но вотъ словно и угомонился отецъ: раздѣлся, прилегъ на полати, свѣсилъ внизъ голову, ласкаетъ ребятишекъ, улыбается, подушку въ одного парнишку бросилъ и—спать бы. Нѣтъ, Михѣичъ опять зашевелился, разъ-пять перекинулся съ-боку на-бокъ и опять-таки спрыгнулъ съ палатей и опять сталъ суетливо оболокаться. Потомъ подбѣжалъ къ зыбкѣ—покачалъ ее за кромку, да вспомнилъ, что пустая была еще эта зыбка; потрепалъ старшаго мальчика за волосы въ видѣ ласки, но не поняли буки-ребята этой ласки—разревѣлись. Отецъ того-да-другаго погладилъ по головѣ, тому-да-другому посулилъ купить пряниковъ да орѣховъ. Вотъ, опять вышелъ въ сѣни и опять вернулся назадъ въ избу: шапку забылъ на полицѣ, да и вмѣсто лаптей были на ногахъ у него туфли—берестяные ступанцы. Отецъ поправилъ оплошность, безсознательно перебралъ на столѣ обглоданные, замусоленные кусочки ржанаго хлѣба, забытые ребятишками,—и не прибралъ. Порылся въ ставцѣ—и ничего не вынялъ.

Заглянулъ зачѣмъ-то за переборку, толкнулъ ногой въ голбецъ,— и не притворилъ двери. Наконецъ опять вышелъ на крылецъ, спустился на улицу, но не пошолъ въ баню, а прямо-таки въ свое приходское село.

— Съ требой уѣхалъ!... помираютъ!—говорила ему отца Ивана работница.

— Я подожду: вѣдь, поди, скоро пріѣдетъ?

— Чего скоро:—почитай, только-что, только уѣхалъ!

— Я подожду, подожду, а скоро обѣщали?

— Кто-жъ его знаетъ?.. строкъ-отъ съ нимъ! Дьячкомъ-то Изосимъ поѣхалъ,—добавила отъ себя работница.

— Ну-вотъ, поди ты! — безсознательно вымолвилъ Михѣичъ.—А я, какъ тебя звать-то? я.... подожду лучше...

— Чего тебѣ надо сказать—я, пожалуй, молвлю батюшкѣ-то.

— Паренекъ, кормилица моя, родился, паренекъ... и такой-то, мать моя, гладкой, да тяжелой, ужъ такой-то рѣзвунко, дѣвонька, родился! Въ меня, баютъ бабы!.. да и на матку похожъ, славный будетъ, во... славный! Завтра въ избу перетащу и зыбку ужъ навязалъ на ту притчину...

— Да ты изъ какой деревни? — перебила работница какимъ-то плачевнымъ голосомъ и, подхватившись локоткомъ, пригорюнилась.

— Изъ вашихъ, мать... изъ сосѣдскихъ.... вонъ: съ поля на-поле! сказываютъ, гоны трои будетъ, а по-мнѣ такъ и двухъ не наберется....

— Тамъ моя сестра зиму-сь на супрядкахъ гостила!—сказала съ глубокимъ вздохомъ работница и еще больше пригорюнилась.

— Нешто померла сестра-то?—спросилъ Михѣичъ, готовый въ эту минуту сострадать всѣмъ и всему. Стало ему жалко, крѣпко жалко сироты-работницы.

— И — что ты, батько, съ чего-бъ помереть?... такъ только гостила!..—сердито вскрикнула работница и отняла ладонь отъ подбородка.

— А скоро-ли самъ-отъ пріѣдетъ?—опять за свое ухватился отецъ.

— Сказала: съ нимъ срокъ! ну, и проваливай.

— Нѣтъ, ужъ я подожду лучше!—закончилъ докучный допрощикъ и сдержалъ свое слово.

На третій день отецъ привезъ новорожденнаго парня въ село, здѣсь отдалъ его на руки кумовьямъ, чтобы тѣ отнесли его въ церковь, а самъ опять зашолъ къ священнику просить его дать парню имя.

— Какъ-же ты-самъ возжелаешь нарѣщи его? — спросилъ священникъ.

— Твое дѣло, батюшко—отецъ Иванъ: какое хочешь, то и ладно, по мнѣ.... самъ знаешь: все на тебя полагаю, на то вѣдь ужъ ты и приставленъ.

— Въ сей день Анемподисту празднуемъ! — отвѣчалъ отецъ Иванъ и слышалъ, какъ Михѣичъ перевертывалъ имя на разные лады — словно балалайку настраивалъ; и наконецъ-то поймалъ:

— Енподистъ, вишь Енподистъ... хитро больно имя-то, батюшко. Далъ-бы ты какое ни-на-есть попроще, а то перевруть дуры-бабы!...

— Еще память Герасима?

— Какъ ты, батюшко, молвилъ? — ровно не вслушался. Никакъ опять...

— Герасима! — перебилъ священникъ.

— Ну вотъ и ладно, батюшко! никакъ и выйдетъ-то Гаранька, коли по скорости надо. Благослови, отецъ Иванъ: кумовья-то въ церкви!...

И сталъ Михѣичъ съ Гаранькой — свѣжимъ дѣтищемъ, новой утѣхой и радостью, будущимъ кормильцомъ и помощникомъ!

Пока онъ былъ на селѣ, въ избѣ его повитуха подняла мыль коромысломъ: напекла-нажарила, наварила-напарила; приготовила все, что припасъ хозяинъ, уложила роженицу за переборкой, накрыла на столъ и поджидала дорогую роденьку хозяевъ, батюшку-священника съ матушкой-попадьей, и дьячка со старухой-просвирней. Гости усѣлись за столъ: священникъ съ женой въ переднее мѣсто подъ тябло, рядомъ съ ними кумъ съ кумой, ближе къ краю дьячокъ съ просвирней, противъ нихъ родня хозяевъ, а съ самаго краю и большакъ въ семьѣ самъ Михѣичъ, потому-что съ него и начнется сейчасъ угощенье.

Бабка-повитуха засуетилась, забѣгала, схватила со-стола принесеный родными подарокъ—горшокъ порушки, приготовленной изъ сушоной малины съ медомъ, и отнесла его за переборку, откуда, накормивши роженицу, явилась съ другой порушкой, которую приготовила сама изъ пшонной каши съ перцомъ и хрѣномъ, страшно заправленной солью и, только для прилики, обсыпанной изюмомъ. Отецъ новорожденнаго попробовалъ, поморщился, да хоть-бы и назадъ отдать, до того нехороша была эта порушка; но, таковъ ужъ обычай, нужно было доѣсть стряпню бабки, которая къ тому-же и объяснила отцу:

— Что вотъ-де, какъ твоя хозяйка третеводни мучилась, такъ и ты поломайся теперь. Не нами-де сказано, что мужъ да жена — одна сатана; обоимъ и гужъ за одно тянуть.

Но этимъ только не окончилось дѣло: Михѣичъ долженъ былъ съѣсть еще ложку соли въ то время, когда кумъ съ кумой подняли пирогъ надъ головами съ завѣтнымъ желаніемъ, чтобъ „крестникъ ихъ былъ такъ же высокъ, какъ приподнятъ пирогъ.„ Затѣмъ шло угощеніе кашей, за которую бабка получила

отъ кумовьевъ деньги, а за вино, которое она первому поднесла отцу, получила обѣщанные за повитъ пятьдесятъ копѣекъ мѣдью.

Остальной порядокъ и угощенье шли своимъ обыкновеннымъ чередомъ: первая чарка и первый кусокъ священнику, послѣдняя отцу и бабкѣ. Гости церемонились, заставляя себя долго упрашивать, пока не подвеселились и не повели обыденные разговоры, въ которыхъ, по обыкновенію, главная роль принадлежала священнику, и самая послѣдняя, незначительная—хозяину.

Священникъ говорилъ, что у нихъ скоро благочинный будетъ новый, владыка по епархіи ѣздитъ, такъ дьякона не мѣшало-бы попросить. Мужички потолковали о томъ, что давно ужъ подумывалъ объ этомъ и баринъ, да бурмистръ не ручается за достаточностъ вотчины, говоритъ, что и однимъ-де можно удовольствоваться. Тутъ-же кстати потолковали гости и о томъ, что въ Онтушевской волости мужики землю оттягали, и была у нихъ свалка съ деминскими такая горячая, что только и удалось залить въ онтушевскомъ кабакѣ. Гости говорили все громче-и-громче, такъ что разговоръ ихъ перешолъ въ какой-то шумъ, изъ котораго только и можно было понять одно, что всякій, какъ-бы по заказу, старался перекричать остальныхъ. Затѣвались къ концу и пѣсни, но, по обыкновенію, не ладились. Цѣлую ночь, да и половину другаго дня, михѣичевъ сивко развозилъ гостей по-домамъ, а самого большака только на другой день къ обѣду едва доискались въ углу на повитѣ.

Роженица недолго пролежитъ въ постелѣ: завтра-же она будетъ возиться у печи, отрываясь только для того, чтобы покормить ребенка. Она и теперь не лежала-бъ за переборкой, если-бъ не былъ на свѣтѣ обычай класть на зубокъ новорожденнаго и непремѣнно подъ подушку матери и если-бъ не послаблялъ Мироновнѣ мужъ-баловникъ.

Не задумалась-бы она родить, какъ и многія деревенскія

бабы, на томъ-же мѣстѣ, гдѣ часъ приспѣетъ, будетъ-ли это подлѣ печи, середи чистаго поля на пожнѣ и покосѣ, во время самой спѣшной и трудной работы.

На другой день послѣ крестинъ въ Михѣичеву избу то-и-дѣло приходили сосѣдки на навиды: приносили посильный подарокъ: иная пирогъ, другая пасмы двѣ нитокъ, иная успѣла сшить рубаху, другія просили простить, что ничѣмъ не могутъ порадѣть, или по недостатку или по безпамятью. Однимъ словомъ, все было также, какъ обыкновенно бываетъ на любыхъ крестьянскихъ крестинахъ.

Ребенокъ покрикивалъ сначала тихо, но съ прибавленіемъ числа дней и недѣль, все громче-и-громче, такъ-что подъ-часъ получалъ порядочные шлепки и громкую брань отъ матери, на попеченіи которой онъ и оставался до-тѣхъ-поръ, пока не начиналъ самъ ползать медвѣдкой или стоять дыбъ-дыбъ, опираясь ручонками на лавки. Отцово дѣло тутъ сторона: развѣ иногда возьметъ онъ сынишку на-руки и, поднимая къ потолку, начнетъ стращать букой или попугаетъ его своей бородой, выигрывая на губахъ какую-нибудь дребедень. Дальше, когда парнишко начнетъ подростать, онъ предоставляется вполнѣ самому-себѣ, а когда войдетъ въ разумъ, то самъ и радѣть о себѣ долженъ; „выростетъ съ мать, самъ будетъ знать, какъ изъ песку веревочки вить.“

Въ нашихъ деревняхъ, гдѣ едва-ли не всякая баба исполняетъ обязанности повитухи, всегда ужъ найдется такая, которая исключительно посвящаетъ себя этому занятію и, слѣдственно, пользуется у роженицъ особеннымъ предпочтеніемъ передъ всѣми другими. Она вмѣстѣ-съ-тѣмъ и лѣкарка, и знахарка, и наговорщица, однимъ словомъ, такое лицо, безъ котораго трудно, кажется, обойтись русскому человѣку. Къ такимъ-то исключительнымъ личностямъ принадлежала и тетка Матрена.

Происхожденіе ея очень просто: она почти всегда дочь тоже повитухи и рѣдко принимается за свое завѣтное ремесло по собственному желанію. Это послѣднее обстоятельство совсѣмъ отъ нея не зависитъ. Оно устраивается какъ-то уже само-собою, какъ у-всякаго другого русскаго простолюдина.

Съ-молоду у Матрены, разумѣется — общее горе и радость, какъ и у всякой другой деревенской дѣвчонки. На рукахъ у ней вѣчно ребенокъ—сестренка или братишко, къ которому она приставлена на правахъ няньки. Съ нимъ она обязана носиться цѣлый день,—пока не кликнетъ мать на насѣсто. Позовутъ-ли ее играть въ прятки—тѣ изъ товарокъ, которыхъ судьба избавила отъ этой непріятности быть сестрой,—Матренка вскинетъ парнишку на закорки и идетъ къ овинамъ. Здѣсь посадитъ брата къ уголку и бѣгаетъ съ другими — рѣзвится, забываетъ свою докучную службу, а тамъ, смотришь, опять идетъ она по деревнѣ босоногая, растрепанная, и опять у ней торчитъ за спиной чорномазый братишко, ухватившійся обѣими ручонками за голую шею сестры.

Пригласятъ-ли Матрену хороводы водить, и опять, смотришь: прыгаетъ она, рѣзвится по-старому и опять по-старому сидитъ ея братишко, въ пыли и грязи, насупившись, и кричитъ благимъ-матомъ, когда обнюхаетъ его проходившая свинья или собака. Но вотъ бѣда: замѣтила это нерадѣніе Матренки проходившая мать и еще больше встрепала ея лохматую голову и впередъ наказала не покидать братишки. Этотъ грѣхъ куда-бы не шолъ, сама назвалась на него, а бываетъ и такъ, что самъ парнишко затѣваетъ бѣду себѣ на-голову, да еще и на глазахъ матери, какъ случилось это въ то время, какъ игралъ онъ съ котенкомъ. Баловливый котенокъ, оцарапавъ парня, напугалъ его такъ, что перекинулъ навзничъ и свалилъ плашмя съ лавки, но и тутъ не прошла бѣда мимо няньки: за чѣмъ-де не смот-

рѣла, ты ужъ не маленькая! И это-бы ничего: горе пополамъ съ братомъ, да и мать дала наческу,—никто другой, а то бываетъ и такой грѣхъ, что и самъ-то онъ, братишко, всей пятерней врѣзывался въ сестрино лицо и оставлялъ на немъ царапины на цѣлую недѣлю. Конечно и тутъ извернуться можно: стоитъ только затащить его подальше на-зада, нахлопать тамъ до-сыта, да подождать пока отойдетъ, а тамъ сунула корку хлѣба, и гора съ плечъ долой. Но вотъ уже бѣда неисправимая: когда дѣвчонки затѣютъ хороводы, а братишко спитъ, мать не пускаетъ на улицу:

— Подожди ходить, вонъ братенко проснется и его съ собой прихватишь...

— Да, мамонька, хороводы-то на-ту-пору разобьютъ, не поспѣешь...

— Подростешь, дура, наиграешься...

Ничего не остается дѣлать, какъ надрываться — плакать, пока не разсердится мать и не исполнитъ обѣщанія.

Но вотъ ужъ подросъ братишко, самъ-по-себѣ сталъ ходить и бѣгать, нянька на радостяхъ:

— На-ко, говоритъ мать, сестренку тебѣ, похоль и ее, да смотри не по лѣтошному, а то опять дубцомъ отстегаю, цѣлой вѣникъ истреплю!..

Дѣлать нечего, опять нужно покориться горькой участи и ожидать той поры, когда или мать рожать перестанетъ, или сама Матренка сдѣлается подросткомъ и ея скучная обязанность перейдетъ на другую сестру.

Но эта пора не далеко, время летитъ своимъ чередомъ скоро и незамѣтно: вотъ ужъ на Матрену начали зариться большіе ребята. Одинъ, что ни пройдетъ мимо, то и задѣнетъ: либо щипнетъ, либо просто начнетъ по плечу трепать, либо надъ ухомъ что-есть силы языкомъ щолкнетъ.

А надумаетъ парень въ хороводѣ пройтись съ платочкомъ, опять за Матрену:

— Выходи-ко, Матреха, воробушкомъ!

Въ горѣлки-ли врѣжется парень,—опять-таки ловитъ ее, а не другую дѣвку.

На камушкѣ-ли горитъ Матрена—никто ее не выкупитъ прежде того-же парня; никто изъ ребятъ не поцѣлуетъ прежде выбраннаго-суженаго.

Матрена и сама не прочъ отвѣчать на ласки парня: не пуститъ она колечка дальше своей руки, если довелось ей играть въ веревочку и ищетъ это колечко ея молодецъ. Никого не бьетъ она жгутомъ такъ-больно, какъ того-же парня, не слушаетъ и усиленныхъ криковъ его: „чуръ-меня!“ У ней и „охъ болитъ!“ по томъ-же парнѣ, а и рубль пойдетъ: у Матрены въ рукахъ застрянетъ. Однимъ словомъ, дѣвка во всемъ становится покорною парню:

— Слышь, Матреха, выходи-ко на супрядки къ бурмистру: я тамъ буду!—скажетъ волокита-парень.

И Матрена идетъ на супрядки, не противится, хотя и у самой въ избѣ супрядки идутъ, и много еще дѣвкѣ пряжи прясть и мотать безъ бурмистрова добра, на котораго хватитъ работницъ и кромѣ нея. Придетъ дѣвка къ бурмистру, непремѣнно придетъ и найдетъ тамъ своего молодца, который подсядетъ къ ней и наговоритъ съ три короба всякаго вздору.

Запоетъ-ли, отъ скуки, Матрена пѣсню: парень первый подхватитъ ее. Захочетъ-ли дѣвка уйти изъ избы, опять-таки тотъ-же молодецъ провожаетъ ее; надумаютъ-ли дѣвки пошалить-подурачиться, погасить лучину въ избѣ: первый бросается къ свѣтцу Матренинъ парень; а Матрена и лучину запрячетъ на повитъ, какъ только можно дальше, въ самой уголъ на сѣновалѣ.

Пойдутъ-ли ворожить дѣвки въ баню о суженомъ: первымъ

засядетъ туда тотъ-же парень и велитъ Матренѣ завораживаться прежде другихъ. Пойдутъ-ли невѣсты слушать на полѣ звонъ или пѣніе,—Матренинъ парень уже стоитъ за овиномъ, дожидается суженой: ее колокольцомъ пристращаетъ, а для другихъ пропоетъ погребальную. Начнутъ-ли подходить къ шапкѣ за жеребьемъ: кому съ кѣмъ въ этотъ вечеръ женихаться,—Матрену, какъ-будто надоумитъ кто, вынуть ломаный грошъ, словно ея Матюшка и не могъ-бы положить неломаный. Дѣвки молчатъ, какъ-будто и не замѣчаютъ ничего; а ребятамъ и подавно нѣтъ никакого дѣла: всякой думаетъ о себѣ и о своей—таковъ ужъ искон ный обычай. Не любятъ только они захожихъ гостей и не даютъ своихъ дѣвокъ въ обиду. Не думаютъ о Матренѣ ни парни, ни дѣвки; думаетъ о ней только одна мать и выговариваетъ:

— Ты что это, нечеса, со старостинымъ-то Матюшкой женихаешься: нешто не нашла попроще?

— Да онъ самъ присталъ, не я выбирала! — отвѣчаетъ Матрена и хоть въ слезы пуститься.

— Не женится онъ на тебѣ, дура, помяни мое слово. Вѣдь ты сирота, да и безъ достатку; а у Матюшкина батьки мошна-то потуже бурмистриной, баютъ...

Но дѣвка не вѣритъ матери, не можетъ перечить сердцу: она и во снѣ съ Матюшкой по ягоды ходитъ, грибы собираетъ.

— Не обманетъ!—говоритъ она въ свою защиту матери,—самъ обѣщалъ ожениться, не станетъ врать. Вонъ намнясь пряниковъ купилъ, платокъ обѣщалъ подарить. Какой только, слышь, любишь: жолтый или красный, тотъ-молъ и принесу...

Мать все-таки стоитъ на своемъ:

— Брось-де, дѣвка, Матюшку; выбери кого другого. Этотъ бычокъ не по нашему стаду. Вонъ, говоритъ, сестрина Паранька взяла себѣ Кузьку Кузнецова и идетъ дѣло полюбовному; передъ масленицей, слышь, и сватьба будетъ....

— Нѣтъ!—стоитъ на-своемъ дѣвка,—не отстану отъ Матюшки, хоть живую рѣжь. Иной и выводное дастъ—да плачется, а другой и даромъ возметъ—да любуется. Пусть-же, коли богатъ Матюшка—не моя вина. Не даромъ онъ пряники носитъ, за меня-же безинскаго лакея отколошматилъ....

Мать пригрозилась было къ бурмистру свести, собиралась и—не собралась.

Дѣвка продолжала любиться съ парнемъ, пока не пріѣхала въ деревню барская горнишная, которой самъ баринъ велѣлъ выбрать лучшаго парня по всей деревнѣ.

Какъ на зло, словно предчувствовала Матрена: горнишная выбрала старостина Матюшку и пошла вмѣстѣ съ нимъ на поклонъ къ барину съ полотенцомъ и кускомъ деревенскаго полотна. Баринъ поцѣловалъ молодую въ щоку, далъ ей на крестины пятьдесятъ рублей и велѣлъ быть клюшницей, а молодому мужу приказалъ выдать синій армякъ и послалъ привыкать къ кучерскому дѣлу, да не подстригать бороды....

Долго-ли, послѣ такого горя, дѣвкѣ поплакать, проплакаться и, опомнившись. съ ужасомъ увидѣть, что всѣ подруги-сверстницы вышли за-мужъ: каждая за своего суженаго, не несетъ этой доли одна только Матрена, не будетъ она пѣть на прощаньи родителямъ, хоть и кстати была-бы эта пѣсня:

Я еще у васъ, родители,
Я просить буду, кланяться,
Не оставьте, родители
Моего да прошеньица:
Не возилъ-бы меня чужъ-чуженинъ
На чужую сторонушку,
Къ чужому сыну отецкому,
Не пасся бы онъ, не готовился,
На меня-бы не надѣялся.
У меня-ль, у молодешеньки
Еще есть три разны болѣсти:
Я головонькой угарчива,

Ретивымъ сердцомъ прихватчива,
Своимъ свойствомъ не уступчива.

Въ деревнѣ нѣтъ для Матрены жениховъ: остались одни подростки, а изъ другихъ деревень не ѣдутъ по дѣвью красоту, потому-что всѣ знаютъ Матрену, знаютъ и ей Матюшку, но еще больше того знаютъ, что злѣе обойденной невѣсты и зла мало на свѣтѣ.

Если вообще всякая деревенская баба не-прочь на чужой дворъ закинуть камушекъ, посудачить—посплетничать; то тѣмъ-болѣе тѣ изъ нихъ, у которыхъ не уладилось дѣло на семейное житье, тихое—безпечальное. Матренѣ—всѣ соперницы; всякой парень женихомъ считался. Она одна осталась теперь, какъ былинка въ полѣ, какъ сосенка—сиротинка при дороженкѣ Обойденная невѣста, что домъ зачурованный, къ нему крещоный неопытный человѣкъ и подойти побоится: черти въ немъ поселились, змѣинымъ ядомъ дышутъ на всякаго; а и житье въ немъ—адъ кромѣшный.

Дѣвка на первыхъ порахъ покручинилась, разливалась горькими слезами, размывалась громкими рыданьями, не пила въ мѣру не ѣла въ сытость; отъ тяготы сердечной была своя-не-своя, а когда и пришла въ себя, то немного радостей вызнала, немного отраднаго выпытала.

— Агашку за вихряевскаго питерщика Михѣя сговорили,— въ воскресенье въ полуденъ и сватьба, слышь—сообщали однѣ сосѣдки.

— Лукешку побратали вечоръ, да у сестры-то ея, Степаниды, тоже на мази дѣло—сообщали другія.

— Гаранька въ Михѣевѣ—сказываютъ—подыскалъ. Ванюшка тоже свахъ засылаетъ, Степка, Иванъ Кандратьевъ...— высказывали третьи на горькую кручину и слезы Матрены.

А на ея дворѣ ни свата говорливаго, ни щебетуньи-сва-

хоньки, словно Мамай войной прошолъ по деревнѣ: ни откуда нѣтъ засыла и подговоровъ.

Разъ сорвалось съ сердца Матрены супротивное, неладное слово на подругъ-соперницъ и на ребятъ-обидчиковъ,—и пошло у ней съ той поры, что дальше, то горше. Никому не стало пощады, на всякаго нашлось у ней съ три короба всякихъ обидъ. Про кого ни скажутъ доброе слово сосѣдки—все не по ней.

— Вотъ Степанида-то Питерщикова сговорена, складная дѣвка, что стеклушко—чистенькая, во всѣхъ порядкахъ, и смирная и къ родительской волѣ прислушливая,—выговариваетъ бывало сосѣдка.

— Голыми-то руками за нее не берись; она только по глухой порѣ за овины-то къ ребятамъ ходитъ, днемъ ее тамъ не увидишь,—отвѣтитъ Матрена, да и ни слова больше.

— А Лукерьюшко-то? Эта и въ церкви завсегда напереди стоитъ, да въ землю молится, а и на посидкахъ-то не больно чтобы ужъ очень шустрая....

— У этой и матка-то за солдатами въ походъ ходила, да и отецъ-отъ, какъ ушолъ въ Питеръ, въ деревню не заглядывалъ....

— Ну, да ужъ про Агафьюшку-то не скажешь-же худо?

— Про десятникову-то?

— Смирена дѣвка, не тайщица, не привередница, нѣ она тебя облаетъ, нѣ сдѣлаетъ по-своему. На супрядки попросишь—первая придетъ; на помочь позовешь—первая съ серпомъ на пожнѣ; подарокъ посулишь—отказывается; на домъ его принесешь—назадъ отдаетъ....

— У ней только-что рожа-то пряслицей, да коса—что голикъ, а пальца-то тоже не клади ей въ ротъ,—крикнетъ бывало Матрена во всю избу, да и рѣшитъ тѣмъ, что говорить перестанетъ, заключивъ вопросы короткимъ отвѣтомъ:

— Хороша наша деревня—только улица грязна.
Хороши наши ребята—только славушка худа,
Хорошо нашими дѣвками тынъ городить.

А между-тѣмъ одно зло выручаетъ другое: Матрена скажетъ у себя въ избѣ, а гулъ разойдется послѣ и по всей деревнѣ. Брось калачъ на лѣсъ, пойдешь—найдешь,—говоритъ пословица; а на брань слово купится,—утверждаетъ другая.

— Матрена, что воронъ:—на чьей избѣ сѣлъ, на той и накаркалъ!—говорили промежъ себя дѣвки-соперницы и рѣшали на томъ, что чорнаго кобеля не домоешься до бѣла, а на чужой ротокъ не накинешь платокъ.

Женихи-ребята и думали и поступали иначе: на личную брань—оттрызались, на злую сплетню отвѣчали тѣмъ, что ворота мазали дегтемъ, въ окно снѣгомъ бросали, на трубѣ горшки били, на улицѣ не давали проходу и пошли еще и дальше того, на томъ основаніи, что озорная корова до той поры и бодлива, пока рога у ней есть.

Случай смирилъ Матрену, заставивъ и ребятъ смотрѣть на ея бездолье иными глазами, глазами участія и снисхожденія.

У Матрены умерла мать-старуха. Пошла сирота на кладбище и взвыла — горько тамъ взвыла о своемъ сиротствѣ и бездольи; осталась одна на бѣломъ свѣтѣ, какъ перстъ, какъ былинка въ полѣ. Горькимъ, раздирающимъ душу, голосомъ причитала она по родителямъ, добралась до родимой—помянула добрымъ словомъ, вспомнила тутъ-же, кстати, что любила покойная; вычитала истовю и то, что родимая носить любила. Долго каталась Матрена на свѣжей могилѣ и выла, вѣрная исконному обычаю отцовъ и дѣдовъ, пока не подобрала ее съ мѣста дряблая, сердобольная старушка-нищенка, вѣрный другъ всѣхъ надрывающихся отъ слезъ и кручины.

Плакала Матрена такой завѣтной старинной заплачкой:

Ты послушай-ко, родитель—моя матушка,
И сердечное желаньицо,

Ты, денная моя заступушка
И ночная богомольщица!
Ужъ мы какъ-то будемъ жить
Безъ тебя, родитель—моя матушка!
— Кто-то насъ по утрушку ранешенько
Будетъ будить со мягкой со постелюшки?
Кто-то станетъ разряжать намъ
Крестьянскія работушки?
Какъ встанемъ по утрушку ранешенько
Со пуховой со мягкой со постелюшки,
Мы не водушкой ключевой будемъ омываться,
Омываться горячими слезами,
Отираться злодѣйской-великой кручиной,
Зазнобушкой великой будемъ покланяться.
— Какъ нынѣчку-теперечку волосъ къ волосу не ладится.
Моя младая головушка не гладится,
Моя вольная волюшка на головушкѣ не ладится
Не уплетается моя русая косынька милешенько,
Все безъ своей-то безъ родители—безъ матушки,
Безъ слово сердечнаго желаньица.
— Какъ нонѣчку-теперечку вѣютъ вѣтры полуденные,
Говорятъ-то многи добрые людюшки посторонніе:
И все кругъ меня-то, кручинной головушки,
Вѣютъ вѣтрушки съ западками,
И говорятъ-то многи добрые людюшки съ прибавками;
И не видала я-то послѣ своего родителя—матушки
Благословеньица-блаженьица,
Со Исусовой молитовкой буженьица,
— Какъ нонѣчку-теперечку мнѣ-ка
Какъ будетъ кручинной головушкѣ
Безъ своей-то, безъ родителя—безъ матушки,
Безъ свово-то, сердечнаго желаньица?
Вы придайте-тко ума-разума
Во младую во головушку,
Мои сродцы—мои сродички,
Вы, спорядные сосѣдушки,
Вы, пристаршія головушки,
Мнѣ, душѣ да красной дѣвушкѣ,
Провожать свое прекрасное дѣвичество
И ходить-то по тихимъ-смирнымъ бѣседушкамъ,
По гульбищамъ—по прокладищамъ,
По обѣдньимъ — по свадебкамъ,
И по Господніимъ—Владычньимъ по праздничкамъ!
Я все буду бояться, кручинная головушка, теперюшко
Чтобы вѣтрушки меня не обвѣяли,
Чтобы людюшки не облаяли.

Съ нищенкою коротала первые скучные дни одиночества сирота наша, но не нашла полной утѣхи въ горести, все напоминало ей мать и все вызывало на слезы: и пучки калины, сокомъ которой натирала мать лишаи, и полынные листья отъ лихорадки, и пережжоные квасцы отъ озноба и дикаго мяса.

Возмется-ли за кремень и огниво — огня высѣчь: и тутъ вспоминается ей мать, присѣкавшая и обметанныя губы, и всѣ другія летучія сыпи этими-же самыми кремнемъ и огнивомъ.

Осядетъ-ли въ жбанѣ гуща квасная — и тутъ предъ глазами Матрены мать-лѣкарка, круто солившая эту гущу, чтобъ наложить потомъ на ногтоѣду и заусеницы.

Попадутся-ли ей на глаза два горшка рядомъ, и тутъ вспоминается ей, какъ покойница смачивала эти горшки и терла одинъ о другой, чтобъ стертой чорной грязью натирать лишаи и вѣтреныя сыпи всякаго приходившаго къ ней за пособіемъ.

Ремесло старухи, какъ живое передъ глазами Матрены; а нужда, какъ на вороту виснетъ, хоть сама въ сырую землю ложись и гробовой доской прикрывайся, а брюхо — злодѣй, стараго добра не помнитъ.

Задумалась Матрена надъ своимъ бездольемъ, но не надолго. Съ первой-же вешной водой полѣзли въ ея избу всѣ больные по привычкѣ:

— Поспособь, Матренушка: чай тебѣ матка-то натолковала. Намъ вѣдь къ другимъ-то почесть и идти не къ кому. Голова болитъ...

— Обложи глиной, али-бо кислой капустой — полегчѣетъ, завтра приходи — понавѣдайся...

Но больной не приходилъ въ другой разъ, а по утру прихвалилъ Матрену при всѣхъ своихъ бабахъ и стороннихъ людяхъ. И знали черезъ день въ деревнѣ, что Матрена-де по матери пошла,

способитъ какъ-нельзя-чище: отъ кашлю печонымъ лукомъ кормитъ, отъ лихорадки дегтемъ съ молокомъ поитъ и посылаетъ на рѣку въ самую полночь искупаться, да такъ, чтобы никто не видалъ и не слыхалъ, и рубаху велитъ тамъ оставить, какъ-бы и мать ее прежде наказывала.

Стала Матрена и надъ кровью нашоптывать, и зубы заговаривать съ немалой удачей и навыкомъ: и опять пошла молва по деревнѣ, что и Матрена задавила крота между пальцами и не умывалась послѣ того цѣлые сутки, какъ и мать-покойница.

Пришолъ кузнецовъ сынъ съ бородавками, такъ только нитку взяла, навязала на ней столько узелковъ, сколько бородавокъ было, да и бросила нитку въ навозную кучу, примолвивъ: — „сгніетъ нитка и бородавки пропадутъ“—и словомъ-то этимъ, что рублемъ подарила: — прошли бородавки.

Другой парень пожелтѣлъ совсѣмъ и кашлять началъ: такъ только живую щуку дала подержать, и жолтизна прошла, какъ заснула и пожелтѣла сама щука.

За однимъ лихоманка увязалась на покосѣ, да случилась Матрена и только лягушку за пазуху кинула и холодной водой облила—отвязалась болѣсть и забыла о парнѣ.

У мужика ноги отнялись на пожнѣ, такъ-что и ступить нельзя было — Матрена только въ муравьиную кучу посадила ногами и тутъ-же получила гривну мѣдью, потому-что опять пошолъ больной подбирать серпомъ ржаные колосья.

Съ груднымъ парнишкомъ солдатки собачья старость приключилась, стало парня сушить въ щепку, въ соломенку: Матрена пришла, когда печи топились и только посадила парня на лопату, да три раза всунула въ чело и не успѣла мать третьяго раза взвизгнуть — парень былъ готовъ и вскорѣ пошолъ на поправку.

У старостина брата зубы не давали спать ночей и лицо уже вздуло горой, а пришла Матрена, да только рябиновый сукъ раз-

колола на-четверо, пошептала надъ нимъ, да положила на зубы, и три года не велѣла ѣсть рябины—и какъ рукой сняло.

И дѣйствительно, въ свѣтленькую, чисто-выметенную избу сироты-лѣкарки часто стали навѣдываться немощные и страждущіе.

— Вотъ, —говорила ей одна, поклонившись кускомъ крашенины: —мой-отъ опять сблаговалъ. Ушолъ на село крѐсны продавать, да и глазъ не казалъ почесть-что трои сутки...

— Опять, поди, запилъ.

— Нешто, Матренушка! На глазахъ-то, мать, и все-бы по мнѣ дѣлаетъ, а вотъ эдакъ провалится куды и пошолъ своимъ разумомъ... Вернулся домой-то, да и легъ на полу... лей-молъ я на него воду, а то, слышь, боязко ему на глаза мнѣ пьянымъ казаться. Ладила я съ нимъ и такъ, и сякъ, и водой-то облила, и ноги велѣлъ къ лавкѣ привязать—и ноги привязала, и за волосья трепать наказалъ — натрепала, да ужъ и не выдержала, вскипѣло сердце — ухватила голикъ, весь истрепала, не втерпежъ-же, мать, стало экое посрамленіе! Какъ на село — такъ и водись!... И не дерется-бы, мать, урчитъ только да плачетъ. Да поди, удержись!

— Поспособила-бы я тебѣ его, кабы не такое хитрое дѣло: дорого стоитъ...

— Да ужъ не стою, Матренушка, не стою...

— Самой все надо, и безъ меня, да и безъ чужаго зазорнаго глаза. Купи ты вина ведро, да двухъ щукъ достань, да живыхъ только, и замори ты этихъ щукъ въ винѣ-то, замори такъ, чтобъ заснули. Подогрѣй это вино въ печкѣ, покрѣпче подогрѣй, да и напой этимъ на ночь; потомъ вся эта дурость-то и выйдетъ изъ него и призору не будетъ. Да и помяни ты меня, не отъ худа....

— Твои плательщики, Матренушка:—спасибо за совѣтъ; не сердись родная!..

И опоитъ баба пьянаго мужика, по совѣту Матрены, и еще разъ поклонится за совѣтъ прежде, чѣмъ мужъ снова добьется до села и разрѣшитъ общее недоумѣнье буйнымъ запоемъ. И пригуаетъ Матрену хлопотунья-жена за неудачное пользованье, но не повредитъ ея уже установившейся славѣ, развѣ дастъ только свободу языкамъ и пищу сплетнѣ, но не помѣшаетъ мужику-богатѣлю попривередничать, зайдти къ Матренѣ раза-два въ недѣлю въ свободный часокъ поплакаться:

— Попробуй-ко, Матренушка: опять нѣшто въ боку-то заломило, не то въ правомъ, не то въ лѣвомъ...

И знаетъ Матрена, что вретъ богатѣль, на небывалую хворость жалуется, но осматриваетъ его и выговариваетъ полтину мѣдью:

— О томъ не стоимъ!... что намъ полтина?... хворость-то бы отвязалась. Вотъ—вотъ, ровно-бы тутъ защемило, словно-бы иглами колетъ... Вечоръ съ голбца на палати перелѣзалъ и ухватило поперекъ-то:—еле отдышался!...

И мнимый больной напьется, по совѣту Матрены, ромашки на ночь и велитъ себя вытереть солью съ виномъ и опять придетъ къ ней, отъ нечего дѣлать, и опять принесетъ полтину и на глазъ ей укажетъ:

— Посмотри-ко, Матренушка, не песьякъ-ли вскочить хочетъ?

— А вели-ко ты, Еремей Кузмичъ, старшенькому-то парнишкѣ ячменемъ проколоть, да и показать ему кукишъ: „ячмень, ячмень! вотъ-молъ тебѣ кукишъ; что хочешь, то и купишь; купи себѣ топорокъ, пересѣкися-молъ поперекъ“, да и проведи по ячменю-то пальцомъ.

Съ бѣднымъ, со слабенькимъ значеніемъ въ деревнѣ, привередникомъ Матрена поступаетъ иначе. Пожаловался мужичонко на боль въ поясницѣ, да сказываетъ про болѣзнь не то, что надо: Матрена отворитъ избу. Выберетъ бабъ да ребятъ молодыхъ, ве-

лить имъ шибче смѣяться, чтобъ было веселѣй боли выходить изъ тѣла, и положитъ привередника поперегъ порога. Накладетъ ему на спину изъ голика прутьевъ и начнетъ тяпать по прутьямъ косаремъ, да приговаривать, а привереднику велитъ пѣть пѣсню, какая только на умъ попадетъ, и сама смѣется.

Встаетъ привередникъ и гладитъ спину:

— А никакъ, Матренушка, и впрямъ легче стало! — и похвалитъ ее пятому и десятому: самъ при своемъ, и лѣкарка не въ накладѣ.

На серьозныхъ больныхъ Матрена — и теплые хлѣбы накладываетъ на поясницу, и горшками накидываетъ, и бьютъ освирѣпѣлые больные отъ невыносимой тяготы горшки эти о первый попавшійся уголъ, и бранятъ Матрену, словно виноватую, но при первомъ-же случаѣ кланяются ей и масломъ и яицами и другихъ посылаютъ къ ея-же досужеству. И какая-бы болѣзнь ни была, у Матрены всегда найдется снадобье. Но ни одинъ больной не раздѣлается съ болѣзнію безъ того, чтобы не пропарила она его до самаго нельзя въ банѣ, не напоила-бы его круто-посоленымъ, не натерла-бы перцомъ, хрѣномъ, или рѣдечнымъ сокомъ.

У одного шибко голова болитъ и упорно держится въ ней цѣлый содомъ всякихъ дрязговъ — болѣзнь всегда непріятная, Матрена и надъ ней не задумается: поставитъ на столъ горшокъ съ киноварью и угольями, посадитъ больнаго, накроетъ его теплымъ и велитъ разинуть ротъ и дышать тѣмъ паромъ, который лѣзетъ изъ горшка. Иной разъ и удавалось. А случалось когда несчастіе, задыхался мужикъ, — знать, сѣлъ въ часъ недоброй, — знать, присмотрѣлъ за нимъ не добрый глазъ, а за ней самой вины совсѣмъ никакой нѣтъ.

Не всегда съ дѣломъ и за дѣломъ собирались въ избу Матрены мужички, но просто и посудить-покалякать: Матрена и тутъ не терялась въ отвѣтахъ.

— Вотъ, красавица ты наша — заговорили сосѣди — корчи теперь эти въ человѣкѣ живутъ, ведутъ они тебя всего, какъ-есть всего выворачиваютъ, отъ чего-бы это такая притча состоялась?

— Это отъ нечистаго духа — отвѣтитъ Матрена — да отъ другаго недобраго человѣка, который умѣетъ слѣдъ человѣчій съ земли поднимать. Подниметъ слѣдъ — начнутся корчи. На такое дѣло надо взять ковшъ да накласть туда угольевъ горячихъ да щепотку соли. Тутъ, сказывай надъ ковшомъ этимъ наговоръ такой, какой надо, и съ тѣхъ твоихъ словъ вся эта корча и судорога на тебя идетъ; съ больнаго-то значитъ на себя переводишь. Затѣмъ, въ этотъ ковшъ-отъ воды наливаемъ и прыщемъ на больнаго разъ либо два. Позѣвнулъ — полегчѣло.

Вообще Матрена всегда охотно сообщала все то, что знала про секреты колдуновъ, на томъ основаніи, что колдунъ и знахарь не одно-и-тоже. Если колдунъ продалъ душу свою и знаетъ чорта, то знахарка боится чорта и чортъ ее не любитъ, какъ и всякаго другого крещонаго человѣка. Если кликушъ, у которыхъ сто бѣсовъ животы гложутъ, не возмется вылѣчить колдунъ, то ей знахаркѣ-докѣ, тутъ и рукъ прикладывать не къ чему. Дознаемой впрочемъ молитвой да умѣлымъ наговоромъ бѣгутъ и отъ знахарки разныя людскія житейскія напасти. Оттого-то и идетъ къ ней за совѣтомъ и помощью весь православной людъ и проситъ научить опахать на голыхъ дѣвкахъ деревню, чтобы не падалъ скотъ, какъ муха, и у нихъ также, какъ и въ сосѣднихъ сельдбищахъ.

На Васильевъ вечеръ придутъ боязливыя бабы къ нашей-же Матренѣ просить смыть у нихъ въ избѣ лихоманку, слѣпую и безрукую старуху, что залѣзаетъ въ избы и ищетъ виноватыхъ. Матрена придетъ на раннюю зорю, чтобы не видалъ только никто изъ мущинъ деревенскихъ, прихвативши съ собою четверго-

вой соли, золы изъ семи печей и земляной уголь. Встрѣчаютъ Матрену съ хлѣбомъ-солью и ласковымъ привѣтомъ хозяйки. Матрена не входитъ въ избу и обмываетъ сначала косяки дверей, а потомъ потолокъ снадобьемъ и вытираетъ чистымъ рушникомъ, чтобы не было гдѣ уцѣпиться проклятой старухѣ.

На день Трехъ-Святителей Матрена смиряетъ домовыхъ въ своей деревнѣ: рѣжетъ въ глухую полночь чорнаго пѣтуха, выпускаетъ кровь его на голикъ и выметаетъ этимъ голикомъ всѣ углы на дворахъ, гдѣ любитъ жить этотъ мохнатый старикъ-капризникъ, обратившись всегда лицомъ къ стѣнѣ и никогда, впрочемъ, никому не видимый. Смирятъ домоваго — перестанетъ онъ и скотъ мучить, и хозяевъ давить за горло, и творить другія свои неладныя шутки.

На Василья-капельника ребята часто отъ овечьей одышки въ брюхо растутъ, и тутъ нужда въ Матрениныхъ оговорахъ и помощи. На Марью Египетскую Матрена строго-на-строго велитъ угощать водянаго, — бросать въ глубокой мельничной омутъ яшные пироги — сгибни, за два дня до Егорья вешнаго она учитъ окликать на могилкахъ родителей; со Стрѣтеньева дня наказываетъ она не спать по вечернимъ зарямъ, чтобы не приставала кумаха-трясовица.

На Ивана Купальника — въ жаркое лѣто — она траву купальницу собираетъ противъ того-же нечистаго духа, который любитъ пугать по зарямъ несладнымъ крикомъ своимъ косцовъ на покосахъ и жнецовъ на пожняхъ; на Прокофья-Жатвенника въ синюю стклянку она собираетъ росу по зарямъ для излѣченій очныхъ призоровъ и стрѣлы въ виски; на Илью Пророка собираетъ дождь для той-же цѣли и противъ всякой другой вражьей силы. А когда на перваго Спаса замрутъ до ранней весны вѣдьмы, Матрена учитъ мужиковъ поить лошадей съ серебрянной монеты изъ шапки, чтобы не приставалъ къ нимъ во

всю зиму ни мокрецъ, ни столбнякъ, ни сапъ изнурительный. На Усѣкновеніе главы Предтечи наказываетъ щей не варить изъ кочанной капусты, за тѣмъ, что кочень капустный, что голова, круглый.

На Андрея Первозваннаго Матрена прислушивается къ водѣ и сказываетъ, по стону ея — какое будетъ лѣто, будутъ-ли мятели зимой, бури, морозы крѣпкіе и иныя разныя бѣды. За два дня до новаго года, гадаетъ она о землѣ на свиной селезенкѣ и сказываетъ: долго-ли, коротко-ли затянется весна-красна и будущее жаркое лѣто.

Короче — ни одна изъ житейскихъ примѣтъ, выжитыхъ вѣковыми опытами, не прошла мимо Матрены-знахарки, безъ замѣтки и вниманія. Нѣкоторою часть изъ нихъ сообщила ей мать-знахарка, прожившая, потолкавшаяся между людьми не одинъ десятокъ лѣтъ; большая часть пришла къ ней съ вѣтру частію отъ бабъ-сосѣдокъ, частію отъ старухъ-нищенокъ, которыхъ она любила прикармливать, и которыя Богъ-вѣсть гдѣ не побываютъ на своемъ сиротскомъ вѣку, Богъ-вѣсть гдѣ и чего не вызнаютъ, не выслушаютъ. Разъ выслушанное и повѣренное личнымъ опытомъ становилось для Матрены навсегда закономъ, не имѣющимъ никакихъ сомнѣній и исключеній. Если на чемъ и случалось ей спотыкнуться впослѣдствіи, она и тутъ не задумывалась:

— Никто какъ Богъ — говорила она — все въ Божьей власти, а чему быть — тому не миновать. Все Божье дѣло: къ всякому дѣлу человѣчьему разуму нельзя приступаться. Не сталось сегодня — станется завтра, и нашъ бабій вѣкъ не клиномъ-же сошолся. Терпи и надѣйся!

И все-таки Матрена не оставалась въ накладѣ: круглый годъ у ней прибыль. Большаго почоту никому нѣтъ въ деревнѣ. Она и на имянинахъ не на послѣднемъ мѣстѣ и не съ остаточнымъ кускомъ; а крестины гдѣ — она первая въ пиру и почотѣ.

Къ ней о всякой болѣзни съ совѣтомъ, о всякой невзгодѣ мірской съ поклономъ и приносомъ.

— Не житье Матренѣ — масляница! — толковали сосѣди.

— Въ шугаяхъ штофныхъ ходить начала по праздникамъ платокъ — не платокъ, лента — не лента, даромъ-что обойденная, немужняя жена! — говорили сосѣдки.

— На всякое, мать, счастье въ сорочкѣ надо родиться. Съ дуру-то начнешь — дуростью кончишь: талантъ стало-быть отъ Бога вышелъ за ея долготерпѣнье да обиды! — рѣшали облагодѣтельствованныя ею нищенки-старушонки.

— Пущай и злиться перестала теперь: не ругается ужъ такъ, какъ въ ономняшную пору!

— Взыскана теперь — зачѣмъ станетъ ругаться? Кузнецъ Гаранька, слышь, позарился: свахоньку засылалъ, да Матрена и слѣдъ той навсегда заказала.

— „Мнѣ, слышь, теперь хомута-то мужнина надѣвать не приходится. Сама-молъ стала въ вольной волѣ. А ты ему, косому чорту, и на лбу запиши и всѣмъ накажи: ко мнѣ-де теперь дорога заказаная, всякими-де она крѣпкими наговорами зачурована.“

— Такъ вотъ, она нонѣ баба-то какая стала! — рѣшили сосѣди и мало-по-малу забывали о прежнихъ несчастіяхъ и неудачахъ Матрены, начиная видѣть въ ней нужнаго, а потому и дорогаго человѣка.

— Сватьюшка! Матренушка-то знахарка баню новую приговорила рубить...

— Богоданная! У Матрены-то криворотой навѣсъ на дворѣ настилаютъ новый; подкаты подъ избу-то новые ладитъ!

— Дьякона Арсенья отъ запоя вылѣчила, у матвѣевскаго плотника — Лукой звать — ногу вправила: опять работаетъ... здоровъ.

— Къ управляющему на усадьбу возили: кровь отворила не хуже, слышь, коновала добраго!

— Эка баба, экая лихая баба: и къ сиротамъ податливая, и къ нищимъ призорливая, и къ церкви усердная: не колдунья какая. На ворожбу ни на какую не подается; не гадаетъ на картахъ; — цыганское, сказываетъ, это дѣло, не мое сиротское!

Вотъ уже что говорили въ-одно-слово сосѣди и сосѣдки годъ два спустя послѣ того, какъ обзывали ее недобрымъ словомъ.

Деревенской людъ незлопамятенъ; а обзывъ да покоръ не считаютъ грѣхомъ, причастные и сами этой слабости, по пословицѣ: „брань на вороту не виснетъ, на нее слово купится, да такъ прахомъ и минуется“.

Сдѣлавшись знахаркой, Матрена не отказывается и отъ повита и съ прежнею заботливостью старается не разглашать по сосѣдямъ, что вотъ та-то баба мучится родами, чтобы легче разрѣшилась роженица.

По прежнему совѣтуетъ родителямъ давать новорожденному имя перваго встрѣчнаго человѣка, чтобы не было ему тяготы и невзгоды въ предстоящей жизни: ко всѣмъ привѣтливая, всякому готовая на услугу, Матрена вызывалась изъ дальной деревни съѣздить къ попу за имянной молитвой съ шапкой. Попъ читалъ ей молитву эту въ шапку, произносилъ имя перваго встрѣчнаго въ пути Матренѣ человѣка. Привозила Матрена эту шапку въ избу роженицѣ, вытряхивала имя и молитву изъ шапки и вполнѣ убѣждена была, что тѣмъ спасала всѣхъ, присутствующихъ при обрядѣ и дотрогивавшихся до поганой роженицы руками, отъ оскверненія. Въ послѣднее только время стала она отказываться отъ подобныхъ порученій и прежде всѣхъ обряжала подводу, чтобы вести новорожденнаго прямо на село. Говорили сосѣди потомъ промежъ себя, что Матрену выстегали за то на становой квартирѣ больно шибко, что тутъ былъ благочинный и старикъ-попъ,

который давалъ молитвы, что наказывали Матренѣ напредки не дѣлать эдакъ.

— И пригрозили кандалы надѣть и между солдатами по столбовой прогуляться въ непутное мѣсто, что острогомъ зовутъ, да каторгой прозываютъ. А деньги, что нажила про себя, всѣ отобрали, да и еще наказали черезъ годъ принести столько-же!— подтвердилъ соцкой говоръ и молву народную.

Сосѣди покручинились и про-себя и съ Матреной вкупѣ, Матрена повыла-поплакала горько, но устояла-таки на своемъ и жила опять съ своимъ ремесломъ—не кручинилась.

И крута гора да сбывчива, и лиха бѣда да забывчива,— говоритъ пословица. У Матрены пошло дѣло опять своимъ чередомъ—дорогой торной, прямымъ путемъ.

Матрена любила, между дѣломъ, и посудачить:—нейдти-же ей на-перекоръ со своимъ дѣломъ бабьимъ:

— Вотъ,—говорила ей вѣстовщица, та-же побирушка-нищенка, которая подняла ее на погостѣ,—за Осеновымъ Митюхино выгорѣло; ребятёнки рѣпу пекли, да и набаловали въ овинѣ.

— А не обрубай они сосѣдскимъ коровамъ хвосты; не мѣшай они сосѣдскимъ поѣздамъ, не кори дѣвокъ горшками на свадьбахъ, не пачкай воротъ дегтемъ...

— Всѣ-то, мать, избы изпепелило; десять животовъ сгорѣло; махонькаго парнишку еле вытащили живехонькимъ. И жара-то какая, кормилка, была: словно изъ печи парило... Думали всѣ, что свѣта представленье... самъ становой наѣзжалъ!...

— Чай, пойдутъ на погорѣлое мѣсто просить?

— Вѣстимо, родимая, народъ-то вѣдь все господской былъ; на овчинахъ стояли, да все,—слышь, красавица ты моя, погорѣло... И первохристосныя яйца бросали—не помогло, и молоко лили—не лучше стало. Старушонка тутъ у нихъ жила, Орихой

звать, такъ и ту въ избеночкѣ-то ее захватило. Кинулся народъ-отъ: „батюшки-молъ Оринушка-то сгоритъ!“ Анъ изъ избы-то, мать моя, ни словечка не слышно, хоть бы тѣ што.... Знать-молъ задохнулась, захватило дыханьецо-то. Да швецы, на ту притчу, случились въ деревнѣ: народъ-то, знаешь, боевой; одинъ и выискался, Мартыномъ молодца звать, и кинулся къ избушкѣ-то. „Простите-молъ, православные, мою душеньку! не погибай-де, слышь, душа человѣчья на моихъ глазахъ; либо-де сгорю, а душеньку, говоритъ, спасу“. Да и вломился въ огонь-то, индо, мать моя, зашипѣло что,—и вытащилъ старушоночку, Оринушку-то эту, и вытащилъ сердобольную.... живехонька!... Народъ-то весь, моя мать, и шапки снялъ, сталъ креститься да кидать молодцу гроши да пятаки. Самъ становой серебряный гривенникъ далъ, да по начальству, сказывали, отписать хотѣлъ. „Дадутъ-молъ тебѣ и больше супротивъ того.... Да обгорѣлъ Мартынъ-отъ: всю-то рожу опалило, пузырей наскакало и ни вѣсть какая сила!... Куды шибко обгорѣлъ....

И нищенка медленно покрутила головой и прослезилась.

— Пришолъ-бы ко мнѣ: поспособила!... а не то вѣдь и самому не какая хитрость лапушнику-то нарвать, да и обложить рожу-то съ масломъ....

— То-то, желанная ты моя, тебя-то я тутъ и вспомянула: вотъ какъ-бы, молъ, божья раба Матренушка-то наша была здѣсь,—отдохнулъ-бы молодецъ; желанная-то, молъ, моя не поспѣсивилась-бы.... помогла.—А пойду-ко молъ къ ней да поклонюсь, не изломала-ли-де кручина-то ее, да и ниточекъ-то, молъ, попрошу: армячишко заплатить. Знаю, смѣкаю себѣ, не откажетъ душа ея добродѣтельная сиротѣ безпріютной!... наградитъ ее Тифинская Пречистая!... сама.... сирота....

Послѣднія слова нищенка выпѣвала громко уже посреди судорожныхъ всхлипываній, но, конечно, не оставалась въ накладѣ:

старый кафтанишко въ заплатахъ, замѣнился, хотя и подержаннымъ, но еще крѣпкимъ, а нитокъ получила цѣлую пасму.

Матрена знала, что старуха, бродя изъ деревни въ деревню, разнесетъ объ ней молву, какъ объ лучшей лѣкаркѣ и сторицею заплатить ей за подарокъ.

Дѣло повитухи справить—пожалуй—легко и удобно всякая баба, — Матрена повитомъ немного-бы взяла; ухватила-бы ее нужда поперегъ живота, если-бъ не помогли ей первыя удачи въ знахарствѣ и сердобольныя нищенки, въ бесѣдахъ съ которыми она находила и отраду и заручку. При помощи ихъ разсказовъ, въ самыхъ дальныхъ деревняхъ стали знать о Матренѣ. Правда, что нечасто беретъ недугъ неладно скроенаго, но крѣпко шитаго русскаго человѣка. Правда, что сильны и тяжелы исходомъ и послѣдствіями тѣ недуги, какіе ложатся на могучія плеча простаго человѣка, и, старѣя со-дня на день, дѣлаются по-большей-части неизлѣчимыми до гробовой доски. Правда, что надежда больнаго не покидаетъ до послѣдней минуты жизни, и онъ продолжаетъ искать искуснаго человѣка, который-бы могъ дать такого снадобьица, чтобы болѣзнь заморило. Правда наконецъ, что твердо знаетъ всякой мужичекъ о томъ, что нѣтъ того города, гдѣ-бы не жилъ такой присяжный искусникъ, который лѣчитъ отъ всѣхъ недуговъ и за то носитъ пуговицы свѣтлыя, чиновникомъ зовется, и въ уѣздъ наѣзжаетъ все на мертвыя тѣла.

— Да какъ ты къ нему приступишься?—думаетъ мужичокъ.—Съ мѣдюками-то ржавыми къ нему не пойдешь, а серебро-то по карману не чортъ-же сѣялъ; бумажныхъ денегъ и по полугоду не доискиваешься. Да и на какого человѣка попадешь—иной, тебѣ и говорить-то по нашему не умѣетъ; ни онъ тебя распроситъ, ни то мѣсто больное нащупаетъ. Снадобей-то всегда забываетъ прихватить съ собой и отсылаетъ за ними въ городъ. И не диво-бы въ городъ съѣздить про свой животъ, кабы пора не

рабочая, да коли-бъ и снадобья-то эти сподручнѣе были, а то жгутъ, больно жгутъ и карманъ и спину. Кладутъ тамъ нашего брата въ больницу такую, гдѣ только за выписку берутъ деньги да за харчи, какіе ты тамъ поѣшь, а попробуй-ко полежи тамъ подольше, да расплатись съ ними на чести—въ избу-то свою и не заглядывай: волкомъ взвоешь, все тамъ быльемъ поростетъ: собаки ложки моютъ, козы въ огородѣ капусту полютъ. А давай-ко намъ знахаря поближе, да такого, чтобы его руками-то ухватить было можно, чтобы за приходъ-отъ либо пасмой нитокъ, либо пахтаньемъ, либо новиной какой, а не то—коли и денегъ выпроситъ—такъ полтиной мѣдью и себѣ-бы и ему удовольствіе можно было сдѣлать. Это вотъ по нашему, по крещоному. А то свѣтлыхъ пуговицъ до смерти боюсь, ну ихъ!... Эти-же къ тому нѣмчи—нехристями такими смотрятъ, что нашему брату, православному человѣку, и подступиться боязно. А гляди — какъ ты тутъ ни судачъ, ни ворочай—по знати-то, да по старой памяти, что по грамотѣ—и полезно и никому не обидно. Сказывали бабы: въ которой деревнѣ Матрена—что божьи-то люди хвалили—живетъ?

Идутъ къ Матренѣ и мужики, и бабы больныя: и послѣднимъ подъ-часъ легче, легче потому, что Матрена и ласковымъ, обнадеживающимъ словомъ найдти и приголубить умѣетъ всякаго и потому еще, что тѣхъ больныхъ, которые подошли крѣпко и немогутны стали, она не поскупится—у себя въ избѣ оставить и станетъ ходить за нимъ, что за своимъ рожонымъ дѣтищемъ. Да и Матрена не въ накладѣ отъ своихъ больныхъ и совѣтчиковъ. Запасы свои она продаетъ на чистыя деньги афенямъ-ходебщикамъ, да прасоламъ-булынямъ, ѣстъ она—не свое, а дареное; житье ея, что сыръ въ маслѣ: кромѣ прибыли ничего не видать ни съ какой стороны.

Разъ нораспрепалъ ее — сказывали — становой, по наговору

городскаго лѣкаря, и пригрозился ее въ острогъ запереть, такъ только съ годъ у Матрены изба новая некрытой стояла, да жалобилась дѣвка недѣль-пять къ ряду своимъ сосѣдямъ: что нонѣче-де житье сиротское еще горше стало, чѣмъ было прежде, что и народъ-отъ бѣднѣе сталъ, деньгами-то ей за знахарство и носить перестали и, только. Черезъ годъ — не дальше, изба ея все-таки стояла такою приглядною, новою; чистота въ ней соблюдалась такая, что у инаго помѣщика не отыщешь: на Рождество Матрена всѣ стѣны мыломъ мыла, въ великой Четвертокъ къ Пасхѣ весь полъ ножомъ выскребала. Дивились мужики толковости и находчивости Матрены и упрекали ею своихъ бабъ:

— Смотри, нечесы, въ избѣ-то у ней словно рай цвѣтетъ. Просто такъ посидѣть, такъ въ удовольствіе тебѣ и въ веселье. Про снадобья-то у ней шкапчикъ эдакой зелененькой, а и тамъ, что въ лавкѣ городской, таково приглядно.... Все хорошо, все благовидно, одно слово сказать: чай начала пить купецкимъ дѣломъ и, разговоровъ не надо....

Позднѣе, гораздо позднѣе, когда уже Матрена пріобрѣла значительный навыкъ въ лѣченіи болѣзней, привелось ей попечалиться на тотъ общій недугъ, которымъ давно уже, хотя и излѣчимо, болитъ простой русской людъ. Матрена была неграмотна и, не имѣя случая подумать объ этомъ, жила себѣ, горя не вѣдая до той поры, пока мѣстной грамотѣй-доточникъ не принесъ ей писанной книги, значительно засаленной и измызганной. Прочолъ онъ ей заглавіе. У Матрены и глаза разгорѣлись: „О травахъ различныхъ вкратцѣ, на какомъ мѣстѣ которая трава растетъ и какова ростомъ и цвѣтомъ и къ чему которая трава угодна, и о болѣзняхъ вкратцѣ“. Понеслись мимо ушей Матрены лакомые, соблазнительные заголовки: вотъ средства отъ зубовъ, отъ угрей, отъ лишаевъ, у кого умъ или мозгъ порушится, буде кто не спитъ, у кого очи свербятъ, о сверчкѣ у кого въ ухо

зайдетъ, аще кто храплетъ, у кого волосы въ гортани растутъ, у котораго человѣка битаго кровью займетъ у сердца.

— Прочитай-ко, прочитай, кормилецъ, экое мѣсто—перебила Матрена.

— Добудь 10 раковъ—читалъ грамотѣй, заручившись полуштофомъ угощенія,—истолки и процѣди и того отвѣсь три золотника, да крови козлячьей 7 золотниковъ, смѣшай все съ пивомъ и пей по-разу.

— А кая жена долго не разродится—продолжалъ грамотѣй на соблазъ повитухи.

— Выпей-ко еще на здоровье да читай, что по-ниже этого значится,—приговаривала та, жадно слѣдя за глазами читающаго и вся превратившаяся въ слухъ и вниманіе.

— Напиши на бумагѣ ирмосъ: „Отъ земнородныхъ“ кто слышалъ таковая,—весь до конца и привяжи на голову или подъ пазуху: скоро Богъ даетъ.

— Отъ зубовъ—читалъ грамотѣй—поймай воробья живаго и выколи у него зѣницу и положи на зубы и зубы тѣмъ мажь. Отъ икоты—грызи капусникова коренья: сердце икать перестанетъ. Огнь въ очахъ—излови во-неходную пятницу зайца живаго и вынь изъ головы мозгъ и тѣмъ мажь очи. Сіе сотворилъ лѣкарство Адамъ, праотецъ нашъ. Отъ уразу и отъ побоевъ:—емли травы чабру, и пари въ винѣ, и пей на дщее сердце (на тощакъ).

— Есть трава именемъ Архангелъ, собою мала, на сторонахъ по девяти листовъ, тонка въ стрѣлку, четыре цвѣта: червленъ, зеленъ, багровъ, синь. Та трава вельми добра; кто ее рветъ на Иванъ-день сквозь златую или серебрянную гривну и та трава носитъ, и тотъ человѣкъ не боится дьявола ни въ ночь злаго челевѣка; аще на судъ пойдетъ — одолѣетъ сопротивнаго, и цари и князи любятъ его и всякіе люди. А корень ея добръ; у которой жены дѣтей нѣтъ: то истолки, въ молокѣ и дай пить,

то конечно будутъ дѣти, или порча за тридцать лѣтъ здрава сотворитъ, исцѣлитъ. О купальницѣ: до солнечнаго восхода встань и будь чистъ, а копать руками безъ дерева, а говорить: „Господи помилуй“ 100 разъ, а потомъ: „аминь“, а она вынять изъ земли перекрестись, а взять тремя персты правыя руки, да лѣвыя одинъ большой и поцалуй траву трижды, а корень ея пятью и обвей златомъ; или отласомъ, или камчатнымъ лоскуткомъ, и держи въ дому твоемъ, на путь ея съ собою емли, и на войну, и на судъ, и въ пиръ, и отъ вѣдуновъ, не будеши испорченъ. Есть трава, именемъ глава Адамова, растетъ возлѣ сильныхъ раменныхъ болотъ кустиками по пяти, и по шести, и по десяти листовъ вмѣстѣ, высотою въ пядь, цвѣтъ багровъ, иной рудожолтъ, а какъ расцвѣтетъ — ино вельми хорошъ кукшинцами, всякимъ видомъ, и ту траву рвать съ крестомъ Христовымъ и говори: „Отче нашъ“ и псаломъ 8, а кто не имѣетъ грамоты да сотворитъ 300 молитвъ Исусовыхъ, и принеси ту траву въ въ домъ свой и который человѣкъ порченъ: да піетъ — здравъ будетъ; а кто хощетъ дьявола видѣть или еритика, то ту траву пей и корень освяти водою и положъ въ церковь на престолъ и какъ минетъ 40 дней и ты носи при себѣ и узришь воздушныхъ и водяныхъ демоновъ; а кто хощетъ мельницу ставить — держи при себѣ — вода стоитъ, гдѣ хощешь, или церьковь ставить — положь на землю ту, а какъ ранятъ человѣка и приложи, и та трава именуется во многихъ травахъ — царь-трава.

Вотъ тѣ три великія, заповѣдныя, зачурованныя отъ непосвященаго глаза тайны, безъ которыхъ не смѣетъ умереть ни одинъ доточникъ, ни одна знахарка, не передавши ее при приближеніи смертнаго часа кому-нибудь изъ приспѣшниковъ и притомъ при смертной клятвѣ на родныхъ и знаемыхъ, на кровныхъ родителей, на свою утробу богодатную, на свои кости отъ ребра Адамова. Въ противномъ случаѣ, затаившій или не успѣвшій

передать при жизни эту тайну другому надежному человѣку и по смерти не найдетъ покоя: станетъ подниматься въ глухую полночь изъ гроба, выходить изъ могилы и плакаться человѣческимъ плачемъ и голосомъ и изнывать на всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ сотворилъ какой-либо изъ семи смертныхъ грѣховъ. Будетъ пугать тотъ мертвецъ всякаго живаго человѣка до той поры и времени, когда найдется смѣлый и умѣлый, чтобы переложить мертвеца въ гробу навзничъ, подрѣзать мертвому пятки и вбить ему въ спину между лопатками осиновый колъ.

Крестьянскія посидѣлки

въ костромской губерніи.

Лишь только кончится въ овинахъ молотьба хлѣба, и время подойдетъ къ такъ называемымъ кузьминкамъ, простой народъ уже начинаетъ, по заведенному порядку, приготовлять зимнія развлеченія. Во всѣхъ деревняхъ затѣваются ссыпки. За четыре дня до Козьмы и Демьяна дѣвушки извѣстной деревни ходятъ по избамъ и собираютъ складчину; хозяева побогаче и зажиточнѣе даютъ говядины, поросятъ, куръ, крупы, муки, солоду, масла; побѣднѣе — яицъ, молока, хмѣлю. Собравши складчину, выбираютъ и отпрашиваютъ просторную избу и начинаютъ приготовленія къ празднеству: варятъ пиво и сусло, пекутъ пироги, приготовляютъ лапшу и въ самой день праздника открываютъ пиръ сытнымъ, жирнымъ обѣдомъ. Главными гостями на этомъ пиру, разумѣется, являются деревенскіе парни въ красныхъ рубашкахъ, обязанные принести вина для себя и хозяина избы, орѣховъ и пряниковъ для хозяекъ и заводчицъ пиршества. Послѣ обѣда бываетъ первая вечеринка, какъ бы репетиція будущихъ святочныхъ посидѣлокъ. Какой-нибудь ухарь-парень, засучивъ по локоть рукава, затринкаетъ на балалайкѣ и начинаются пляски и пѣсни, продолжающіяся всегда до третьихъ пѣтуховъ.

Послѣ этого вечера начинаются такъ называемые супрядки и именно слѣдующимъ образомъ: какая-нибудь хозяйка-баба, на-

копившая много льну и превратившая его въ мочки, идетъ по домамъ и приглашаетъ дѣвушекъ помочь перепрясть ей накопившійся ленъ. Дѣвушки, одѣтыя запросто, являются съ копылами и гребнями къ самому обѣду, послѣ котораго принимаются за работу и такимъ образомъ открывается первый вечеръ супрядокъ, при тускломъ свѣтѣ лучины въ каганцѣ. Чтобы спорилась работа и не клонило ко сну шипѣнье веретена, нерѣдко запѣвается заунывная пѣсня, къ которой пристаютъ и праздные деревенскіе ребята. Въ промежуткахъ между пѣснями, разсказываются сказки и бывальщины, въ которыхъ часто принимаетъ участіе и самъ хозяинъ, гдѣ нибудь въ углу точающій свой лапоть или зашивающій конскую сбрую. Такая бесѣда продолжается иногда часовъ до 12 вечера, смотря по работѣ или, лучше, по количеству собравшихся ребятъ-сказочниковъ.

Такъ однообразно тянутся эти супрядки, переходя изъ избы въ избу, — вплоть до рождественскаго сочельника. Не бываетъ ихъ, конечно, въ праздники, и не поется пѣсенъ по субботамъ. Нерѣдко такого рода посидѣлки, смотря по обстоятельствамъ, затѣваются и въ промежутокъ времени между святками и масляницей; иногда являются даже и на первыхъ недѣляхъ великаго поста. Въ исходѣ этихъ супрядокъ передъ святками, бесѣды нѣсколько оживляются пріѣздомъ гостей-питерщиковъ: пѣсни поются тогда веселѣе, сказки смѣняются интересными разсказами о Питерѣ, изъ сосѣднихъ деревень являются гостьи-невѣсты. Мѣстныя дѣвушки, въ свою очередь, уходятъ въ гости и самая цѣль вечеринокъ принимаетъ болѣе серьозный характеръ: питерщики выбираютъ себѣ невѣстъ, съ кѣмъ вмѣстѣ жизнь коротать, — вмѣстѣ горе мыкать, съ кѣмъ жить да поживать — по пословицѣ только, потому что женившійся въ концѣ великаго поста оставляетъ свою молодуху и снова идетъ въ Питеръ на работы.

Съ пріѣзда питерщиковъ самая картина супрядковъ значительно измѣняется: работа тянется какъ-то вяло, дѣвушки чаще начинаютъ вставать со своихъ мѣстъ, и выходить въ сѣнцы, да и проказники-питерщики не сидятъ въ сторонкѣ, а наровятъ подсѣсть поближе къ дѣвушкамъ, и слѣдомъ за ними выбѣгать на дворъ.

Наканунѣ 24 декабря копылы и гребни покидаются на долго, вплоть до 8 января, и не берутся въ руки въ предчувствіи приближающихся святочныхъ удовольствій. Цѣль супрядковъ достигнута: питерщики выбрали себѣ невѣсть. Остается на святкахъ замысловатыми, комическими ряженьями окончательно расположить въ свою пользу сердце выбранной суженой. Не даромъ же иной навезъ изъ Питера цѣлую связку масокъ, самыхъ смѣшныхъ, самыхъ уродливыхъ, цѣлую дюжину расписныхъ платковъ и нѣсколько пачекъ цвѣтныхъ, самыхъ яркихъ лентъ.

На другой день Рождества начинаются святки, или лучше сказать, посидѣлки, вечеринка, называемая просто: поседками, иногда бесѣдами и даже бесѣдками. Выговаривается у какого-нибудь хозяина самая просторная изба изъ цѣлой деревни на все время до 4 января, когда бываетъ послѣдняя поседка. Рѣдко бываетъ, чтобъ она переносилась въ другую избу, развѣ случится въ домѣ несчастіе — умретъ кто-нибудь изъ хозяевъ. Въ большихъ селахъ и деревняхъ такихъ вечеринокъ бываетъ вмѣсто одной — двѣ, иногда даже и три въ одинъ вечеръ, смотря по богатству деревни ея, народонаселенію и по числу наѣхавшихъ гостей. Не бываетъ поседокъ наканунѣ праздниковъ, — за то въ праздники они бываютъ и многочисленнѣе и веселѣе, особенно если деревня лежитъ по сосѣдству съ уѣзднымъ городомъ, посадомъ, усадьбою богатаго помѣщика. Изъ уѣзднаго города и посада приходятъ гости-канцеляристы, писаря становаго, почтальоны, привозятъ съ собою вино, чтобъ расположить въ собственную

пользу мѣстныхъ ребятъ, всегда враждебно смотрящихъ на гостей не своего приходу и иногда затѣвающихъ съ ними на улицѣ страшную свалку. Изъ сосѣднихъ усадебъ приходятъ лакеи, улучившіе свободную минуту, когда господа лягутъ спать или уѣдутъ въ гости. Эти приносятъ съ собою скрипку, почему всегда живутъ въ ладу съ ребятами и нравятся дѣвушкамъ. Иногда — и весьма нерѣдко—сами помѣщики со всѣми гостями, на нѣсколькихъ тройкахъ въ кибиткахъ, пріѣзжаютъ смотрѣть, какъ веселится простонародье и даже принять нѣкоторое участіе въ ихъ удовольствіяхъ. Исключительная же привиллегія веселиться предоставляется дѣвушкамъ: ребята обязаны ихъ развлекать и оборонять отъ незваныхъ и дерзкихъ гостей. Иногда, впрочемъ, и молодухи, и то развѣ по просьбѣ пріѣхавшихъ господъ, вмѣшиваются въ толпу веселящихся, потому что, по общественному обыкновенію, замужнія женщины должны быть равнодушны къ пляскамъ молодежи и только развѣ могутъ, и то тихонько, подтягивать въ пѣсняхъ.

Поседки эти рѣдко отличаются отъ супрядковъ, не говоря уже объ однообразіи послѣднихъ и веселомъ разнообразіи первыхъ. Даже въ освѣщеніи, въ нарядахъ дѣвушекъ и самыхъ удовольствіяхъ существуетъ между поседками и супрядками большая противоположность. Первыя освѣщаются всегда и непремѣнно свѣчами, доставляемыми ребятами, послѣднія — непремѣнно лучиной; нарядъ дѣвушекъ на супрядкахъ простой, домашній, на поседкахъ—лучшій, праздничный сарафанъ и цвѣтныя ленты въ косахъ. На супрядкахъ рѣдко или почти никогда не услышишь ни балалайки, ни даже гармоніи, тогда какъ безъ нихъ и поседка— не поседка, и потому на прямой обязанности парней лежитъ, кромѣ доставки свѣчей, — и доставка музыки. Наконецъ, прямое и рѣдкое отличіе поседокъ отъ супрядокъ то, что на по-

слѣдних невѣстъ выбираютъ, на первыхъ окончательно ихъ побѣждаютъ.

Считаемъ излишнымъ упоминать, что наканунѣ Новаго года на Васильевъ-вечеръ всѣ дѣвушки ходятъ завораживаться въ баню, овины, на перекрестки дорогъ, что при этомъ происходитъ много комическихъ сценъ, производимыхъ шутниками-ребятами, что подобныя завораживанія совершаются, хотя уже и рѣже, и въ слѣдующіе за тѣмъ четыре вечера.

И вотъ, въ заключеніе, по возможности, вѣрная картина деревенскихъ святочныхъ вечеринокъ, конечно, ежедневно отъ различныхъ обстоятельствъ измѣняющаяся, въ общемъ весьма похожая на описанную здѣсь, однимъ словомъ, всегда вѣрная самой себѣ, иногда даже и въ частностяхъ.

Представьте себѣ большую крестьянскую избу съ чорными, закоптѣлыми отъ дыму, стѣнами и потолкомъ. Тотчасъ по входѣ туда трудно разглядѣть собравшееся здѣсь общество: духота и мракъ невыносимы. Отъ жару — свѣчи, стоящія по полкамъ надстроеннымъ въ параллель скамьямъ, обтаяли и бросаютъ на все собраніе какой-то тусклый и тяжолый полусвѣтъ. Изба биткомъ набита народомъ, такъ, что съ трудомъ можно продраться до средины главнаго мѣста дѣйствія, гдѣ на лавкахъ чинно усѣлись деревенскія дѣвушки. Прямо противъ нихъ на полатяхъ взгромоздились ребятишки по поясъ свѣсившіеся внизъ. Преди ихъ дѣтскихъ лицъ виднѣется густая рыжая борода, опершаяся на оба локтя рукъ и принадлежащая хозяину избы и полатей. Прямо подъ ними помѣстилась огромная ватага взрослыхъ ребятъ. Изъ ихъ толпы время отъ-времени раздается настраиваніе балалайки. Налѣво отъ нихъ огромная печь, съ которой слышны невнятные звуки храпѣнья кого-либо изъ тѣхъ домашнихъ, которые свое отгуляли. Далѣе, впереди печки, перегородка, изъ дверей и черезъ верхъ которой торчитъ нѣсколько лицъ въ

кичкахъ или платкахъ, принадлежащихъ уже отплясавшей молодежи — замужнимъ женщинамъ.

Вечеринка только-что началась. Затрынкала впервые балалайка веселаго голубца; ей, не складно, но смѣло подъигрываетъ гармонія. Съ одной лавки важно поднялись двѣ дѣвушки и, обдернувши сзади свои платья, начинаютъ одна противъ другой прохаживаться, обмахиваясь платками. Но вотъ уже одна изъ нихъ подперлась рукою въ бокъ и притопываетъ ногами; затѣмъ, громко шеберстя башмаками, пускается прямо къ своей порукѣ, взяла назадъ, еще раза два въ сторону и остановилась. Другая дѣлаетъ тоже самое точно съ такими же пріемами, и ей уже время остановиться, какъ первая, подпершись въ оба бока руками, летитъ ей на встрѣчу и заставляетъ ее дѣлать тоже самое. Сдѣлавши такимъ образомъ два—три круга, и порознь, и вмѣстѣ обнявшись, онѣ кланяются на всѣ стороны и садятся на свои мѣста. Пляска, кажись бы и кончилась, но музыканты все еще назойливо продолжаютъ веселыя трели. Съ лавокъ поднимается, съ тѣми же обдергиваньями платья, — другая пара, которая пляшетъ, или, лучше шаркаетъ точно такъ же, какъ и первая.

Музыканты замолчали. Дѣвушки начинаютъ обмахиваться платками, парни о чемъ-то переговариваются. Вскорѣ въ избѣ наступила затишье, нарушаемое изрѣдка щолканьемъ съемцевъ по нагорѣвшимъ свѣчкамъ. Видно, что дѣло еще не спорится, какъ будто чего-то недостаетъ для общаго удовольствія.

— Что же вы, орженушечки, замолчали? раздается голосъ съ полатей: — не заставте меня старика взбаламутиться. А вы, дураки, что глазѣете-то?—продолжалъ старикъ, опустивши внизъ голову и обращаясь къ ребятамъ.

Какъ будто пристыжонной замѣчаніемъ, робкій, свѣженькій голосокъ, пріятно дребезжа, запѣлъ пѣсню: "какъ за рѣченькой

слободушка стоитъ„, смѣло и громко сопровождаемый всѣмъ хоромъ дѣвушекъ.

— Вотъ такъ! давно бы такъ, Аннушка! сказалъ удовлетвореный старикъ, разглаживая самодовольно бороду и пріятно улыбаясь.

Недолго тянулась пѣсня, скоро смѣненная другою: „Я вечоръ млада во цирку была“, а вслѣдъ за нею и третья: „Ты скажи-ко мнѣ воробушекъ“, сопровождаемая пляскою двухъ дѣвушекъ или, лучше, мимикою, представленіемъ тѣлодвиженіями всего того, что пѣлось въ пѣснѣ.

Между тѣмъ, число зрителей значительно увеличилось, къ прежнимъ инструментамъ присоединились новые, между которыми не трудно различить даже скрипку и гитару, принесенную изъ сосѣдней усадьбы помѣщицьими лакеями. Пляски стали живѣе и непринужденнѣе, и вдругъ, въ самомъ разгарѣ ихъ, изъ дверей и съ полатей раздались радостные, громкіе крики: „Нишните-ко ребята, ряженые идутъ! ряженые идутъ!“

И въ самомъ дѣлѣ, отворилась дверь, толпа ребятъ разступилась, и изъ густаго пару, вдругъ обхватившаго всю избу, явились посреди избы три фигуры въ вывороченныхъ на изнанку шубахъ, представляющія медвѣдя, козу и вожатаго. Они встрѣчены взрывомъ хохота съ полатей и нѣсколькими замѣчаніями, относящимися къ костюму козы.

Началось представленіе, столь нерѣдкое въ деревняхъ, селахъ, и на площадяхъ нашихъ отдаленныхъ уѣздныхъ городковъ, опровождаемое невозмутимой тишиной. Замѣтно было, что оно не произвело особаго впечатлѣнія на зрителей, и только, по уходѣ актеровъ, раздалось колкое замѣчаніе изъ толпы взрослыхъ ребятъ:

— „Мало знать Михея-то зимусь собаки порвали: такъ онъ,

слышь, самъ-отъ теперь хозяиномъ, а сергачомъ-то нарядилъ Степку Горѣлова".

Только-что скрылся медвѣдь, какъ снова изъ задняго угла раздались голоса:

— Пойдемте-ка, ребята: что-то больно шибко шаландуются на лѣстницѣ, знать питерщики сейчасъ, нахряютъ.

Вслѣдъ за этими словами изъ дверей послышался торжественный голосъ:

— „Полно, Офимья, артачиться-то, пойдемъ; аль не знаешь, что хозяйки добрыхъ людей пущатъ и всякимъ словомъ угощатъ; Эй! развернися, хозяюшкамъ въ поясъ поклонися. Любите и жалуйте, добрые люди!"

Послѣднія слова, уже посреди избы, говорилъ высокій чучело съ страшнымъ животомъ и горбомъ, въ длинномъ сѣромъ армякѣ, въ кудельномъ парикѣ, съ такою же бородою. За поясомъ его торчалъ кнутъ, а возлѣ — длинная, тонкая фигура, одѣтая въ изодранный сарафанъ, едва доходившій до колѣнъ, и съ какими-то грязными тряпками на головѣ. Эта послѣдняя фигура, поклонившись дѣвушкамъ, садится на полъ.

— Что это она у тя севодни больно примахрилась (нарядилась), аль поминки по бабушкѣ Акулинкѣ справлятъ?—замѣтилъ какой-то острякъ изъ толпы ребятъ.

— Глупый ты человѣкъ! аль не смѣкаешь; понравиться вишь вамъ молодцамъ хочетъ; знаетъ, что невѣстъ выбирать пришли, отвѣчало чучело.

— А колькой ей годокъ? продолжалъ неотвязчивый острякъ: коли больно молода, такъ я и не возму, чай дѣда мово махонькимъ помнитъ.

— Что еще, братецъ: баба, вишь, шустрая, здоровенная. Да вотъ нишни,—посмотримъ. И брюханъ съ плетью начинаетъ, при общемъ смѣхѣ ребятъ, глядѣть старухѣ въ зубы.

— И впрямъ, братъ, цыганъ!—замѣтила какая-то обидѣвшаяся баба изъ-за перегородки.

По освидѣтельствованіи оказалось, что ей два ста безъ десятка, плясать—де еще можетъ, замѣтилъ цыганъ. Но Офимья что-то не въ духѣ и не слушается мужа.

Тогда послѣдній прибѣгаетъ къ болѣе дѣйствительному средству—кнуту. Старуха быстро вскочила и начала дѣлать, сколько умѣла, карикатурные прыжки: — то упадетъ на полъ, то снова вскочитъ и немилосердно стучитъ своими сапогами въ кадансъ скачкамъ мужа, распорядившагося уже на счотъ музыки. Наконецъ умаялась, упала въ послѣдній разъ и брюханъ прочолъ тутъ-же надъ усопшей приличиую торжеству рѣчь, что „баба-де уважительная была, работящая, а вишь и померла, желанная моя, косатка моя, раскрасавица ты эфдакая", и что въ груди его силъ и духу, начинаетъ, при общемъ взрывѣ хохота зрителей, ревѣть во всю избу. Потомъ беретъ съ полки свѣчу и осматриваетъ усопшую: развернулъ ея головной уборъ, изъ подъ котораго мгновенно выставляется клинообразная, чорная бородка—причина страшнаго взрыва смѣха, преимущественно, съ полатей и лавокъ. Но верхъ восторга публики произвело то мгновеніе, когда старуха, какъ бы нечаянно, подожгла кудельную бороду мужа и этимъ фейерверкомъ возбудила истинный фуроръ: у многихъ дѣвушекъ отъ смѣху появились на глазахъ слезы, старику на полатяхъ поперхнулось и онъ сильно закашлялъ, во всѣхъ углахъ слышались восклицанія, оканчиваемыя новымъ взрывомъ:

— О, чтобъ васъ розорвало!... Уморили со смѣху, балясники!... колика взяла!...

Долго еще послѣ представленія чихало, сморкалось и кашляло общество, пока наконецъ не успокоилось и одна, побойчѣе прочихъ, дѣвушка не загорланила во все горло пѣсню: „Выйду ль я на рѣченьку, посмотрю на быструю!", Пляски пошли живѣе,

среди избы толкается уже множество паръ, между ними показались даже и парни. Много пропѣли пѣсенъ, участники почти уже всѣ переплясались и вотъ, какъ будто снова на подкрѣпленіе, явилась новая, самая большая арава ряженыхъ, которая потѣшаетъ неприхотливыхъ зрителей разными шутками и прибаутками.

Между этими шутками наибольшимъ уваженіемъ пользуется слѣдующій діалогъ, въ родѣ театральнаго представленія, разъигрываемаго обыкновенно барскими лакеями. Разговариваютъ двое: одинъ одѣтъ бариномъ; другой рваным лакеемъ. Разговоръ этотъ вездѣ почти одинъ и тотъ же.

Баринъ: Афонька Новой!

Афонька: Чего, Баринъ Голой?

Б: Много ли васъ у насъ?

А: Одинъ только я, сударь.

Б: Стой, не расходись: я буду повѣрять,—всякаго въ ремесло какое назначать, въ Питеръ на выучку посылать. Отчего; ты, мошенникъ, бѣжалъ?

А: Вашу милость за волосы подержалъ.

Б: Я бы тебя, простилъ, а можетъ и наградилъ: въ острогъ бы тебя посадилъ.

А: Я, сударь, не зналъ, а то бы еще дальше забѣжалъ.

Б: Гдѣ жъ ты это время проживалъ?

А: Да все въ вашей новокупленой деревнѣ—въ сараѣ пролежалъ.

Б: А, такъ ты и новокупленую деревню мою знаешь? Скажико, братъ, каково крестьяне мои живутъ?

А: Хорошо живутъ, баринъ: у семи дворовъ одинъ топоръ.

Б: Какъ же они, мошенникъ, дрова-то рубятъ?

А: Одинъ рубитъ, а семеро въ трубы трубятъ. А вотъ хлѣбъ у нихъ, баринъ, хорошъ уродился.

Б: А каковъ въ самомъ дѣлѣ?

А: Колосъ отъ колосу не слыхать дѣвичья голосу, копна отъ копны, на день ѣзды, а какъ тише поѣдешь, такъ и два дни проѣдешь.

Б: Что они съ нимъ сдѣлали?

А: А взяли-собрали: истолкли, да и поставили подъ печной столбъ просушить. Да несчастьицо, сударь, повстрѣчалось.

Б: Какое?

А: Были у нихъ двѣ кошки блудливы, пролили лоханку, хлѣбъ-то и подмочили.

Б: Что же они съ нимъ сдѣлали: неужто такъ и бросили?

А: Нѣтъ, баринъ: они сварили пиво да такое чудесное, что если вамъ его стаканъ поднести, да сзади четвертиннымъ полѣномъ оплести, такъ будетъ плести.

Вотъ и театръ доморощеной, но монологъ этотъ, смѣшилъ дѣвокъ до хохоту, а на почтенныхъ лицахъ вызывалъ лишь легкую улыбку да и то въ деревняхъ, что называлось прежде, вольныхъ, т. е. у крестьянъ государственныхъ.

Затѣмъ, по данному знаку, заиграла музыка, ряженые пустились въ плясъ. Кто побойчѣе выдѣлывалъ ногами такіе актраша и такъ высоко, что судья съ полатей вынужденнымъ нашолся замѣтить слѣдующее:

— Ты, сударь, ваше благородье, не оченно больно ногамъ-то дрягай, а то, слышь, запутаешься въ бородѣ, да меня внизъ стащишь, тогды берегись: осрамлю, какъ пойду самъ плясать.

— А чьи это ребята?—спросилъ онъ тихо, наклонивши внизъ голову подъ полати.

— Говорятъ вожеровскіе, отвѣчалъ одинъ голосъ изъ толпы ребятъ: Андрюха — поваръ и Матвѣй — кучеръ: господа-то знать въ Безинѣ на менинахъ (именинахъ).

Но вотъ и эти актеры убрались во свояси. Было два часа

за полночь. Дѣвушки немедленно составили кругъ, въ которомъ приняли участіе всѣ, бывшіе въ избѣ, даже старикъ слѣзъ съ полатей и присталъ къ хороводу. Начали хоронить золото, заплетать плетень и завертѣли сѣяніемъ проса. Послѣ того изба мало-по-малу начала пустѣть, ребятишки давно уже убрались съ полатей.

Наконецъ въ избѣ все смолкло, кромѣ груднаго ребенка но и тотъ вскорѣ угомонился и только изрѣдка раздавался скрипъ его люльки, качаемой ногой сонной матери, да чириканье сверчка за печкой.

Дружка.

(разсказъ),

I.

— „Ужъ куды это меня, свѣтъ батюшка, снарядилъ; снарядилъ-то ты меня, знать, во чужіе люди, что за гостя ли-то, за нежданаго. Ужъ простите вы меня мои родители, свѣтъ ты мой матушка—Арина Терентьевна; не давайте вы меня братцы родные ворогу вашему, что ни съ вѣтра-ли онъ пришелъ, съ непогодушки. Повопите вы обо мнѣ сестрицы-голубушки, товарки-подруженьки, мово дѣвичества соучастницы, вы не замайте моей русовой косы, не троньте волосиковъ моихъ русыехъ! Знать идти ужъ мнѣ во чужіе люди, не видать мнѣ порогу родительскаго; словно надоѣла я вамъ, напостылѣла; одинъ-то ли былъ свѣтъ, что въ окнѣ видѣла, не видать-то мнѣ и его изъ-за горючихъ слезъ; воздыханья-то мои грудку бѣлую надрываютъ; вы не троньте меня, мои подруженьки-поперешницы, не замайте моей русой косы, ленточки аленькой.....“

Долго раздавался вопль на всю избу, долго еще причитывала невѣста, обливаясь слезами и покачивая головой изъ стороны въ сторону. Ломаетъ она руки и не смотритъ на своихъ подругъ-поперешницъ; не слышитъ даже, какъ расплели ей дѣвичью косу и накрыли голову чистымъ рядномъ; и вопли матери не въ домекъ ей. Выкрикиваетъ невѣста во всю избу: не долго ужъ ей пи-

ровать. Пойдетъ она въ чужіе люди, въ чужія руки;—будетъ ли такъ хорошо ей тамъ, какъ хорошо было дома? — никто не скажетъ. Хоть на послѣднихъ порахъ дайте ей волю натѣшить свою душеньку — наплакаться. И всего то ей стало жалко: и кота бѣлобрысаго домовита, и стола, на которомъ обѣдывала, и лавки, на которой сиживала и рѣшета и коромысла, и горшечка и плошечки. Плачетъ сговорена и соблазнила своихъ милыхъ подругъ: полна изба рева и причитанья, и въ умъ не возьметъ самъ большакъ, кто тутъ кого разобидилъ, отъ кого тутъ весь сыръ-боръ горитъ. Стоитъ отецъ середи избы словно громомъ пришибенный; крикнулъ бы, топнулъ ногой на бабью дурь, на грошовыя слезы, да опомнился: вспомнилъ, что ужъ таково дѣло бабье: не хитро расплакаться, да трудно уняться. Видитъ большакъ, что и самъ виновать.

Съ утра еще вчерашняго дня забрались къ нему подсыльные сваты, почесали подъ бородами и начали закидывать похвальбы на какого-то молодца заѣзжаго. Долго толковали, все какъ-то не толкомъ, да неладно: не шли ихъ рѣчи прямо къ дѣлу, и вертѣлся хозяинъ на мѣстѣ и все кланялся, да благодарилъ за честь. Стали обыкшіе въ дѣлѣ своемъ сваты закидывать намеки поближе, прояснилось дѣло и хозяину. Видитъ въ чей огородъ камушки кидаютъ, да не знаетъ кто зачинщикъ,—темна ему эта сторона. А сваты хитрятъ—ломаются.

— Можетъ быть, говорятъ, и знакомъ тебѣ этотъ молодецъ, не гордъ, не хитеръ, самъ напрашивается. И примѣты, если хочешь, не хитрыя; не комомъ спечонъ и обликъ не блиномъ, лице и кругло и румяно.

— И не хитры бы, сваты, рѣчи ваши, а все-таки въ толкъ не возьму. Можетъ и сосѣдской какой, можетъ и заѣзжій честь дѣлаетъ, а все-поди имячко крещоное носитъ. Назовите какъ слѣдуетъ, по тому и чествовать станемъ.

— Зовутъ-то Степаномъ, да ребята Глыздой прозвали; а отецъ его въ твоей же деревнѣ соцкимъ состоитъ. Коли будетъ твоя воля, такъ и быть ему зятемъ послушнымъ, а тебѣ тестемъ тороватымъ. Такъ бы по нашему. Да твое вѣдь слово дороже.

— Честь ваша передъ вами, а мнѣ что за слѣдъ хорошому дѣлу поперечить. Давайте сюда парня, да и съ миромъ!

Парень ужъ тутъ стоитъ за дверью, — ждетъ не дождется хорошей рѣчи. Поиззябъ онъ немного (дѣло было, какъ и у всѣхъ православныхъ — въ осеняхъ), да знать за тѣмъ и пришолъ. Вышли сваты на крылецъ, взяли жениха за руки и впихнули въ избу.

— Кланяйся, говорятъ, отцу названному, да пониже. Вотъ говорятъ, такъ.... вотъ этакъ!... и еще вотъ такъ!... Подойди поближе, попроси его родительскаго благословенія, да и бѣги за отцомъ. А наше дѣло сватье—мы свое кончили.

Приходитъ отецъ жениха, выводятъ невѣсту изъ-за переборки; кланяются другъ другу и сватья и родители. Невѣста передается жениху изъ рукъ въ руки, изъ полы въ полу; цалуются. Сватья тащатъ изъ за своихъ голеницъ жениховой водки, и прежде чѣмъ совершится пропой, затѣяли рукобитье. Слово за словомъ, старшины подопьютъ напорядкахъ, накричатъ на всю избу; нацалуются сговорены, и конецъ засватанью—доброму дѣлу.

По утру другаго дня осталось только отца Ивана позвать, благословить сговореныхъ образомъ, а тамъ невѣстѣ вольная воля—надрывайся хоть такъ, что какъ бы съ живой лыки драли.

Больше трехъ разъ не удается такое блаженство, да и это то счастье дается не всякому. А тутъ мать подстанетъ къ причитываньямъ, и отъ себя кое-что добавитъ. Пойте бабы во всю мочь, а отецъ уйдетъ куда-нибудь подальше къ сосѣдямъ, или завалится на печь. Тамъ ужъ вы его ничѣмъ не доймете.

Теперь за женихомъ однимъ и вся недоимка: нужно ему въ

городъ съѣздить за мелодой орѣхами — дѣвичьей потѣхой, пряниковъ купить на закуску и разныхъ бусъ и мѣдныхъ колечекъ; ситцу, сукна армячины прихватить, плису отцу Ивану на рясу, дьякому поясъ, дьячкамъ по шапкѣ и всѣмъ поѣзжанамъ по подарку какой взбредетъ на разумъ или приведетъ доморощеная смѣтка на память. Нужно только помнить и на лбу зарубить (если скупиться надумаетъ женихъ), что на дѣвишникѣ покоры начнутся, и хоть такъ они.... въ шутку творятся, а все, гляди, на кого нападешь: инымъ покоромъ прямо въ глазъ метнутъ. помутятъ иной разъ и свѣтъ въ очахъ. У невѣсты цѣлая куча подругъ защита, да и всѣ за нее, а у жениха только и есть заручка дружка одинъ, да и тотъ подчасъ словно вешній ледъ ненадеженъ.

Главное дѣло, по всѣмъ правамъ и обычаямъ, выбрать веселаго дружку жениху; а за невѣстой пойдетъ либо братъ, либо кто изъ холостыхъ свояковъ; у этого и заботы немного, хоть и брякнетъ что не впопадъ, — все съ рукъ сойдетъ: либо не услышатъ, либо и совсѣмъ не обратятъ вниманія. На женихова дружку вся надежда: имъ однимъ вся свадьба стоитъ, весь пиръ и веселье.

II.

Кого чѣмъ Богъ поищетъ — такъ и станетъ: иному, напримѣръ, грамота далась,—нашолъ гдѣ бумажку, хоть бы волостной писарь изъ окошка выкинулъ, — развернетъ и читаетъ: „пробаде-пера и чернила: какая въ нихъ сила; кто меня обманетъ— трехъ дней не живетъ и проч.“

Иному плотничья работа далась: съ маху полѣно крошитъ и просто—безъ клинушка. Смотришь выведетъ на чистомъ новомъ столѣ и пѣтушка съ курочкой и зарубочки на всѣхъ углахъ съ

выемками. Другому иное художество далось: — подопьетъ, напримѣръ крѣпко подопьетъ, ну, и спать бы,—такъ пѣсни любитъ пѣть и такія, что не слыхать по сосѣдству,

Вотъ Ѳомка — сорви голова: слова не дастъ никому сказать просто: сейчасъ подвернетъ свое щетинистое. Сказку ли смастеритъ на смѣхъ и горе, чтобъ и страшная была и потѣшная, пѣсню ли спѣть чтобы въ слезы вогнать и кончить сиповатымъ пѣньемъ стараго пѣтуха и кудахтаньемъ курочки; овцой проблеять, козелкомъ вскричать и запрыгать сорокой; собаку соцкаго передразнить и замычать сосѣдской коровой; старой нищенкой попросить милостынки (сморщить при этомъ лице и погрозить ухватомъ), всюду хватало мастера Ѳомку, оттого и сорви голова, что перещеголялъ всѣхъ деревенскихъ своимъ досужествомъ.

— Ишъ одмѣнъ какой уродился! толковали ребята, — и чѣмъ бы тебя, братцы, чище? — А вотъ поди ты тутъ!— Рукой махали товарищи, и завидовали.

— А вѣдь ни съ чего пошолъ, добавляли они, припоминая прежнее время, — такъ вотъ: пошолъ ему талантъ, что ни день, то вновѣ.

— Шла мельничиха домой, а мы коровъ въ хлѣва загоняли. Кто-то стегнулъ ее плетью, она и вскинулась, грызлась долго, а на Ѳомку отцу хотѣла пожаловаться; только ушла, а онъ Сорви-Голова и глаза скосилъ, какъ у Матрены было, и рожу свернулъ, по ее, на сторонку: носъ на губу уложилъ, да какъ свиснетъ на насъ, и отцу хотѣлъ на себя пожаловаться, ну вотъ словно такъ, какъ ругалась мельничиха. — А то купецъ проѣзжалъ, такъ ровно вчера было дѣло: и впередъ выпятится и волоса на затылкѣ со лба пригладитъ и руки оботретъ, и крикнетъ Ѳомка: „Эй вы мужики! — посторонитесь.“

Дивились молодцы своему товарищу еще съ молоду и во всемъ ему отдавали почотъ.

Въ свайку затѣютъ ребята играть, — привычное бы дѣло, такъ никто чище Ѳомки не ввалитъ ее въ середку колечка: свиснетъ оно, завижжитъ, прискочитъ къ головкѣ и вопьется въ землю такъ, словно рѣдька или рѣпа какая. Уговорится въ краекъ попадать, такъ посмотришь и мѣряютъ сто шаговъ — пироговъ, если еще и не того больше. А то обманетъ ловчакъ и взовьетъ кольцо кверху, ребятамъ бы мѣрять пироги, а ужъ колечко у Ѳомки въ рукахъ: подхватилъ онъ его на лету и разставилъ ноги, гордо подбоченившись.

Въ чехарду сговорились ребята: — обочтетъ ихъ Ѳомка, чтобъ самому начинать, разставитъ ребятъ у стѣны горкой, головы на спины — а самъ разбѣжится и какъ разъ очутится у самой стѣны, на загривкѣ передняго. Въ прятки играть, такъ и не снимайся лучше: заберется туда, что цѣлый часъ ребята ищутъ, да такъ и бросятъ. На этотъ разъ не жалѣлъ молодецъ ни лица, ни спины, а царапины и не считалъ вовсе. Залѣзетъ въ овинъ и кто его знаетъ, на чемъ стоитъ и держится; тутъ бы ему и шею сломить, такъ цѣлъ и невредимъ; только, говоритъ, лѣвый бокъ, ломитъ.

Такъ-то велось и во всемъ остальномъ: любили его ребята и нельзя сказать, чтобъ боялись, а бывало сорви головой только въ сердцахъ назовутъ и то про себя, потихоньку. Бѣда, если услышитъ Ѳомка.

— И не хотѣлъ бы, говоритъ, бить, — надоѣло, да руки чешутся: ужъ лучше не снимайся, коли кто меня не сумѣетъ побить. Тутъ ужъ дѣло такое, кто кого тронулъ — тотъ и въ отвѣтѣ.

— Да ты бы Ѳомка, Машкѣ-то, Гришухиной сестрѣ, спасибо сказалъ, — присовѣтовали ему разъ ребята до супрядковъ, когда они уже имѣли право посѣщать ихъ, но только молча, и стоять

назади за старшими; дозволялось имъ залезать и на полати, но они сами стыдились водиться съ малолѣтками.

— А за что же братцы? спросилъ Ѳомка совѣта.

— Да, вишь, она тебя полюбила больно. Мнѣ, говоритъ, изо всѣхъ ты что-ни-на-есть лучше. Больно, слышь, волоса шибко вьются, кудри то кужлеваты очень.

— Бодай ее быкъ, коли нравлюсь: разсердился бы, кабы захотѣлъ, — прихвастнулъ молодецъ. У меня не одни кудри и глаза всѣ дѣвки хвалятъ. Дай-ко вотъ я отпущу себѣ бороду, такъ и жениться въ нашей деревни не стану.

— А чѣмъ она хуже тебя. Дай-ко мнѣ ее, такъ я и умирать не стану. Ее, братъ, сама барыня хвалила, какъ лѣтось ягоды ей продавала.

Впрочемъ и у нашего Ѳомки, сердце тоже не камень; хоть и не у себя въ деревнѣ, а все гдѣ-нибудь по сосѣдству найдется и для него зазноба. Отъ чего иной разъ не потѣшить себя, не покрасоваться, когда не пройдетъ ни одна дѣвка безъ того, чтобъ не взглянуть на него и не закрыть своего лица вплоть до глазъ рукавомъ рубашки или ситцевымъ передникомъ. Сталъ Ѳомка мудрить: спознался съ писарями — бахвалами и самъ незамѣтно сдѣлался хватомъ. На первой грошъ зеркальцо купилъ и увидѣлъ, что ужъ порядочный пушокъ на обѣихъ губахъ показался. Сталъ онъ и усъ свой и бороду холить: на первый случай, когда пушекъ сталъ виться немного, обрилъ онъ его, по совѣту пріятелей, въ той надеждѣ, что волосъ скорѣе полезетъ. Скоро онъ и до настоящей бороды дожилъ. Бросилъ Ѳомка стричь волоса въ скобку: спереди пустилъ на всю вольную волю, а сзади подстригъ ихъ казачкомъ-лѣсенкой и затылокъ ему писаря выбрили гладко-на-гладко. Попались кой-какія деньжонки; онъ купилъ гребешокъ мѣдный, и повѣсилъ его на гарусной поясъ; что ни сниметъ шапку, то и причешется, что ни соберется куда, —

вымоется. Сталъ онъ молодцемъ и увидѣли дѣвки, что едва ли Ѳомка не пригоже всѣхъ въ деревнѣ: и лицо кругло, и румяно, а кудри и курчавая кругленькая бородка — только бы, кажется, ему и годились и на дѣвичью погибель выровнялись.

— Никакъ Ѳомка-то сорви-голова Лукерью полюбилъ, — толковала одна сосѣдка-орженушка другой.

— Нѣтъ, дѣва, давно бросилъ, теперь съ писаремъ Григорьемъ Аннушку сомущаютъ. А все оттого, дѣва, что пригляденъ пострѣлъ.

— Чванливъ только, кормилка, бахвалить сталъ. А попробуй, что не по его сдѣлать, откуда супротивности наберетъ.

— Ужъ и ребята-то наши хороши, только и живутъ Ѳомкинымъ разумомъ, словно нѣтъ своего. Что тотъ ни молвитъ, то и ладно.

— А будетъ онъ на поседкахъ?

— Кто его знаетъ? Вишь въ сосѣдскую деревню повадился: свои, толкуетъ, надоѣли. А что мы станемъ дѣлать, коли не придетъ къ намъ, другіе ребята и потѣхъ не съумѣютъ придумать. Имъ однимъ, по правдѣ сказать, и вечеринка-то наша стоитъ.

Такъ ли не такъ, а дѣвки говорили правду. Ѳомка съ товарищами повытѣснилъ переднихъ — старшихъ ребятъ совсѣмъ изъ избы. Иные оженились и бросили поседки: часть разбрелась въ другія хорошія мѣста, а и остался кто, такъ очень немного, да и тотъ присосѣдился подъ Ѳомкину власть и руку; только старичокъ чванился немного, а во всемъ слушалъ молодаго и ему подчинялся. Безъ Ѳомки теперь не ладилось дѣло: ни пѣсня не запѣвалась, ни пляска не подымала пыль отъ полу до полицъ, и ряженые не плясали бы въ избѣ, еслибъ Ѳомка велѣлъ притворить двери и не пускать никого изъ посадскихъ. Ссору ли затѣетъ кто изъ захожихъ, Ѳомка съ разу опѣшитъ его:

— Ты не очень гордобачься; не трогай дѣвку; садись на

свое мѣсто. Наша дѣвка не вѣтошка: а мы тебѣ укажемъ, гдѣ раки зимуютъ.

Бѣда, если гость скажетъ супротивное слово. Слово за слово, и чѣмъ онъ занозистѣе, тѣмъ и противники горячѣй.

— Убирайся вонъ!—кончаетъ Ѳомка: намъ либо ссориться, либо драться. Лучше уходи по-добру по-здорову; да другой разъ и глазъ не кажи. А упираться сталъ?.. Хватайте его ребята, да въ шею и спину! Тамъ лѣстница кочковата для его милости: такъ свѣту не давайте, а пусть поприглядится попристальнѣе самъ. Укажите ему носомъ, какъ хрѣнъ копать.

— Силенъ Ѳомка, силенъ въ своемъ словѣ! Только приказъ отдаетъ, — самъ и рукъ не приложитъ; все ребята дѣлаютъ. А поди,—сунься поучить:—ввѣкъ не забудетъ — толковали гости и какъ не какъ, а выводили одно, что нужно Ѳомку заручать зараньше, а то ни къ чему придирается, и словами колетъ: откуда берутся. И рукой крѣпокъ, да и ребята больно любятъ— горой стоятъ.

— Пойдемъ-ко, Ѳома Еремеичъ,—выпьемъ крѣпительнаго. Да вотъ пряникъ вечоръ купилъ битой: такъ не хочешь ли побаловаться немного; и сладко и горько, знаешь, — все къ одному.

— Эхъ молодецъ ты, Ѳома Еремеичъ: тобой только и деревня наша стоитъ, право.

Тогда ужъ смѣло подступай тароватый гость,—все за одно, хоть бы и изъ чужой деревни былъ.

— Только Машутку мою не трогай, — а то всѣ въ твоей власти!

— Гришку Шокиринскаго не трогать, ребята: изъ нашихъ будетъ, хотѣлъ вина принести и орѣховъ—отдавалъ такой приказъ, Ѳомка, передъ посѣдками.

— Запоза, — сорви голова! и парень не олухъ; въ работѣ

спѣшенъ и пѣснями умѣетъ потѣшить, съ нимъ и стогъ нагребешь шутя, и снопъ завяжешь — говорили старики семьяне. Одинъ грѣхъ—таровать шибко: не жалѣетъ копѣйки, коли въ бахвальство заберется, а то бы и хозяйство велъ хорошо, а разумъ то свой, не купленой, доморощеной, и мою бы Груню не обидѣлъ колибъ засватать.

— Сказки разсказываетъ лихо и поговорки плететъ, словно самъ набираетъ. Здоровъ затылокъ — нечего сказать: лихой малой! А ужъ выпить надумаетъ, противъ него никто не возьметъ; мало только, плутъ, съ крючка сливаетъ—толковалъ цаловальникъ.

— Больно зубастъ, да привередливъ! — отзывались бабы замужныя. Самъ поди и засватается, если надумаетъ свадьбу играть. Мало учили парня, баловали его отецъ и тать,—оттого и вышелъ щетинистъ. Со старыми, словно съ малыми, заигрываетъ; а не по немъ что—грубливъ; грубливъ плутъ, а ужъ до поры до времени сломитъ голову,

— Эхъ кабы Ѳомка взялъ за себя! думали дѣвки, — во всемъ бы его слушалась; купили бы саночки писаныя и все бы катались. Въ Питеръ бы пошолъ: платочковъ наслалъ съ городочками, душегрейку бы купилъ, что на подрядчицахъ нашихъ. Ужъ и слушалась бы я его, все-бы въ глаза глядѣла, и побилъ бы—не плакала. Да нѣтъ не бывать тому, — супротивница есть; полюбилъ не меня, а мою разлучницу.

Дѣвки краснѣли при первой встрѣчѣ съ сорви-головой, и перекидывались словечками. Доходили и до того, что не только сами заговаривали съ нимъ, но и сами первыми заигрывали щипкомъ, или локоткомъ. Ѳомка только оглянется и рѣдкой счастливицѣ погрозитъ пальцомъ или языкъ высунетъ: а то всѣмъ одно:

— Незамайте меня: и безъ васъ тошно. Хороши вы дѣвки, да лучше васъ есть.

Правду сказалъ Ѳомка: хороша была Аннушка и голосомъ взяла и тѣломъ породиста; на первыхъ порахъ Ѳомкѣ и желать лучше нечего. Что ни встрѣча, то Аннушка и глаза потупитъ, а заговоритъ, подбочася, Ѳомка: у красавицы и сердечко запрыгаетъ и въ горлышкѣ перехватитъ, голосокъ станетъ словно надтреснутый: говоритъ, словно боится, и все какъ-то не то, чего хочется. Заигралъ Ѳомка на балалайкѣ, ударилъ всей пятерней бойко и порывисто, у Аннушки не то, чтобы ознобъ, а задрожитъ-таки улыбка на маленькихъ губкахъ, и плечикомъ шевельнетъ она. Пригласитъ молодецъ плясать — не пойдетъ. Пѣсню ли ухаръ запоетъ про нее, за товарокъ Аннушка спрячется или убѣжитъ далеко.

— Про себя страдаетъ дѣвка. А вижу—любитъ. И богата же, братцы, Анютка: жили бы славно, все бы пиво варилъ; бурмистромъ бы выбрали.

— Барышникъ, ты братъ—Ѳомка, и ничего больше! Послушай-ко, что она про тебя вечоръ говорила: — мнѣ говоритъ, въ воду съ камнемъ — либо за Ѳомку замужъ. Я, говоритъ, его люблю больше всѣхъ; братишки, говоритъ, такъ не милы.

— Да чего, коли хотите?—подвернулъ парень. — Разъ за руку ухватилъ ее, такъ не вырвала: стоитъ сговореной, да какъ захнычетъ. Я говорю, чему плачешь? Такъ, говоритъ, что-то не ладно. А сама уперла глаза въ землю и ни слова не молвила больше; вырвалась съ маху, да и убѣжала въ избу.— Ну, ее...

— Нѣтъ, братъ Ѳомка, не обижай ты дѣвку, а коли за богатствомъ гоняешься, возьми лучше мельничиху Агашку — рябую. Та на все удала: и на пѣсни горласта, и слово скажетъ—словно въ кузовъ ударитъ.

— Ладно, ну—ребята: молчите до время!

Ребята молчали, и Ѳомка молчалъ. Разъ пришолъ къ своимъ

закадышнымъ пріятелемъ становымъ писаремъ покурить картузнаго, да побаловать на балалайкѣ—отнести душу (свою балалайку подарилъ кому-то); говорятъ ему пріятели писаря.

— Молодецъ, братецъ ты Ѳомка. И кто тебя знаетъ откуда у тебя рѣчи берутся. Не хитро бы, кажется, сказать иное слово, а ты молвишь—что хочешь дай:—не съумѣемъ. И какъ то это ты и рукой и языкомъ прищолкнешь, кстати колѣнкомъ вернешь, плечомъ шевельнешь, все это впопадъ у тебя.

— Знаешь, братъ-Ѳомка! тебѣ бы хорошо дружкой быть и Егору кузнецу за тобой бы совсѣмъ не угнаться. Пошли бы и мы, да нѣтъ того маху. А ужъ почотъ-то какой!—одно слово—дружка!

Думалъ, да думалъ Ѳомка и—надумалъ:

— И правду, господа, дружкѣ много почоту; отъ дружки все идетъ. Да приступъ страшенъ: одного боюсь.

— Приступу бояться нечего,—утѣшали его, тебѣ бы и начинать. Вѣдь и всѣ неучоными были, вотъ хоть бы и мы.

— Да ваше, господа, дѣло бумажное; у васъ и разумъ съ другимъ складомъ.

— И тебѣ его не занимать стать: дѣвки хвалятъ, ребята любятъ. Окунись да и съ миромъ. Умѣй только слово кстати ввернуть; прибаутки свои давай да чужихъ поприслушайся. Походилъ бы по свадьбамъ: кузнеца бы Егора послушалъ,—все бы пригодилось.

— Инъ вашими устами да медъ пить! Попытка не шутка, спросъ не бѣда; вѣдь наше авось не съ дуба сорвалось. Идетъ битка въ конъ!

— Ну, вотъ и пошло! подхватили писаря и залились дружескимъ смѣхомъ. Начинай дѣло, а мы прійдемъ, да послушаемъ.

Съ той поры, гдѣ ни затѣется свадьба—Ѳомка какъ выльетъ.

Случилась она по сосѣдству—молодца всѣ ребята знаютъ, рады ему какъ балясинку, а не то онъ самъ доймет хитростью и прибаутками; волей-неволей все поддается его желанью. А въ своей деревнѣ онъ самъ большой: молодые боятся, а не то онъ и самъ накроетъ, и отъ дѣвичника вплоть до конца свадьбы болтается онъ по весельямъ и руководитъ поѣзжанами. Иной богатый женихъ поскупится бывало ребятъ угостить. Ѳомка ведетъ переговоры какъ бы до горшковъ добраться, что на брусьяхъ лежатъ, и если не дадутъ ушата браги, всѣ горшки буйная ватага пошвыряетъ на полъ. Бывали случаи похуже того: ходилъ въ дѣло и деготь съ пескомъ; зацѣпляли и поѣздъ на выгонѣ. У Ѳомки одно на умѣ: какъ бы попристальнѣе присмотрѣться ко всѣмъ свадебнымъ свычаямъ, какъ это тамъ люди женятся и что слѣдуетъ дружкѣ дѣлать, чтобы имъ однимъ весь пиръ стоялъ. А потѣхи разныя—уже такъ спроста срывались.

Такъ ли не такъ, а Ѳомка стоитъ одномъ—выслѣживаетъ, что̀ дѣлаетъ одинъ дружка и въ чомъ перехитритъ его другой; съ чего одинъ начнетъ и чѣмъ другой кончитъ. Прямой его мѣтой и задачей сдѣлался кузнецъ Егоръ—старый воробей на мякинѣ. Онъ ужъ двадцатую свадьбу говорилъ, такъ стало былъ на своемъ мѣстѣ. Къ тому же онъ и Ѳомкѣ крѣпко нравился; все это у него творилось какъ бы по заучоному; все кстати и на потѣху. Запоетъ прибаутки и глаза зажметъ и ногой притопываетъ, ко всякому рѣчь обращаетъ, и не то, чтобъ облаетъ, а таки-иному такое скажетъ, что того ударитъ въ краску. Никого не пропуститъ кузнецъ;—всѣмъ почотъ отдастъ съ прибаточкой: „всѣ-молъ де вы гости, всѣ равны,—и вотъ вамъ всѣмъ по сергамъ, только на молодыхъ не пѣняйте“.

Вотъ къ этому то частобаю-кузнецу и поступилъ въ науку, на первую пробу, нашъ Ѳомка, въ званьи поддружья и въ первый же разъ на потѣху: что̀ ни скажетъ кузнецъ,—Ѳомка

такое подвернетъ, что тотъ и замолчитъ, а этотъ подхватить и начнетъ строчить: зависть возьметъ. Въ одномъ сбивался новичокъ, порядки не съ разу понялъ: какъ-то много ихъ и все разные.

— Научи, братъ Кузьма, порядкамъ-то всѣмъ; вотъ я тебѣ и угощенье принесъ: не погнушайся!

— Коли дружкой быть хочешь, такъ первое тебѣ — смѣлость. Она тебя выведетъ, она тебя и на путь поставитъ. Записалъ бы приговоры: да, вишь оба мы грамоту-то забыли, а что схватишь самъ по себѣ, такъ то и ладно.

— Нѣтъ, да не о томъ рѣчь, дядя Кузьма, ты вотъ указалъ бы какъ тамъ стать и сѣсть, или что тамъ такое. Кое что ужъ я и запомнилъ, одного не пойму: хитеръ больно дѣвишникъ. Какъ это тамъ дѣвки, поѣзжане... ну и съ отцами-то ладить надо.

— Съ отцами нехитряя штука; гдѣ какой, тамъ и ты такой. Коли чванливъ, да гордость обуяла, ты ему спицу по сердцу пусти, только не коли его прямо въ глазъ, а то съ дѣвишника прогонитъ. А поѣзжане эти, такой ужъ народъ, одно значитъ, на чужое добро добрались: ихъ ты рѣжь, чѣмъ ни попало. Имъ бы попить да поѣсть, а твой покоръ да прибаутка, что вода въ рѣшетѣ. Разскажу-ка я тебѣ кстати одно дѣло.

— Довелось оно мнѣ, какъ я жилъ у шерстобита. Былъ онъ бѣдный мужикъ, пришла дурь да блажь въ голову — идти къ богатому подрядчику на свадьбу. „Куды, говоритъ, не шло, поднесу каравай; ото всего, стало быть, усердія: чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ.“ А правду сказать каравай-то одинъ и былъ въ цѣломъ домѣ. — „Авось, думаетъ, позоветъ; буду сытъ, и ребятишкамъ кое-чего прихвачу.“ Сходилъ мужикъ, да на томъ и сѣлъ. — „Что, говорю, рано?“ „Хоть бы ты говоритъ, Кузьма — горбушку отрѣзалъ; а то хоть голодный ложись.“

— Первое, Ѳомка, я тебѣ, братъ, вотъ что скажу: смотри въ оба и себя не обидь. Дружкѣ, послѣ невѣсты, первой подарокъ идетъ; да чтобъ и невѣста была таровата, да и другой кто надумаетъ дарить, такъ и онъ чтобы тебя не обошолъ. Подверни ему загвоздочку по душѣ, чтобы какъ ни какъ, а не отвертывался. А чтобъ еще крѣпче дѣло стояло, такъ вотъ послѣ завтра въ Овсянники звали: хочешь въ поддружья опять?

— Спасибо, дядя Кузьма, на добромъ совѣтѣ, а теперь мы и сами кое-какъ справимся.

— Какъ, братъ, тамъ знаешь, только меня не обидь. Я вотъ видишь и ребятишекъ повывелъ, а все бы побаловать и напрѣдки не прочь. Начинай, Ѳомка, съ миромъ!

Между-тѣмъ давно пошла молва по деревнѣ, что никакъ-де Ѳомка въ дружки хочетъ идти: былъ ужъ въ поддружьяхъ и всѣхъ напотѣшилъ, да и дома, все по избѣ изъ угла въ уголъ ходенемъ ходитъ, да прибаутки твердитъ. И такой блѣдный, да сердитый. Все съ кузнецомъ водится, что ни утро, то онъ и тамъ, либо заручныя пьютъ, либо о свадьбахъ толкуютъ. Ѳомка съ ребятами ужъ и не водится, и дѣвокъ не трогаетъ; осадила его совсѣмъ кузнецова дурь.

Попытался одинъ пріятель объ Аннушкѣ напомнить:

— Ты бы, говоритъ, хоть словечко ей молвилъ; шибко, вишь, она кручинится: пѣсни не поетъ, на дѣвокъ огрызается; совсѣмъ загубилъ дѣвку.

Но Ѳомка все приговоры твердитъ и ходитъ опять ходенемъ по избѣ; горитъ его сердце завистью, стало ему мастерство кузнеца поперегъ въ горлѣ. Бывали минуты—урывалось у Ѳомки и бранное слово на соперника, словно и не вмѣстѣ пили, словно и не доброму дѣлу училъ его тотъ спроста, съ охотки. Опять пошолъ слухъ по деревнѣ, что Ѳомка совсѣмъ одурѣлъ: и сердится и ругается, а все приговоры твердитъ и руками разво-

дитъ. Случилось это дѣло, какъ разъ на ту пору, когда обыкшіе въ своемъ дѣлѣ сваты сасватали дѣвку за Степана Глызду. Ходилъ Ѳомка въ сердцахъ и въ тотъ день, какъ совершилось рукобитье, твердилъ приговоры и тогда, какъ завопила дѣвка и причитывали ей подруги. Вотъ ужъ Ѳомка и руками замахалъ и ногами затопалъ; началъ хитрыя колѣна отгибать, и пяткой пристукнетъ и плечами поведетъ. Смотритъ на него мать съ печи и въ толкъ не возьметъ, съ чего дуритъ сынъ, ужъ не бѣлены ли объѣлся: вотъ рукой развелъ отъ печнаго столба прямо къ столу и кланяется, да ухмыляется; вонъ скрыпнула дверь и отворилась, поднялся паръ и завертѣлся подъ полатями: охватила старуху холодная струя и ударила въ кутъ. Видитъ баба, какъ пронеслась хмара и прочистилось въ избѣ: стоитъ у дверей Степанко Глызда и дивится вмѣстѣ со старухой колѣнамъ Ѳомки.

— Ты за мной что ли?—прямо началъ тотъ и опять засмѣялся.

— Не откажи, братъ, Ѳомка, уважь!.. вѣдь ужъ сговорились!.... Завтра въ городъ ѣду, да вотъ и зашолъ къ тебѣ. Хотѣлъ было Кузьму попросить, да слышь, ты берешься за это ремесло.

— Ремесло не коромысло, плечъ не отдавитъ. Бери, братъ Степка, бери меня! Постоимъ, за себя, а того просто въ прахъ загонимъ. Съ твоей легкой руки всѣхъ напотѣшимъ: и поѣзжанамъ скажемъ слово и ребятишкамъ дадимъ приговоръ, всѣмъ дадимъ. Какъ тамъ въ избу войдутъ, за столъ усядутся!.. Нѣтъ, да постой, и прежде будетъ... вотъ что будетъ,—и Ѳомка опять было повелъ рукой отъ стола къ переборкѣ, но его остановилъ женихъ:

— Да ужъ ладно, Ѳома, на тебя надѣюсь, а послѣ самъ все услышу. Ты у насъ завсегда былъ шустрой. Только

меня-то братъ не кори! бери поддружку получше... кого изъ нашихъ...

— Не нужно поддружья! самъ одинъ справлюсь. Ужъ не Кузьму же брать. Я твой дружка, а за невѣстой пусть братишко пойдетъ. Если Кузьку позовутъ—не пойду за тобой и поѣзду помѣшаю. Слышь, Степка, лучше не ссорься; одинъ буду всю свадьбу справлять; на то, вотъ, никуда и не хочу идти, какъ ни звали всѣ.

— А что тебѣ, Ѳомка, изъ городу привести:—кушакъ, али гармонію?.... Можетъ балалайку хочешь?...

— Ничего не нужно, даромъ иду! только вина давай больше, да чтобъ никто въ мое дѣло не мѣшался!.... Слышь, Степка, купи зеленыя рукавицы. А когда дѣвишникъ?...

— Сегодня и завтра въ городѣ буду....

— Ну ладно погодимъ. Зато ужъ удружу тебѣ на смѣхъ и радость. Необходи только худымъ словомъ, да не сказывай ребятамъ, что съ Кузькой не хочу идти. Скажи только Анюткѣ, чтобъ она пришла,—пусть ее поплачетъ!

Ѳомка опять заходилъ и опять замахалъ руками. Долго еще носились по избѣ его причитыванья, одно другаго складнѣй, давно уже и мать его заснула, давно уже и женихъ былъ въ городѣ и закупалъ все, что нужно для свадьбы.

III.

Ѳомка ждалъ—не дождался желаннаго времени. Рано вставалъ, поздно ложился; и армякъ его синій безпокоилъ и плисовые шаровары и сапоги съ крѣпкимъ подбоемъ, съ гвоздемъ чуть не въ кулакъ. Наконецъ удалось ему подобрать, прирядиться и учинить пробу въ дружьемъ нарядѣ; а вотъ ему поутру, въ самый день дѣвишника, принесли полотенцо отъ невѣсты съ

кистями, изукрашенное краснымъ подбоемъ. Перекинулъ его Ѳомка черезъ лѣвое плечо и подвязалъ подъ правымъ; взглянулъ въ зеркальцо: концы полотенца нахально болтаются, красная рубаха торчитъ на груди, а шаровары плисовыя словно вѣтромъ раздуло и сапоги дехтярные крѣпко постукиваютъ... Борода расчесана, волоса крѣпко смазаны топленымъ коровьимъ масломъ; топнулъ Ѳомка ногой, отхватилъ колѣнцо, перегнулся съ праваго боку на лѣвой и прошолся разъ по избѣ.

— А что, ребята, будетъ Анютка въ причитальщицахъ?— спросилъ онъ друзей, пришедшихъ за приказами.

— Звали ее, да уперлась — не послушалась. — „Можетъ, говоритъ, приду, коли кто-де попроситъ.“

— Ну, ладно, братцы. Вечоръ хотѣлъ было въ засѣдчицы *) попросить, да знаю: не утерпѣла бы — заплакала, надоѣли мнѣ ея слезы совсѣмъ. Поди-ко кто, да проси ее отъ меня. „Ѳомка-де въ дружки не пойдетъ, коли не придешь на дѣвишникъ.“ Горшки, братцы, не бить, а набирайте къ завтрому сковородъ, да бубенцовъ; сходите на почту, можетъ ребята колокольцы дадутъ. Надо уважитъ Степку: — впервые дружкой иду, такъ чтобы не ругался послѣ.

Отдавъ приказанія, Ѳомкѣ осталось только выбрать двухъ молодцовъ къ лошадямъ, чтобъ они и впрягли ихъ и сами изукрасили все, какъ слѣдуетъ, а ему сѣсть только, да и ѣхать въ поѣздѣ, который, говорятъ ребята:

— Большой будетъ: всѣхъ нашихъ просили.

Степка самъ ѣздилъ съ отцомъ и матерью; да опять же

---

*) Такъ обыкновенно называютъ сестру или подругу невѣсты, которая сидитъ рядомъ съ ней и торгуется о косѣ сговорены. Иногда замѣняется она братомъ, который въ такомъ случаѣ рѣдко носитъ какое либо другое названіе, кромѣ даннаго ему правомъ рожденія.

и сваху засылалъ: Долго одинъ бурмистръ, слышь, ломался: я, говоритъ, лучше на свадьбу заверну, а на дѣвишникѣ быть, говоритъ, мнѣ старику совсѣмъ не прилика. Степка, слышь, въ ноги: „не обидь, говоритъ, а мы, говоритъ, твоей милости всегда плательщики; тутъ и отецъ закинулъ слово. Подался бурмистръ: „хорошо, говоритъ, какъ поразыграются,—заверну на часокъ,— погляжу.“

— А ты, Ѳомка, съ чего начнешь? спросилъ въ заключеніе любопытный раскащикъ.

— Увидишь послѣ! да ступайте вотъ, скажите тамъ, что сейчасъ-де идетъ: ждать не заставитъ!

Хоть и тотчасъ же ушли ребята, по дружкину приказу, но ему самому словно жалко сдѣлалось: хоть бы и назадъ ихъ вернуть. Запрыгало сердце словно передъ бѣдой какой; словно вотъ сейчасъ ему окунуться въ прорубь. Поблѣднѣлъ молодецъ, словно то полотенцо, которое подвязалъ подъ плечо. Заговорилъ было опять свое, да защемило горло и звякнулъ голосъ, словно овечья струна на балалайкѣ. Стало Ѳомкѣ стыдно,—стыдно не людей, а себя самаго; радъ ужъ онъ былъ, когда бы опять обидѣлась на него Аннушка и не пришла на дѣвишникъ, да и остальныя дѣвки совсѣмъ будутъ лишнія, да зачѣмъ и ребята придутъ.

— Лучше бы сдѣлать дѣло по домашному, чтобъ никто не видалъ,—думаетъ онъ. Бѣда, коли срамоты наберусь, тогда за одно выстрадаю — наймусь прямо въ свинопасы, или уйду изъ деревни, чтобы совсѣмъ и въ глаза ее не видать.

— Нѣтъ, Ѳомка, вскричалъ онъ вслухъ такъ, что заставилъ вздрогнуть свою мать на печи,—окунися смѣло, не дурачься! Коль взялся за гужъ — не говори, что не дюжъ; на тебѣ бъ и стряслось, да и Анютка къ тому же будетъ.

IV.

Пока принаряжался дружка и поджидалъ его женихъ у себя на дому съ ребятами — въ невѣстиной избѣ уже съ утра собрались ея подруги. Лишь только все чинно и тихо разселось по лавкамъ, невѣста была выведена изъ-за переборки и посажена на видное мѣсто. Лицо ея было заплакано и сдержанныя, еще вчерашнія, рыданія надрывали ея грудь. Тяжело ей было смотрѣть на свѣтъ Божій, досадны казались и веселыя лица подругъ: пришла пора, по завѣту, проститься съ родителями. Долго ей не хотѣлось приступить съ прощаньями; желалось бы ей дольше продлить дорогое время, а все, глядишь, пуженъ же конецъ, вѣдь затѣмъ и вышла она, того только и ждутъ и подруги и поѣзжане. Нечего медлить. Да вотъ и дружка — старшій братъ ея пришолъ повѣстить, что де „баня готова, милости просимъ нашего пару отвѣдать, сестрица милая, попрощайся съ родителями! не вѣкъ же въ дѣвкахъ вѣковать, не вѣкъ же и пару въ банѣ стоять.“ Братьино слово сказано—пора приступить къ новымъ прочитаньямъ. Плачетъ невѣста отъ всего сердце еще пуще, чѣмъ въ самый день сговора: не утѣшатъ ее подруги. Вотъ и отецъ заплакалъ и мать надрывается и брату какъ то неловко на мѣстѣ: машетъ онъ вѣникомъ, что держалъ въ рукахъ. Кое-какія еще сосѣдки забрались въ избу и тѣ, глядя на семью сговорены, заплакали. Тутъ хоть и за милаго друга иди, а трудно женскимъ дѣломъ не расплакаться, и кто знаетъ, что дальше бы сталось съ невѣстой, еслибъ не увели наконецъ ее въ баню въ то время, когда Ѳомка пришолъ съ ребятами въ женихову избу.

Вымылась сговорена съ подругами, стоитъ чередъ за женихомъ съ пріятелями и слышала вскорѣ деревня, что и они

повѣршили дѣло: забили во всю мочь въ заслонки и сковороды. Одинъ шутникъ колокольцомъ зазвѣнѣлъ, другіе подхватили его шоркунцами. Впереди ватаги шолъ самъ дружка жениха, молодецъ молодцомъ: знать будетъ смѣлъ и на дѣвишникѣ, особенно если вмѣру подопьетъ за жениховымъ обѣдомъ.

— Поди-ко, говоритъ ему Степка-женихъ, купи-ка мнѣ невѣстину косу, а то, говоритъ, и на вечеръ не пойду, если не принесешь мнѣ косы; стриженой дѣвки совсѣмъ нелюблю.

— Сколько дашь, потому и надежду дадимъ; не скупись только, не срами меня, а то отъ себя прибавлю.

Ѳомка принялъ отъ жениха два двугривенныхъ, лентъ клубочекъ, игольникъ костяной, пару башмаковъ, зеркальцо съ размалеванной картинкой и чрезъ полчаса сидѣлъ уже рядомъ съ невѣстой и точилъ лясы; слушалъ какъ она и ему причитывала, да видитъ какъ не какъ:

— Расплети-ка, свахонька, косу, а то вѣры не дастъ женихъ, какъ придетъ на дѣвишникъ.

Всталъ Ѳомка—подбоченился, и самъ дивится своей первой удачѣ и находчивости. Отъ его слова тутъ и сваха поднялась и коса расплелась и невѣста опять стала причитывать. Начали ей вторить подруги, и видитъ Ѳомка, что Аннушка тутъ: все впередъ выбирается, чтобы поголосить за невѣстой. Еще больше красуется дружка и хотѣлось бы выкинуть штуку, да не знаетъ къ чему придраться, а не впопадъ сказать, боится оборваться на первыхъ порахъ, за нимъ всѣ дѣвки слѣдятъ, да и ребята собрались: пришли звать его опять къ жениху.

— Милости просимъ съ вашимъ княземъ къ нашей княгинѣ въ гости пожаловать!—говорятъ ему передъ уходомъ подруги невѣсты.

— Примите—не погнушайтесь! Рады и мы вашему досужеству

угодны быть,—подвернулъ Ѳомка, и шапкой хлопнулъ по колѣнку и зелеными перчатками махнулъ надъ головой.

Вечеромъ вышли оба на невѣстинъ дѣвишникъ: одинъ съ прибауткой, другой со своимъ холостымъ горемъ. Женихъ гостинцовъ купилъ; дружка принесъ ихъ и раздавалъ дѣвушкамъ. Радовалась чему-то Аннушка и смѣялась, какъ будь-то и не обижалъ ее Ѳомка и ужъ вѣрно тому, что не обдѣлилъ онъ ее хоть чужимъ добромъ. Женихъ подсѣлъ къ невѣстѣ; Ѳомка къ дѣвкамъ присосѣдился; Слово за словомъ и пошло дѣло къ тому, что хоть бы и пляску затѣять, если бы мало-мальски было прилично невѣстѣ и позволяли обычаи—свычаи.

— Не пора ли намъ, добрый молодецъ, къ домамъ прибираться? (началъ присмотрѣвшійся къ дѣлу дружка), тутъ и ночь просидишь, а разсвѣту не увидишь. Нужно невѣстѣ отдыхъ дать, да и намъ съ утра будетъ ломки много. Ты невѣстонька наша дорогая не плачь, не кручинься! завтра придемъ, напотѣшимъ; нашъ женихъ беретъ тебя и не кается, чтобы по любови жить, а не маяться. А пока мы до дому идемъ, поспрошай-ко, кого по-приличнѣе: какъ тебѣ во чужихъ людяхъ жить, чтобы не наприниматься потомъ лишняго горя, не плакаться на лихую бѣду; вдвоемъ придется побраниться, вдвоемъ и помириться. Хозяйкой, помни, домъ стоитъ да и нѣтъ большака супротивъ хозяина,—проговорилъ дружка у порога, когда женихъ уже скрылся за дверью, чтобъ, слушая его совѣты, не ввести невѣсту въ соблазнъ и искушеніе.

Проводивъ жениха домой, Ѳомка не вытерпѣлъ: захотѣлъ вернуться на дѣвишникъ, куда собрались въ это время всѣ поѣзжане. Къ вечерку завернулъ на пирушку и самъ бурмистръ, чтобъ оказать почотъ сосѣдямъ, пусть не жалуются: честь лучше безчестья, а на доброе дѣло всегда можно удосужиться.

Пока расходились всѣ гости, пообсидѣлись, пока невѣста

оканчивала свои обычные приговоры: которые что-ни мѣсто, то вновѣ и иначе читаются,—подруги дѣвушки затѣяли покоры. На то ихъ воля, и вся эта вечеринка во всей ихъ власти: это дѣвичій праздникъ, онѣ тутъ полныя хозяйки. Самъ женихъ не смѣлъ бы и глазъ показать на дѣвишникъ, если бы подруги невѣсты не захотѣли сдѣлать ему такого почоту. Дружка еще можетъ приходить, вмѣсто жениха, покупать косу; можетъ разговориться, заболтаться и незамѣтно засидѣться до конца вечеринки, но и его хозяйки праздника могутъ смѣло выслать вонъ, и притворить двери. Поѣзжане, въ этомъ случаѣ, другое дѣло: имъ честь и мѣсто, собственная выгода дѣвушекъ держать ихъ подольше на дѣвишникѣ, а и самые покоры тоже въ ихъ власти, хоть и не составляютъ они общаго обычая.

Развеселились гости отъ дѣвичьяго подчиванья; слышатъ поѣзжане, что и до нихъ стали добираться, чтобъ на чужіе караваи рта не разѣвали. Но первый покоръ свату и свахѣ: запѣли дѣвушки бойкую. но не слишкомъ веселую пѣсню; растянута она была и отзывалась даже чѣмъ-то непривѣтливымъ. Вотъ и весь ея складъ, вся хитрость:

Ой ты сваха, косые глаза!
Не гляди подъ столъ: тамъ нѣтъ мословъ
На твои глаза, на безстыжіе.
Ой ты, сватушка, косые глаза!
Что у тебя, сватушко, шея синя?
Аль на тебѣ, сватушко, петля была
Что у тебя, сватушко, рожа пестра?—
Аль у тебя, сватушко, лягушка сестра.

Пѣсня эта была вызовомъ на подарки пѣвицамъ, со стороны жениховыхъ сватовъ и свахи. А вотъ, и Ѳомкѣ-баляснику сережка въ ухо:

Друженька пригожій на полатки взглянулъ,
На полатки взглянулъ:
Трои лапотки стянулъ.
Сычъ—пострѣлъ, отдавай скорѣй!

Дошло дѣло до поѣзжанъ и пѣсня измѣнилась въ бойкую, плясовую пѣсню, начали коритъ посмѣлѣе, надѣясь обильнаго количества подарковъ, тѣмъ болѣе, что и самъ бурмистръ сталъ раскошеливаться.

Пѣли смѣлыя дѣвушки такіе покоры:

Какъ по тыну-тыну все воробьи,
У Степана въ поѣздѣ все дураки!
Они лѣсомъ ѣдутъ лыки дерутъ,
Полемъ ѣдутъ лапти плетутъ,
Лапти плетутъ, оборы вьютъ,
А на дворъ въѣзжаютъ-обуваются.

Съ окончаніемъ одариванья невѣстиныхъ подругъ бусами, колечками, гребеночками, насталъ конецъ дѣвишнику. Затѣмъ однако, и поѣзжане, пришли, чтобы одарить, а за это взять невѣстину перину и отнести ее жениху.

Не даютъ дѣвки перины даромъ, требуютъ новыхъ подарковъ, ухватились поѣзжане за перину и тянутъ къ себѣ, дружка и плечомъ и колѣнкомъ стоялъ за жениха, но все-таки перина не давалась. Пухъ лѣтѣлъ, пылью слѣпило глаза: стойки были коренастыя подруги въ своемъ словѣ. Дѣлать нечего, жениховы деньги не останутся у дружки въ карманѣ; не съумѣлъ онъ схитрить—догадаться, не умѣлъ и силой взять, со всѣми своими подручными поѣзжанами. Отдалъ Ѳомка дѣвушкамъ деньги, данныя женихомъ на заручку и поволокъ перину къ своему названному князю: пусть его порадуется, что кончено дѣло, невѣста на половину его, а завтра ужъ и вся такова будетъ.

V.

Не хвастался Ѳомка, что въ день свадьбы всѣмъ имъ ломки много будетъ. Еще съ утра, ранняго утра, тотчасъ послѣ третьихъ пѣтуховъ поднялись обѣ избы и женихова и невѣстина.

Утро началось одариваньями съ обѣихъ сторонъ. Ѳомка, у жениха, повелъ такія штуки, что ребята отъ него съ роду не слыхивали, а какъ начали убирать жениха, помогать ему совѣтами въ томъ, что почище нужно сдѣлать, чтобъ вышло получше,—бахвалъ-дружка изъ себя выходилъ. Пуговку жениху застегнетъ и ту осмѣетъ на повалъ да и петелька не по немъ; а попался кушакъ въ руки, да неладился на женихѣ,—Ѳомка такое сказалъ, что ухватились ребята за бока, хоть изъ избы вонъ. Хохотали чуть не до икоты, такъ что даже щоки заломило у самыхъ скулъ. Одинъ такъ прыскалъ со смѣху, что осовѣлъ совсѣмъ: кинулся на улицу и началъ по снѣгу кататься.

— Будетъ, ребята!—прикрикнулъ Ѳомка, а самъ какъ ни въ чомъ не бывалъ, словно и не его дѣло,—вотъ эти-то штуки и разбирали ребятъ еще пуще.

— Да не пора ли ужъ намъ и по невѣсту? спросилъ онъ въ то время, какъ Степка былъ совсѣмъ готовъ.

Женихъ принялъ благословеніе и сѣлъ рядомъ съ дружкой въ свои казанскія саночки. Ѳомка не забылъ прихватить цѣлую бутыль водки и сани двинулись прямо къ невѣстиной избѣ, гдѣ уже расплели невѣстѣ косу и натѣшились слезами и причитаньями.

— А зачѣмъ вы пріѣхали? закинула сваха пріѣзжимъ гостямъ.

Началъ Ѳомка свое дѣло бойко справлять.

Не по дрова, не по сучья,
Не по рожъ, не по пшеницу,
А по вашу красную дѣвицу.
Ваша дѣвица въ теремѣ сидѣла
Тонко пряла, громко ткала,
Бердо ломала, за окно кидала....

Пошолъ Ѳомка набирать, что на языкъ навертывалось, да остановила сваха новымъ запросомъ.

— Да все ли вы, братцы, здоровы?

— Все у насъ, свахоньки, здорово,—прикинулъ дружка.

Все здорово: и быки и коровы
И телятки—гладки
Привязаны хвостами къ лавкѣ:
Будетъ вамъ и тепло и привольно.

— Ладно, братцы,—подхватила сваха, вашими бы устами да медъ пить. Коли женихъ молодецъ, такъ поскорѣй и подъ вѣнецъ: съ миромъ, да съ родительскимъ благословеніемъ! закончила она, чтобъ уступить мѣсто новымъ слезамъ, едва ли негоршимъ прежнихъ.

Эти слезы нельзя жениху слушать, а потому онъ усѣлся раньше въ свои сани. Впереди ихъ потянулась цѣлая вереница саней поѣзжанъ: въ однѣ сѣла невѣста со свахой и своимъ дружкой, еще подальше отцы посажоные, и подруги невѣстины, за жениховыми санями поплелись пѣшкомъ и его пріятели. Зазвенѣли колокольцы нескладно, еще безалабернѣе подтянули имъ шоркунцы—бубенцы и грянули зычно ватага провожатыхъ—ребятъ.

Только лишь повернулъ весь этотъ поѣздъ за овины:

— Стой, братцы, у насъ завертка оборвалась, пособите подвязать, голубчики!—крикнулъ Ѳомка, и добился своего: угостилъ всѣхъ поѣзжанъ запасной водкой.

На полдорогѣ Ѳомка опять со штукой:

— Стойте, говоритъ, братцы-кормильцы, взяла вотъ насъ вьюга—вялица, зимняя метелица: вьетъ—мететъ, прямо въ ротъ несетъ; дайте, братцы, время глаза протерѣть.

Попадались какіе-то прохожіе по дорогѣ, совсѣмъ незнакомые люди.

— Милости просимъ, привѣтствовалъ Ѳомка, къ нашему князю и нашей княгинѣ хлѣба-соли откушать—не погнушаться, авось пойдетъ любовь да совѣтъ отъ вашего прямаго глаза.

— Спасибо на зазывѣ, отвѣчали ему, пусть ихъ, съ миромъ, повѣнчаются!

Но вотъ ужъ надѣли и вѣнецъ — всѣмъ радостямъ конецъ. Заплели невѣстѣ двѣ косы черезъ руку, накинули бабій повойникъ, усадили съ женихомъ въ однѣ сани; тутъ же сѣла сваха. Поѣздъ, съ тѣмъ же крикомъ ребятъ, звономъ колокольцовъ и стукомъ въ чугунки и сковороды, поѣхалъ въ деревню, прямо въ женихову избу.

А тамъ ужъ и пиръ заготовленъ: кругомъ всей избы протянулись столы, наставлены кушанья и покрыты всѣ однимъ широкимъ рядномъ—тонкимъ холстомъ. Ждутъ дорогихъ гостей отцы и матери и обсыпали ихъ, при входѣ, хмѣлемъ; подвели подъ каравай съ солоницей, дали обоимъ изъ одной ложки меду: будьте де богаты, пейте сладко, да чтобъ и самая жизнь-то была не горька.

Усадили потомъ молодыхъ за столъ на переднее мѣсто, подложивъ на лавку пару овчинокъ — шорской мохнатой наверхъ. Тутъ же, откуда не взялась, сваха и ввернула обѣимъ молодымъ ребенка, посовѣтовавъ подержать его въ рукахъ.

— Хоть не по долгу, а подержите ребенка первобрачные мои писаные, князь мой со княгинюшкой; пошли-ко вамъ Господь милости Божьей! Не печалься-ко ты моя косатушка—невѣстонька ты наша, гляди-ко: какимъ молодцомъ твой голубокъ-отъ поглядываетъ.

— Поцалуйтесь-ко вы мои писаные—расписаные, да передайте мнѣ чужаго-то ребенка, до васъ еще не дошолъ чередъ, закончила сваха шутливо-сердитымъ голосомъ:

— Ну-ко дружка-разлучникъ! крикнула баба на Ѳомку.

— Что тебѣ сваха-косорѣжка?—отвѣтилъ обычнымъ отвѣтомъ всѣхъ дружекъ нашъ Ѳомка; выпрямился, осанился, когда поѣзжане залезли за столъ. Въ рукхъ у него очутилась бутыль

съ виномъ и подвернулась подъ бочокъ сваха съ рюмкой и стаканомъ на подносѣ.

Бойко обвелъ дружка глазами всю бесѣду, выпрямилъ грудь, расправилъ плечи, крикнулъ во всю избу, отплюнулся и повелъ старинные, простоплетенные приговоры:

Стану я добрый молодецъ
Отъ прибоинки кленовыя,
Отъ столба перемычнаго,
Изъ-за скатерти бранныя
Изъ-за сгибня высокаго.
Стану я васъ величать,
Стану чествовать.

Ошка поклонился важно и опять откашлялся во всю избу, и лѣвую руку отвелъ. Сваха присѣла немного, прищурила лѣвый глазъ и замотала головой, одобряя начало и истовый выкрикъ своего подручника.

Не всякое слово укоръ,
А и стыдъ-не дымъ глазъ не выѣстъ.
Приговоры мои—не обида,
Недолго пекъ, да и солилъ не круто.
Кому что не по сердцу придетъ
Бери свой покоръ къ себѣ на дворъ.
Благословите у молодыхъ хлѣба соли отвѣдать.
Гости званые и незваные,
Холостые и неженатые,
У воротъ приворотники,
У дверей придверники.
Старые ли старики
Суконные языки;
Старые ли старухи
Косыя заплатки;
Малые ребятки
Изъ кута съ полатей
Благословляйте у молодыхъ хлѣба-соли отвѣдать!
Тетушки Ѳедоры
Широкіе подолы;
Дѣвицы-молодицы,
Молодецкихъ нашихъ сердецъ пагубницы.

— А не пора ли намъ, свахонька, виномъ угощать?

— Ну, господинъ бурмистръ, Иванъ Спиридоновичъ!

Изволь повыступить
Молодыхъ челобитья повысаушать!
Принимай подарокъ — выпей, утрись,
Богатствомъ своимъ не скупись.
Ихное дѣло на новѣ, — надо много:
На шильцо, на мыльцо,
На санки, на саласки:
И тебѣ, можетъ, пригодиться
На масляной прокатиться.
А ну-ка, господа поѣзжаны,
Давайте молодой на румяны:
Надо намъ коня купить
Чтобы воду возить:
Вода-то вѣдь не близко
Да и ходить-то нонѣ слизко.

— Кланяемся вашей чести подарочками!—заключилъ дружка, приглашая поѣзжанъ къ чаркѣ и подаркамъ, которые состояли изъ платковъ, кусковъ полотна, лентъ, нитокъ и прочаго добра. Видно, что совсѣмъ не скупился Степанъ и не жалѣлъ денегъ для вѣковѣчной радости.

Кланяются молодые въ землю и долго лежатъ на полу, пока ломается гость и пока не скажутъ имъ, пригубивъ чарку.

— Горько что-то: не мѣшало бы подсластить, наши первобрачные!

Молодые поднимаются съ полу; подслащаютъ водку: цалуются и снова въ землю и снова просятъ откушать — не погнушаться, принять подарочокъ — не почваниться.

Долго еще ломались гости, но все меньше и выше кланялись молодые, время и за столъ сѣсть, — отвѣдать хлѣба-соли новобрачныхъ: поросенка съ хрѣномъ, поросенка въ квасѣ и цѣлыхъ двѣнадцать сортовъ квасовъ, пока не доберутся гости до жареныхъ гусей и барановъ.

Но и тутъ дѣло не обошлось безъ Ѳомки, безъ него бы и сваха не тронулась угощать.

Прикрикнулъ и онъ, въ свой чередъ, на нее:

Ну-ко, свахонька — стряпухонька!
Ноги съ подходомъ,
Руки съ подносомъ,
Языкъ съ приговоромъ,
Голова съ поклономъ,
Отходи — отступай
Отъ печенки кирпичныя
Отъ столба перемычнаго:
Порастрогай-поразломай свои косточьки.
А что есть въ печи
Все на столъ мечи!

Наконецъ началось угощеніе, сопровождаемое постоянными приглашеніями отвѣдать.

— Какъ у васъ тамъ хозяйство-то, молодые, идетъ? — закинулъ словечко бывалый свадебный гость, чтобы поддержать дружку и втравить ребятъ: „пусть-де мелютъ, было бы только складно, на то и потѣхи эти придуманы испоконъ вѣку.“

— Нонѣ въ хлѣбѣ недорода — поймалъ чего требовалось краснобай Ѳомка:

На низкихъ повымокло,
На высокихъ повызябло.
Да спасибо хозяинъ догадался:
Нагребъ ржицы въ лукошко,
Да и вышвырнулъ за окошко;
Стала пшеница всходить,
Да повадились свиньи ходить,
Стала пшеница колоситься
Начали свиньи пороситься.
А пестрая корова со всѣмъ сдуровала
Заднія ворота поломала
Да и пшеницу-то всю помяла.

— Ну, а хорошо ли сѣяно было? можетъ и не случилось бы такого горя, коли-бъ лучше по полосамъ проходили,—опять подвернулъ подгулявшій гость — любитель бывать на чужихъ свадьбахъ и мастеръ поддерживать бесѣду и веселье.

— Да вотъ какъ сѣяно! подхватилъ находчивый Ѳомка:

Колосъ отъ колосу
Неслыхать человѣчья голосу,
Копна отъ копны,
На день ѣзды,
А коли тише поѣдешь,
Такъ и два дни проѣдешь.

Подобными доморощеными прибаутками забавлялъ Ѳомка поѣзжанъ-гостей до тѣхъ поръ, пока новобрачныхъ не проводила сваха въ клѣть, поставивъ на часы невѣстина дружку. Ѳомка далеко за пѣнье пѣтуховъ пировалъ съ оставшимися гостями и не остался въ долгу: отъ души нарадовался и своему досужеству — краснобайству и Степкиной радости — законному браку. Шумѣли страшно, били плошки, ломали ложки и кидали подъ столъ и подъ лавки деревянную посуду.

На другой день, чуть брежжится, Ѳомка былъ опять на ногахъ, — осталось еще за нимъ послѣднее дѣло: истопить, въ свой чередъ, баню и пригласить туда новобрачныхъ.

Эти, проснувшись, отправились на поклонъ къ родителямъ; за тѣмъ явились къ нимъ самимъ съ поздравленіями, а наконецъ и Ѳомка показался въ дверяхъ жениховой избы, съ вѣникомъ въ рукахъ.

— Экой у васъ, сватъ и сватушка, порогъ, (повелъ приговоры дружка отъ самыхъ дверей) — насилу ноги переволокъ, хоть бы дали чѣмъ поправиться!

— Погляди-ко, молодая, продолжалъ дружка, допивъ чарку и не обтирая губъ, — какой у васъ потолокъ, — чорнымъ соболемъ меня оболокъ, хоть бы дала чѣмъ утерѣться!

— А привыкла ли ты, молодая, къ хозяйству? продолжалъ Ѳомка, получивъ полотенцо въ подарокъ. Покажи-ко намъ свою удаль!

У Ѳомки откуда ни взялся мѣшокъ съ рубленой соломой, которую онъ тутъ же, въ глазахъ, разбросалъ по полу. Ново-

брачная должна была выметать избу, показывая тѣмъ, что привыкаетъ къ новому хозяйству.

Но Ѳомка опять охорашивается и вѣничкомъ помахиваетъ, когда молодая, наконецъ, усѣлась рядомъ съ молодымъ на лавкѣ и потупилась.

— Князь и княгиня новобрачные! началъ дружка, показывая вѣникъ. Въ баню иду пару попробовать — годится ли вамъ попариться? Опарилъ бы вашу баню, да вотъ бѣда прилучилась: вѣникъ развязался. Связать бы надо, да нечѣмъ; а княжья-то бы баня давно у меня готова!

Надо давать дружкѣ новый подарокъ. Молодой связалъ ему вѣникъ новымъ краснымъ кушакомъ и пошолъ со своей подругой, за дружкой слѣдомъ, въ баню, гдѣ поддаютъ паръ брагой и угощаютъ ребятъ виномъ.

Ударили ребята, по приказу Ѳомки, въ заслоны и сковороды, и кончилъ Ѳомка свое дружье дѣло на собственную похвалу и утѣху пріятелей.

Осталось молодымъ сходить на спознатки сначала къ невѣстинымъ роднымъ и родителямъ, а наконецъ и ко всѣмъ остальнымъ сосѣдямъ, господамъ поѣзжанамъ, которые сдѣлали имъ честь: побывали на свадьбѣ.

Вскорѣ у невѣстиныхъ отца и матери будетъ званый столъ для прежнихъ гостей, которые нашлютъ имъ предварительно всякаго добра изъ живностей; молодые виномъ запасутся; придетъ на этотъ пиръ и Ѳомка. Можетъ быть будетъ онъ шутки сказывать, приговоры подбирать, хоть это уже и не въ обязанности его, а лежитъ на доброй волѣ.

— А вамъ бы молодымъ — любовь да совѣтъ! — Можетъ быть и надъ вами сбудутся кое-какія изъ поговорокъ — пословицъ, которыхъ такъ много знаетъ Ѳомка и которыя онъ такъ любитъ твердить всѣмъ новобрачнымъ:

Шубу бей — теплѣе, жену бей — милѣе.

Не прядетъ мужикъ, да безъ рубахи не ходитъ, а и прядетъ баба, да не по двѣ носитъ.

Женѣ спускать, такъ въ чужихъ людяхъ ее искать, а жена не мать: не бить ей стать.

Нѣтъ большака супротивъ хозяина, а хоть и лыкомъ онъ сшитъ, — все же мужъ.

Въ дѣвкахъ сижено — горе мыкано; замужъ выдано — вдвое прибыло.

— Живите же съ миромъ, добрые люди, чтобъ была у васъ въ домѣ тишъ, да крышъ, да благодать Господня,—и не сбывалось бы съ вами про что говорятъ старыя пословицы.

А что же Ѳомка?

Будутъ его теперь зазывать на свадьбу въ дружки; будетъ твердить все одно и впередъ, какъ заучено; можетъ ухитриться при случаѣ: придумаетъ что новенькое. Не будетъ, можетъ быть, часто ходить на посѣдки. А дальше что будетъ съ Ѳомкой, если онъ останется при своемъ? Дальше надо вспомнить, что по Ѳомкѣ тоскуетъ еще Аннушка.

VI.

— Потерпи, перемогись, Аннушка, вѣдь не надъ первой же тобой такая бѣда сбывается. Всѣ эти ребята таковы, а твой вѣдь совсѣмъ въ дружество втравился, вотъ и завтра въ Кулагино, вишь, звали. Хоть не пьетъ, мать, и то ладно; погоди, вотъ, постъ наступитъ; на масляной можешь перемолвить. Ты ему, сычу, прямо въ глаза говори, да не бойся не тронетъ! утѣшали Аннушку подруги, когда той уже не въ терпежъ стало, и высказала она свое горе.

— Вотъ, говоритъ, все съ писарями знается, а чего отъ нихъ дождаться, отъ табашниковъ — чихирниковъ? Лягу, дѣвоньки,

спать — и все это во снѣ: Ѳомку рѣжутъ. То онъ тебѣ согрубить хочетъ и ногами лягаетъ тебя, то ластится: люблю говоритъ, тебя; завтра свадьбу станемъ играть. И со всѣмъ бы къ вѣнцу снарядиться, — анъ!.. и проснешься.

— Да ты, дѣва, на лѣвомъ ли боку-то спишь. Вотъ меня, такъ что не ночь — домовой давитъ!

Но не до отвѣта было Аннушкѣ; одно на яву, одно и во снѣ. Ѳомкѣ спола-горя: его любитъ дѣвка, а онъ любитъ свадьбы, да дружьи приговоры; подчасъ не прочъ чокнуться съ пріятелями на послѣдній грошъ, на послѣдній кушакъ, что выгадаетъ послѣ сговоровъ и въ самый день столованья послѣ вѣнца.

— Мнѣ, братцы, одно — хвастался онъ писарямъ, что коли полюбилъ работу, да не любитъ она сроку — изо всѣхъ жилъ потянусь. Само бы дѣло не годило меня, а я его дождусь, да ужъ коли и дорвусь до него, такъ не скоро отстану. Анютка особая статья — погодитъ, не помретъ до той поры!...

— Да кручинится вѣдь, надрывается!..

— На свою же потѣху. На то это ихное, бабье, дѣло. Поскулитъ—поскулитъ, да и отстанетъ, тогда опять можно съ начатковъ пойти.

Писарямъ рѣчь Ѳомки со всѣмъ по сердцу пришлась: смѣялись они отъ души находчивости краснобая и трепали его по плечу, и по спинѣ хлопали, и трубочку закуреную подавали.

— Люблю тебя, Ѳомка, пуще брата двоюроднаго. Съ тобой и умереть, такъ на потѣху. Парень урви-да отдай!.. сто рублевъ не деньги! Ну-ка, братъ, выпьемъ, да поцѣлуемся.

Между тѣмъ прошолъ постъ; наступила Святая до того теплая, что можно было даже хороводы водить на полянкѣ.

— Вотъ, думаетъ Аннушка, придетъ мой суженой въ хороводы, угожу ему молвить. Какъ не какъ, а все сердце изныло.

Но ошиблась дѣвка въ расчотахъ, Ѳомка словно на зло ей

затѣялъ въ городки играть, а въ хороводы прогналъ ребятишекъ. Осѣдлалъ Ѳомка какого-то парня-верзилу и ѣдетъ отъ одного города къ другаго: и опять съ одного маху и одной палкой гонитъ всѣ чушки съ кону и опять поѣхала его сторона да другой — побѣжденной.

Видитъ Ѳомка, что больно изнываетъ дѣвка, и любо ему, что какъ онъ ни крутъ, дѣвка не сдается другимъ ребятамъ.

— Побалую, говоритъ, немного: послѣ крѣпче любить будетъ!

И рѣшилъ онъ опять избѣгать встрѣчи съ Аннушкой, избравъ для этой цѣли ближное село, гдѣ свелъ еще тѣснѣйшую дружбу съ писарями, научивъ нѣкоторыхъ изъ нихъ своимъ шуткамъ. Не умѣли ученики перенять одной только сороки, да какъ на бабу собаки лаютъ, а пѣтухъ задался чуть ли не чище Ѳомкинова.

Но вотъ стали по деревнямъ кое-какія лѣтнія новости проглядывать: у одной глупой коровы, забравшейся въ яровое, хвостъ отрубили. Заходили съ задовъ кожевники и надули бабъ, скупили овечьи шкурки дешевле пареной рѣпы — серчали мужья и перебранили всѣхъ бабъ одну за другой. Рекрутовъ провели и пѣсни рекрута пѣли и въ бабки играли — поговаривали по деревнѣ, что послѣдняя-де партія провалила. Рожь на низкихъ мѣстахъ завязалась, и отцвѣла земляника: стала она въ ягоду наливаться.

— Вотъ, думаетъ Аннушка, ягоды пойдутъ — возьму чашку и пойду за земляникой. Попадется Ѳомка, скажу ему напрямки, что коли-де не возьмешь меня замужъ и не люби лучше, а то вотъ писарямъ хвастался, что изо всей-де деревни я лучше всѣхъ.

Нехитро было Аннушкѣ надумать это, недолго привелось и земляники дожидаться; взяла она чашку деревянную и встрѣтила Ѳомку въ лѣсу.

— Что, аль и ты за земляникой вышла? — началъ Ѳомка говорить ей и посмотрѣлъ своимъ нахальнымъ взглядомъ.

Забыла Аннушка, что хотѣла сказать ему и о чемъ цѣлое утро продумала, не съумѣла даже и отвѣта прибрать. Присѣла она на лужочекъ, который весь былъ усыпанъ спѣлыми красными ягодками, словно платокъ набойчатый цвѣточками. Сѣлъ и Ѳомка рядомъ съ ней; оторветъ ягодку и броситъ ей въ чашечку; другую оторветъ и опять швырнетъ туда же.

— Ты, говоритъ, не сердись на меня; я тебя никому не дамъ въ обиду. Писаря говорятъ, побей, коли надоѣдать станетъ. Нѣтъ, говорю, братцы, не трону, во... не трону!

— А зачѣмъ ты все туда ходишь? осиливъ наконецъ свою робость, проговорила дѣвушка.

— Оттого, что мнѣ лучше тамъ; вѣдь и тебя же не прихвостнемъ таскать за собой.

Промолчала дѣвушка, но видѣлъ Ѳомка, какъ подернулись ея губы легкой судорогой, пробѣжали двѣ морщинки на щочкахъ, сдвинулись ея рѣсницы и крупная слезинка капнула на ягоду. Отвѣтилъ ей Ѳомка своимъ бойкимъ смѣхомъ, всталъ на ноги и закачалъ головой.

— Кислая ты дѣвка — Анютка, плакса безтолковая! Ишь полюбила!.. больно, вишь, тоскуетъ!.. очень мнѣ тебя нужно! Вонъ, скажутъ, Ѳомка съ плаксой связался, и говорить, скажутъ, она не умѣетъ. Убирайся ты отъ меня, и безъ тебя много!.. сказалъ и, плюнувъ, пошолъ Ѳомка на перекостки черезъ поляну, въ знакомое село, покурить картузнаго у пріятелей.

Съ тѣхъ поръ, что ни утро, Ѳомка торчитъ на скамейкѣ у писарской избы; цѣлые дни проводилъ въ селѣ; случалось, что ночи заночевывалъ, а на Аннушку и глядѣть не хотѣлъ. Говорили въ деревнѣ, что писаря совсѣмъ приворожили парня; вмѣстѣ хмѣльнымъ занимаются съ нимъ и на балалайкахъ вмѣстѣ играютъ, Ѳомка пѣтухомъ кричитъ, сороку передразниваетъ. Еще, говорятъ, новый молодецъ пріѣхалъ вмѣсто того, что прогналъ ста-

новой; въ какой то купой одеждѣ по утрамъ ходитъ, а къ вечеру халатъ надѣваетъ пестрый. Говорили еще, что у молодца и чубукъ длинный, и играетъ онъ на гитарѣ; хочетъ Ѳомку учить. Во всемъ, говорили, новый молодецъ лучше двоихъ: и съ дѣвками сельскими бойко играетъ, и деревенскія пѣсни какъ-то по своему перекладываетъ.

Наконецъ и Аннушка увидѣла хваленаго молодца уже въ то время, какъ послѣ бойкихъ дождей проглянуло солнышко и высунули маслянники свои слизистыя головки; показались и рыжечки на зеленыхъ полянахъ.

Шолъ новый писарь, какъ и говорили, въ пестромъ халатѣ, но только трубки не курилъ, а пѣлъ какую-то пѣсню. Поровнявшись съ Аннушкой, которая шла за грибами, краснощокій писарь перемѣнилъ напѣвъ и запѣлъ другую пѣсню, ловко прищолкнувъ надъ самымъ ухомъ дѣвушки и откинувъ ногу.

— Должно быть эту Ѳомка-то любилъ, и про нее, знать, разсказывалъ; да вѣдь дурова же голова, сорока проклятая! Не умѣлъ дѣвки любить—и словно сельская Матрена лучше ея!

— Мужикъ то мужикъ и есть, мужикъ деревня, голова тетерья, ноги куричьи, проговорилъ писарь, и съ тѣхъ поръ каждый вечеръ приходилъ, по близости, въ Ѳомкину деревню, словно тотъ нарочно посылалъ его на мѣсто себя.

Узналъ пестрый халатъ, гдѣ живетъ Аннушка и все ходитъ около ея избы и напѣваетъ громогласно: „Конченъ, конченъ дальній пить!“ или „Ударимъ во струны, ударимъ!“

Улыбалась Аннушка и, при встрѣчѣ съ писаремъ, била его по рукѣ, когда начиналъ онъ заигрывать. Не приняла сначала его перваго подарка, платка съ картинками, но пестрый, краснощокій писарь самъ повязалъ ей на шею. Сбросить его постыдилась дѣвушка, тѣмъ болѣе, что Ѳомка, кромѣ лишняго пряника на чужомъ дѣвишникѣ, ничего не дарилъ ей. Въ другой разъ писарь

подъѣхалъ съ орѣхами — и тутъ не далъ маху: краснѣла Аннушка, увертывалась, а соблазнилась-таки на орѣхи, тѣмъ болѣе, что они были грецкіе, хоть и на половину съ гнилью внутри, — и не отказалась отъ фунта конфетъ крупичатыхъ, которыми разразился волокита въ послѣднемъ подаркѣ.

Между тѣмъ начали слухи носиться, что грузди пошли и ужъ два воза повезъ сельскій грибовникъ на сосѣдній боръ. Пошла и Аннушка за груздями, да все набирала одни свинари; вотъ ей и груздочки стали попадаться, сначала большіе, а вонъ и маленькій проточилъ головку изъ подъ кучки сосновыхъ иголокъ; за нимъ другой, третій... успѣвай только брать, — откуда берутся грибы. Не успѣла она и дно лукошка завалить порядочно, какъ зашелестѣли листья и откуда ни взялся пестрый халатъ писаря и его длинная трубка.

Слово за словомъ, подсѣлъ писарь тутъ же и сталъ помогать дѣвушкѣ. Долго сидѣли они и о чемъ-то толковали, вовсе не подозрѣвая, что подвигалась къ нимъ буря — и самъ Ѳомка какъ вылилъ тутъ.

— Ты это за чѣмъ въ чужой то огородъ залѣзъ? — крикнулъ онъ на писаря и въ сердцахъ схватился за палку.

— Бахваль, сколько хочешь, на гитарѣ своей, а нашихъ не трогай; на меня вотъ цѣлую недѣлю дуешься. Почище тебя ваши ребята, да и съ тѣми въ міру живемъ. Ишь, говоритъ, мы ихъ чище; мы, говоритъ, не напиваемся до пьяну и на балалайкѣ не любишь играть; гармонія, говоритъ, скверный струментъ. Дѣвки всѣ скверныя... а въ нашу деревню для прогулки ходишь? кричалъ Ѳомка, передразнивая писаря, и разставилъ ноги, ожидая нападенія.

— Я, вотъ, ввалю тебѣ свойскихъ-то, штукъ со сто, такъ и будешь ты ходить по жордочкѣ, чернила ты этакія, бумага проклятая! выкрикивалъ Ѳомка, выжидая отвѣта, которымъ не замедлилъ писарь и высчивалъ ему полновѣсными дулями.

Ѳомка какъ ни ловчился, но принужденъ былъ уступить сильному писарю и лечь на землю, можетъ быть, и по своей волѣ, а вѣрнѣе всего по неволѣ.

Такъ какъ подобныя оказіи бываютъ не часто и притомъ же всегда занимательны, то и драка двухъ пріятелей не прошла въ тихомолку, а огласилась на цѣлой лѣсъ. Долго ли собраться грибовникамъ, долго ли смекнуть имъ въ чемъ тутъ дѣло и что Ѳомка повиненъ въ начинѣ, если лежитъ на землѣ.

— Встань, ободряли его ребята, да мазурни его! Али сердце отшибъ? Изловчись, Ѳомка, полно валяться-то! Ты вѣдь у' насъ завсегда бахвалистъ былъ! Эхъ, укаталъ, братъ, тебя писарь: вонъ и кровь потекла... Что, братъ, Ѳомка, кусаться началъ? — дай ему еще! еще!.. лихо!.. лихо! — травили Ѳомку ребята и заухали, когда избитый дружка наконецъ былъ оставленъ писаремъ и, встряхнувшись, всталъ на ноги.

— Подъ силки взялъ, да угодилъ подъ ножку, — оправдывался Ѳомка, — а то бы и не свалилъ. Пойдемте, братцы, пора коровъ заставать!

Послѣ этого замѣчательнаго событія, Ѳомка совсѣмъ позабылъ объ Аннушкѣ, стыдился даже встрѣчи съ нею, да разъ толкнулъ ее ни съ чего, когда встрѣтился на задахъ и обругалъ обиднымъ словомъ.

— Пусть его ругается! — говорила Аннушка своимъ подругамъ. Лишь бы только не дрался: а то толкнулъ такъ, что насилу духу набралась, — прямо противъ сердца угодилъ.

— Нѣшто ты совсѣмъ его разлюбила? допытывались любопытныя подруги, но Аннушка покраснѣла только и ничего не отвѣчала.

VII.

Прошло, наконецъ, наше сѣверное неустойчивое лѣто. Было сухо; долгое ведро тянулось. Пошолъ разъ дождикъ, припрыснулъ

слегка, и заволокло широкое небо сѣрыми тучали вплоть до самаго Покрова. Что ни утро, то и грянетъ назойливый ливень и мутитъ цѣлые сутки.

Наконецъ пришлось мужичкамъ порадоваться: проглянуло солнышко, но узнать его нельзя: совсѣмъ стало нелѣтнее. Да и на томъ спасибо, что хоть опять установилось ведро и дало время поубраться, а то хоть зубы клади на полку: къ нивѣ просто на просто приступу не было; все залило водой; все отсырѣло.

Повелись опять работы обыденныя: что ни день, то зарево, сначала словно свѣчка вдали, шире, да гуще и размалюетъ половину неба кровянымъ цвѣтомъ. Рѣзко обозначался этотъ цвѣтъ при густой темнотѣ осеннихъ вечеровъ, и понеслись обычные слухи, что въ одномъ мѣстѣ овинъ сгорѣлъ со всѣмъ добромъ; оставили ребятишекъ сторожить, а сами завалились на полати. Ребятишки — глупый народецъ—вздумали въ ямѣ рѣпу печь; да стрекнулъ уголекъ некстати и попалъ въ недоброе мѣсто: прямо между колосницами. Затлѣлся уже высохшій снопъ. обхватилъ его огонекъ синей змѣйкой—и долго ли до грѣха: пошло крутить и по сосѣднимъ снопамъ. Занялся овинъ и скоро запылилъ, запыхалъ; только успѣли ребятишки выбѣжать. Хорошо еще, что дѣло обошлось однимъ овиномъ: растаскали его по бревнушку. По сосѣдству же совсѣмъ лихая бѣда приключилась; пронесло огонь изъ конца въ конецъ деревни: живаго мѣста не осталось; торчатъ однѣ обугленныя вереи, а печей и мѣста не знать. Одинъ исходъ такой бѣдѣ — цѣлая верница погорѣлыхъ, съ замаранными лицами пошла по сосѣдямъ: „подайте, говорятъ, на погорѣлое мѣсто!“

Но вотъ и первоснѣжье наступило: пошла бездорожица, настали мятели, да вьюги и — обѣлилась земля, замерзла она вершка на два. Завалились старики на печь; сѣлъ большакъ за лапоть, большуха за стрижку бяшекъ, а молодое племя ссыпки затѣяло

и начались завѣтные супрядки. Коренной и неизмѣнной ихъ посѣтитель Ѳомка, какъ будто и не жилъ въ своей деревнѣ, забылъ объ нихъ вовсе и не ходилъ смотрѣть на ребяцкія игры. Гдѣ онъ и что? — никто не заботился. Знали только одно, что Анютка сговорена за писаря Егора Степаныча, который лѣтомъ въ пестромъ халатѣ ходилъ, а къ зимѣ надѣлъ синій овечій тулупъ.

Ходитъ писарь каждый день въ Ѳомкину деревню и все у невѣсты сидитъ, принесетъ гитару и брянчитъ на ней вплоть до третьихъ пѣтуховъ. Веселѣе были супрядки эти, чѣмъ прошлогодніе; гдѣ они ни затѣются, вездѣ сидитъ писарь съ невѣстой: онъ на гитарѣ играетъ, она прядетъ и пѣсни поетъ, да какъ-то совсѣмъ неохотно.

— Не то она, братцы, Ѳомку крѣпко любила, не то... что...

— А лихо его писарь поломалъ! — Совсѣмъ, братцы, опѣшилъ нашъ парень; говорятъ изъ батраковъ-то онъ на Волгу пробираться хочетъ — толковали промежъ собой ребята, но ошибались немного, потому-что лишь только прошли святки, Ѳомка какъ снѣгъ на голову.

— Здорово, ребята, чай и въ живыхъ не чаяли? — далеко братцы, былъ... куды далеко!—привѣтствовалъ онъ своихъ старыхъ друзей. Да не уладилъ ли кто изъ васъ дѣла полюбовнаго: такъ берите въ дружки: не бойтесь! — уважимъ по прежнему.

Одному только удивились ребята, что Ѳомка не спросилъ ничего объ Аннушкѣ, а у нихъ ужъ и отвѣтъ готовъ былъ и только заикнись тотъ—цѣлый бы коробъ вывалили, что вотъ-де въ будущее воскресенье свадьба у писаря, у невѣсты сарафанъ новый въ подарокъ отъ жениха; самъ становой посажонымъ отцемъ вызвался, и жена его пріѣзжала на тройкѣ рыжихъ вятокъ; Матюха кривой кучеромъ былъ въ новомъ армякѣ и въ кушакѣ золотомъ; кузнецъ Кузьма дружкой отъ невѣсты; писарь

Изоська дружка съ жениховой стороны; да у земскаго буренка поколѣла.

— Самъ, рѣшили ребята, провѣдаетъ обо всемъ. А что-то будетъ? пропуститъ ли это дѣло такъ, а не таковскій бы парень.

Ѳомка же, какъ ни въ чемъ не бывалъ: съ Анюткой ни слова, съ Егоромъ Степановичемъ и не поклонился. Прорвался было въ самый день свадьбы (сказалось ретивое): подучалъ ребятъ горшки бить, да запастись дехтярницами, но опомнился: догадался, что шкурка на спинѣ своя—непрокатная, и махнулъ рукой.

Сыграна была наконецъ и свадьба писаря на славу и всеобщее удовольствіе. Только, говорятъ, куды—громко вопила невѣста, набирала такихъ приговоровъ и такъ громко выкрикивала, что и Глыздиха молодая позавидовала бы въ прошедшую зиму. Подруги говорили, что голосила по Ѳомкѣ, но большаки рѣшили правдивѣе:

— По своемъ дѣвичествѣ сокрушалась. Молодецъ-отъ этотъ показистѣе Ѳомки будетъ: грамотку ли разобрать изъ Питера, другую ли смастерить туда „съ родительскимъ благословеніемъ, на вѣки нерушимымъ“, по деревнѣ ли пройтись осанисто,—всѣмъ взялъ парень и хмѣлемъ не зашибается, и становой крѣпко любитъ. А Ѳомка что?—шалапай, бахвалъ и—ничего больше! Ему то бы въ мутной водѣ и рыбу ловить: дѣвка любила, родители не косились; жилъ бы на тестевы деньги. Вонъ и теперь тесть пять возовъ отправилъ въ Питеръ съ грибами солеными и сушоными; да и въ сундукѣ нѣтъ ли по больше тысячи залежалыми. А вѣкъ дружкой ходить—пріѣстся, да и хорошаго мало. Можетъ и женится парень, спроста, такъ того и гляди, что какъ на льду обломится, и себѣ на невзгоду, да и женѣ на маету. Жилъ бы жилъ, дуракъ, въ тепломъ мѣстѣ за пазухой у тестя богатаго: и

лапотки бы не плелъ, все бы въ сапогахъ со скрипомъ щеголялъ. То то вѣдь дураково поле! А что тесть мужикъ умный, и тароватый—такъ весь околодокъ присягу приметъ, не дастъ солгать. И богатъ, а не рогатъ.

Сысоевъ.

Изъ множества новостей, сообщонныхъ прикащику одной изъ тысячи петербургскихъ лавочекъ досужими его покупательницами, пріятнѣе всѣхъ была, можетъ быть, одна только, и именно та, что въ 40-й номеръ, къ прачкѣ, навѣдывался жилецъ и далъ задатку.

На другой день вѣсти значительно увеличились и представляли уже родъ чего-то цѣлаго, по которому краснощёкый, кровь съ молокомъ, прикащикъ-ярославецъ, могъ ясно видѣть, что новый жилецъ будетъ неизбѣжнымъ его покупателемъ. Съ утра отъ 8 до 2-хъ часовъ включительно являлись вѣстовщицы и до такой степени пополнили вчерашную новость, что Григорій Матвѣичъ зналъ уже, что у новаго жильца комодъ красненькій, кожаный диванчикъ—только-только одному протянуться; пары двѣ плетеныхъ чорненькихъ стульевъ; столъ бѣлый.

— А ужъ, клѣтокъ сколько, Григорій Матвѣичъ! такъ словно птицъ продаетъ. А только всѣ до одной пустыя,—сообщала лавочнику одна изъ кухарокъ того дома, въ которомъ помѣщалась лавочка.

— Стало быть работаетъ ихъ!—глубокомысленно замѣтилъ сметливый Григорій Матвѣичъ.

— Да тутъ не однѣ только клѣтки: кардонокъ еще много, —добавила другая вѣстовщица.

На эту новость лавочникъ не сдѣлалъ никакихъ замѣчаній, вѣроятно, считая дѣломъ рѣшительно излишнымъ, прямо подтверждающимъ его первую догадку. Но за то не безъ вниманія оставилъ другую новость, сообщонную смазливенькой горничной, что пріѣзжій жилецъ совсѣмъ старый и что онъ на деревяшкѣ приплелъ, немного спустя послѣ ломоваго извощика.

— Волоса на щекахъ, говорила она, словно войлокъ: все лицо завалило; изъ-за усовъ ни носа, ни рта не видать было. На головѣ военная шапка съ козырькомъ, а на плечахъ тулупъ бараній.

Остальныя вѣсти, полученныя лавочникомъ, уже не имѣли большаго интереса и только пополняли и округляли новость: разсказывали, что жилецъ подъѣхалъ къ той самой лѣстницѣ, на которой живетъ прачка; извощикъ перетаскивалъ мебель потяжеле, самъ кавалеръ перенесъ клѣтки и кардонки; ухватились было вдвоемъ съ извощикомъ перетащить диванъ, да не смогъ кавалеръ: сѣлъ на первомъ приступкѣ; а извощику подсобилъ уже дворникъ. Хозяйка-прачка, явившаяся купить на копѣйку сливокъ съ пригорѣлой пѣнкой къ кофею, сообщила, что жилецъ далъ полтинникъ задатку, а какъ пріѣхалъ, то позвалъ ее къ себѣ и всѣ деньги за мѣсяцъ заплатилъ впередъ.

— Больно только кашляетъ, закончила она свою рѣчь,— зальется—зальется, Григорій Матвѣичъ, словно на цѣлой день, и все-то, батюшка, съ перхотой. Ужъ куды старъ кавалеръ-отъ!..

— А какъ его зовутъ, Аргафена Семеновна? спросилъ лавочникъ.

— Забыла, голубчикъ:—имя и отечества не успѣла спросить.

При такихъ, довольно впрочемъ достаточныхъ на первую

пору, свѣдѣніяхъ оставался лавочникъ до другаго дня. Поутру самъ жилецъ не замедлилъ явиться и познакомиться, спросивши, на первый разъ, пятокъ огурцовъ и фунтъ чорнаго хлѣба.

— Нѣтъ ли съ чесночкомъ огурчиковъ-то? спросилъ онъ лавочника, который, всмотрѣвшись пристально въ кавалера, убѣдился, что вѣсть чорноглазой Аннушки была дѣйствительно справедлива: кавалеръ весь опушился волосами; приплелся на деревяшкѣ, другую держалъ подъ мышкой, а на головѣ, дѣйствительно, была надѣта военная фуражка съ козырькомъ.

— Съ чесночкомъ, извините кавалеръ, не держимъ! Да признательно сказать здѣсь и во всемъ-то городѣ едва ли найдете, развѣ на домахъ гдѣ дѣлаютъ.

— Жилъ вотъ я до васъ въ Семеновскомъ полку,—такъ тамъ нашолъ одну лавочку, изъ которой чуть ли не цѣлую кадушку перебралъ. Такъ отпусти, по малости, получше огурчиковъ!.. крѣпкихъ, знаешь.

— Ванюшка! — крикнулъ лавочникъ на прислужника, попробуй пальцемъ, — который деревянистѣе, такъ отложи пятокъ кавалеру.

— Не люблю я мягкихъ огурцовъ, — заговорилъ кавалеръ, какъ ножемъ тронешь, такъ онъ тебя всего и обидитъ, если не посторонишься. Да и вкусу-то никакого нѣтъ, словно разсолъ, совсѣмъ несоленый.

— Это точно что справедливо: кто что̀ какъ любитъ; другой такъ вотъ и духу-то чесноковова не терпитъ. А на что требованій нѣтъ, такъ мы, знаете, и попридерживаемся: не беремъ того.

— Что̀ прикажите? продолжалъ лавочникъ, любезно перегнувшись черезъ прилавокъ и сдѣлавши изъ своего пріятнаго лица совсѣмъ сладкое выраженіе.

— Кофею на двѣ копѣйки, полфунта ситнику, на копѣйку сахару; да сливокъ получше, съ пѣнкой... На книжку отпустите! —

денегъ забыла прихватить съ собой, — высчитывала вчерашняя вострушка, которой не понравился старикъ кавалеръ, заковылявшій въ это время на деревяшкѣ подъ ворота новаго пріюта.

— Почтенное лицо! — замѣтилъ лавочникъ, — и кавалеріей обвѣшенъ. Главное, знаете, привѣтливъ!

— Ласковое теля двѣ матки сосетъ! — замѣтилъ старичокъ въ старой шинели, каждый день по два раза заходившій въ лавочку съѣсть кусокъ семги или пары двѣ-три миногъ, и запить все это ковшомъ квасу, который, по знакомству, отпускался ему даромъ.

Новый жилецъ, обвѣшанный кавалеріей, успѣлъ до такой степени заинтересовать лавочника, что этотъ послѣдній къ вечеру зналъ уже, что кавалера зовутъ Иваномъ Сысоичемъ, по прозвищу Сысоевъ, восьмидесяти съ чѣмъ-то лѣтъ, правой ноги не имѣетъ: должно быть, на войнѣ утратилъ. Хозяйкѣ онъ платитъ четыре рубля въ мѣсяцъ, съ обѣдомъ; держитъ водку; а вчера вечеромъ затѣмъ покупалъ огурцовъ, что пришолъ къ нему такой же кавалеръ-инвалидъ. Долго и много говорили они о военномъ; одинъ было пѣсню такую затянулъ, да голосомъ не дошолъ, самъ-отъ закашлялся, а гость беззубый, не докончивъ пѣсни, оборвалъ ее на первыхъ словахъ.

— А пѣсня-то бы военная, кажется, была, — продолжала квартирная хозяйка-прачка. Послѣ ужъ все только цаловались, да по рукамъ хлопали. Самъ-отъ больно, слышь, кашлялъ, а тотъ, гость-отъ, ничего,—только подсмѣивался: „что, говоритъ, ножки, что ли, промочилъ: ложись, говоритъ, въ лазаретъ!“ и оба они засмѣялись; потомъ взялись за руки и сошли вмѣстѣ съ лѣстницы. Мой-отъ куды—долго подымался на верхъ. Вползъ кое-какъ, да и опять раскашлялся.

Прошолъ еще одинъ день и, черезъ посредство лавочки, едва ли не половина дома знала, что израненый жилецъ прачки дѣ-

лаетъ деревянныя клѣтки для птицъ и поставляетъ ихъ въ лавки; туда же справляетъ онъ и кардонки для эполетъ и шляпокъ. Цѣлое утро возится кавалеръ съ бумагой и клестеромъ, для котораго хозяйка разводитъ огонь вечеромъ; и что за подобное одолженіе жилецъ обѣщался ей приплачивать лишній полтинникъ въ мѣсяцъ. Сказывали потомъ, что къ нему изрѣдка приходитъ другой инвалидъ, и оба пріятеля иногда поднимаютъ такой споръ, что какъ будто одинъ у другаго денегъ взялъ взаймы, но все дѣло обыкновенно кончалось мировой-магарычной.

— Былъ еще еднова,—разсказывала вскорѣ прачка, купецъ толстой. Денегъ моему оставилъ; къ себѣ звалъ мальчика крестить,—третьяго, какъ сказывали.

— Стало быть, достатецъ-то у кавалера запасливый! замѣтилъ лавочникъ. А добрый онъ человѣкъ?

— Куды-добрый! — стукнетъ иной разъ въ дверь ко мнѣ „поди-ко, говоритъ, хозяйка, сюда; выпей-ко со старикомъ кофейцу крупицу, а можетъ, говоритъ, и водочки хочешь?“... Она-то завсегда у него въ нижномъ камодѣ стоитъ; вотъ ужъ никакъ пятый разъ посылаетъ, и—прачка показала посуду. А ужъ шутникъ-то какой, Григорій Матвѣичъ, особо выпимши. Купи-ко, говоритъ, хозяюшка, бодряшки, да приходи: побалуемся! напустимъ сорванцовъ въ старую кровь. Авось, говоритъ, разогрѣетъ. Это сорванцомъ-то онъ рюмочку съ бодряшкой называетъ. У него и косушка инако слыветъ: кантонистикомъ ее прозвалъ.

— Чѣмъ же онъ занимается?—допытывалъ лавочникъ. Неужели все клеитъ?

— Все клеитъ... все клеитъ: кардонки кругленькія клеитъ; еще какія-то клеитъ, тоже кругленькія. Картинку обдѣлалъ одну, теперь за другую принялся. Вотъ, говоритъ, хозяюшка хочу книги переплетать.—„Чтожъ, говорю, хорошее дѣло, батюшко, книги переплетать. Вотъ, говоритъ, игрушку мастерю: домъ, говоритъ,

на горѣ, а тутъ, говоритъ, рѣчка и мостикъ. И показалъ мнѣ игрушку-то эту: все это такъ, батюшко, похоже!... Словно и деревца тутъ есть, и моху наклеилъ по бокамъ. „А что это у тебя, говорю, чорненькой-то лежитъ?“ —А это монахъ, вишь, будетъ: подъ гору пойдетъ, а вотъ этотъ, говоритъ, въ воротахъ будетъ стоять съ тарелочкой, сбирать подаянія,—и тарелочку-то мнѣ показалъ. Все же, говоритъ, дѣтямъ господскимъ на потѣху хорошо будетъ. „Вотъ, говорю, пойдетъ верба, ты бы туда ее, батюшко, отнесъ.“ —Да ужъ я, говоритъ, тебя, хозяюшка, попрошу; гдѣ ужъ мнѣ, говоритъ, на морозѣ-то стоять; послѣднюю ногу, пожалуй, отзнобишь.—„Такъ, такъ, говорю, батюшко, коли не я, такъ другаго кого попрошу постоять“.—Я, говоритъ, и вербы тебѣ надаю и головки, говоритъ, леплю изъ воску; чего будетъ стоить постоять: я, заплачу, говоритъ. „И, что ты, говорю, добрая ты душа, даромъ сдѣлаемъ! Право, добрая ты душа!“

Расчувствовавшаяся прачка долго еще говорила похвалы своему жильцу, напѣвая и о добротѣ его, и о привѣтливости: и шутникъ-то, говоритъ, онъ, и знаетъ много, и ни про кого-то ругательнаго слова не скажетъ, и живетъ скромно: пѣсенъ не поетъ, да и нечѣмъ, говоритъ:—зубовъ то всего на все не больше пятка наберется; кашляетъ только съ перхотой, да и къ кашлю, говорила прачка, стала привыкать.

Однимъ словомъ, пріѣзжій инвалидъ сдѣлался, въ короткое время, предметомъ уваженія цѣлаго дома, но особенно чувствовалъ къ нему влеченіе лавочникъ, при первомъ же посѣщеніи инвалида предложившій ему забирать на книжку, хотя это и не такъ-то легкое дѣло для тѣхъ, которые забираютъ уже совсѣмъ по мелочи. Инвалидъ отказался отъ предложенія книжки, но попробовалъ привозной икорки и поблагодарилъ хозяина.

— Милости просимъ, говорилъ лавочникъ, къ нашему досужеству на кое-какое время поговорить часомъ. У вашей бы ми-

лости только и слушать поученія эти самыя. Холодно вотъ только тепереча; а спривычки, вотъ намъ, и ничего-съ!—проговорилъ лавочникъ, шмыгнувъ, плечами по своимъ доморощенымъ ярославскимъ овчинкамъ.

— Да и мы, братъ, видали не такіе страхи: въ двѣнадцатомъ году галка налету мерзла, а-мы себѣ таки—посогрѣлись — и ничего.... Вотъ и теперь, какъ съ полка въ банѣ, такъ и окачусь холодной водой. Въ деревнѣ такъ просто въ снѣгу валялся.

— Тяжолое было это время, двѣнадцатый годъ, а вѣдь ничего же: себя отстояли!—затронулъ лавочникъ ретивое инвалида, какъ будто зналъ, что это его живая струнка.

— Вы эти раны-то не тогда ли получили? продолжалъ ярославецъ, когда всѣ покупатели, воспользовавшись счастливой минутой, приготовились убить дешовое время за поучительной бесѣдой. Къ тому же пора была вечерняя: начинало смеркаться — стало быть все живущее напилось, наѣлось, — и объ мелочной лавочкѣ позабыло думать.

— Всѣхъ ранъ у меня четыре!—отвѣчалъ инвалидъ, усаживаясь на изломанный стулъ подлѣ прилавка. Еслибы всѣ ихъ получить въ полгода, едва-ли хватило духу пройти все наше отечество; да еще притомъ къ нѣмцамъ завернуть, и къ супостатамъ-то нашимъ понавѣдаться. Прошолъ я всѣ заморскія земли, и знаю, какъ и нѣмцовъ всѣхъ зовутъ. И съ французомъ пожилъ. Пустой, братцы, народъ эти французы, какъ приглядѣлся я къ нимъ: чорнаго хлѣба не ѣдятъ, нашей бодряшки не употребляютъ, а хватятъ эдакъ чашечку чайную бульонцу.... да травы разной вотъ съ такимъ хлѣбомъ—и сытъ, говоритъ. Теперь бы, говоритъ, вина какого бутылочку, — потомъ по садамъ пойдетъ... шляпа съ заломомъ и тросточка въ рукѣ; а тамъ и пошолъ заглядывать подъ шляпки, пока не засядетъ въ кофейной.

— Что же вы касательно ранъ-то вашихъ хотѣли разсказать? опять спросилъ лавочникъ.

— Чтожъ разсказать вамъ про раны? — Рана вѣдь, братъ, скверное дѣло; дѣлаетъ ее все эта пуля проклятая; одну только и прорвали штыкомъ, ну, зато она и живетъ посмирнѣе всѣхъ. Какъ вотъ эдакъ непогодь начнетъ заниматься: дождикъ ли полилъ, снѣгъ хлопьями пошолъ,—заскулятъ мои раны — мѣста не найду. Одна развѣ штыковая и сноснѣе всѣхъ, и то потому, что въ мягкое мѣсто угодила, да къ тому же и позатянуло ее порядочно.

— Гдѣ же вы ихъ получили, кавалеръ?

— Разумѣется, не въ одномъ мѣстѣ: одна до двѣнадцатаго года еще попалась, и куды она жгуча была!... Былъ я еще солдатъ молодой, непривычный; перевалили мы заграницу и пошли на француза. Шли-то бы, кажется, и не очень долго и все ко врагу ближе: старые солдаты смѣются надъ нами, Суворовымъ корятъ: „въ ногу, говорятъ, ребята!... въ ногу!... прикладъ къ лѣвому боку держите, а то выскочитъ сердце на вѣтеръ и сухопараго француза не увидите. А подраться, говорятъ, славно съ французомъ: народъ горячій, стойку знаетъ не хуже нашего; не плошайте однако, ребята, — ловокъ французъ, и глазомъ цѣлитъ прямо въ сердце, а посторонишься — и черепъ, пожалуй, расколетъ. Далеко, говорятъ, теперь наша Россія, и глазомъ не докинешь. А постоимъ за нее: на то, стало быть, послали!“.. Такъ-вотъ мы балагуримъ со стариками-то, ну!—и сами прибодрились. Думаю я: насъ тутъ чуть не двадцать тысячъ и всѣ на одно шли. Пойдемъ и мы за ними: что, думаю, смотрѣть на деревенскія слезы?—„Смотри, слышь, Иванушко, хоронись отъ смерти. Господь, говорятъ, съ ей; а убьютъ, такъ и мы за тобой слѣдомъ!“.. толковали старики-то мои. Помню, старики ревѣли. Да Господь съ ними; старое время только и хорошо, когда вспом-

нишь.—Нѣтъ, думаю, батюшка съ матушкой, теперь въ Нѣметчинѣ: вонъ вчера командиры сказали, что чуть ли мы завтра врага не увидимъ. Тутъ хоть бы и просили меня, ни за чтобъ не послушалъ; двухъ смертей не бывать, а одной не миновать. Слышимъ: застучали отбой — отдыхать велѣли. — Тутъ со мной два земляка шли, такъ мы все около другъ друга держались. Завалился я съ ними подъ кустикъ соснуть немного, да нѣтъ: не смогъ! Стали мы толковать, что вотъ-де завтра никакъ въ дѣло пойдемъ. Начали мы другъ другу давать совѣты: кто-де изъ насъ будетъ живъ, — пусть въ деревню передастъ все, что останется: главное не бояться пули, стоять—не сторониться. Старики говорили, что она-де тутъ и ловитъ, а коли въ грудь попадетъ—святое дѣло!... Пока что, а солнышко поднялось и попригрѣло нашу команду; стали зорю выбивать; въ ряды строиться... Пришолъ полковой командиръ и говоритъ, что намъ-де сегодня вечеромъ въ сраженіи быть, кровь свою проливать; передовой-де полкъ совсѣмъ ужъ недалеко отъ врага. Да и намъ, говорили, одинъ переходъ остался,—верстъ на двадцать, эдакъ, примѣрно... Встали мы въ ряды и повалили впередъ; прошли лѣсокъ-то свой жиденькій; по полянѣ прошли и какъ разъ очутились на горѣ. Провалили тѣмъ временемъ передніе ряды подъ гору; вижу я: поляна большая; кругомъ все горы, да горы... рѣчка бѣжитъ; нѣмецкій городъ построенъ на полянѣ и нѣмецкія церкви съ пѣтушкомъ на колокольнѣ.

— Видите, братцы, какъ я похрабрѣлъ, что даже и это замѣчать сталъ, а въ запрошлую ночь, такъ чуть-чуть не заплакалъ: на сердцѣ словно пудовая гиря привѣшена и голова разболѣлась; какъ бы не казенная чарка водки, такъ и того бы не замѣтилъ. „Вонъ, говорили, за этимъ городомъ супостатъ нашъ засѣлъ; туда и намъ самимъ лежитъ дорога“. Вижу: мостикъ далеко на право;

деревенька разбросана, кругомъ словно сады разведены — закончилъ инвалидъ и призадумался.

Слушатели его молчали, дожидаясь продолженія разсказовъ. Мальчишка - лавочникъ заикнулся было про нѣмецкія церкви спросить, но прикащикъ велѣлъ ему нацѣдить квасу вошедшему покупателю, а самъ, опершись на прилавокъ и вздохнувъ глубоко, опять затронулъ стараго кавалера.

— Какъ же вы, господинъ честной, въ страженіе-то попали?

— Извѣстное дѣло ногами, да по командирскому приказу. Сошли мы подъ гору и стали пробираться поляной,—и какъ теперь вижу: завернули опять въ кустарничокъ жиденькій; не видать намъ стало нѣмецкаго города. Шли мы, помню, не очень долго, сталъ кустарникъ рѣдѣть, и слышимъ всѣ: поднялся громъ справа, ровно бы за нѣмецкимъ городомъ; ухнетъ, да ухнетъ, да такъ—глухимъ раскатомъ и зальется.—„Что это, говорю, пушки палятъ, или ружьями стрѣляютъ?“ Все, говорятъ, есть: и ружья и пушки. Льется, говорятъ, кровь. Да что ты, говорятъ, Сысоевъ, не трусу ли праздновать хочешь? — „Нѣтъ, говорю, чего трусить!“ — А у самого сердце словно провалилось: руки чуть-чуть ружье держатъ; гляжу старики наши хохочутъ.—Эй, говорятъ, вы; щолкоперы, мужики нечосаные; съ ноги, смотрите, несбиваться, а то дойдемъ, говорятъ, васъ прикладами. Вишь, говорятъ, словно овцы въ кучкѣ: ровняйсь!...“ Вижу одного старика: совсѣмъ словно струнка: усы расчесалъ, на лицо веселую улыбку нагналъ,—не то въ хороводъ козыремъ пошолъ, не то на страженіе. Эхъ, молодцы, были эти старики-то суворовскіе, да только не по многу ихъ доставалось на полки!...

Инвалидъ опять вздохнулъ и призадумался.

— Вотъ, господа, продолжалъ онъ, — прошли мы кустарникъ. Вижу я, вижу, словно вчера это было: несутъ три ундера кого-то въ шинель его завернули. Поровнялись они съ нами; видимъ

мы не то полковникъ, не то майоръ — эполеты густыя — лежитъ словно смерть блѣдный. Сертукъ растегнутъ и изъ подъ подтяжки, помню, правой сочится кровь, красная кровь, и запеклась она на рубашкѣ толстымъ хлѣбнемъ. „Раненый“ — говорятъ ребята: — въ кустарникѣ-то, выходитъ, перевязку ему сдѣлаютъ, да никакъ, говорятъ, уже померъ. — „Вотъ, думаю, командиръ не уцѣлѣлъ: что же, думаю, нашему-то брату солдату задумываться? Только бы, думаю, въ сердце не попадало. — „Стой! кричатъ, стройся! Правое плечо впередъ! маршъ!...“ Не помню ужъ я, господа, куда повели и какъ повели; слышалъ только свистъ по сторонамъ, а сталъ приглядываться: одна пуля налетѣла, да бацъ моего фланговаго; крикнулъ тотъ и пошатнулся. Не помню, что съ нимъ сталось, а самъ я иду за передними. Про пули вспомнилъ, — взялъ немного вбокъ, а она тутъ и легка на поминѣ: въ правое плечо угодила, угорѣлая! — „Не балуй-де, глупой баранъ, — не сторонься; коли-де почотъ дѣлаю, — принимай съ честью!“ Шутъ съ ней, съ дурой! — пролежалъ изъ-за нея три недѣли въ гошпиталѣ. На выпискѣ оттуда принесли мнѣ медаль. Самъ командиръ навѣстилъ насъ и поздравилъ съ побѣдой. Славное было время, братцы, горячее время! А двѣнадцатый годъ, такъ тотъ еще лучше задался. Тогда мнѣ вотъ еще двѣ пули влѣпило, одна въ грудь, подъ самую ложечку, другая клокъ мяса на лѣвой рукѣ оторвала. Говорили какимъ-то, слышь, огнемъ зардѣется и пилить было хотѣли, да спасибо главный докторъ вмѣшался. — „Не нужно, говоритъ, пилить, такъ заживетъ!“ — Какъ, стало быть, сказалъ, такъ вотъ и есть.

— Какъ же это, кавалеръ, ногу-то вамъ оторвало? подхватилъ лавочникъ.

— Это подъ Туркой, когда въ двадцать-восьмомъ году ходили.

— Затесалось въ наши ряды ядро горячее; стало жужжать,

ı лопаться, плюнуло и на мои ходули; какъ ни вертѣлся, а ıвалили изъ рядовъ, да и записали опять въ гошпиталь. Тамъ-ıки нашлись хорошіе люди: лишную, да больную ногу подрѣзали. Іолковые мастера изъ полѣна деревяшку выточили, и сталъ вотъ калѣкой, съ золотой нашивкой и отставку чистую получилъ ıгда же.

— Прощайте-ко, братцы, никакъ и клестеръ и клей дома ıтовы: къ клѣткѣ донушко осталось подклеить—и совсѣмъ готова. . то прибранитъ хозяйка, что дрова-де по пустому жгу.

Съ этихъ поръ кавалеръ частенько заглядывалъ въ лавочку, ıобы потѣшить своей умной бесѣдой. Лавочникъ ждалъ, бывало, ı дождался, когда придетъ Иванъ Сысоичъ; не нахвалится онъ ıъ всякому новому гостю. Зато и кавалеру доставляли эти бе-ıды немалую радость:

— Словно молодцомъ живу съ вами, братцы, — говорилъ ıъ: ровно бы и не прожилъ столько годовъ, сколько засѣло на ıечи.

Немного спустя, кавалеру пораненому чуть не цѣлый домъ ıималъ шапки, а къ прачкѣ стали заходить незваныя гостьи ıвѣдаться:

— Что-де кавалеръ-то опять клеитъ?

— Клеитъ, матушка, — цѣлый день клеитъ, — всѣмъ одно вѣчала прачка.

— Смотри-ко, мать, какой ретивый!

— Тѣмъ живетъ, голубушка!

— А вѣдь больно старъ?

— Осьмой, говоритъ, десятокъ доживаетъ.

— Да что, мать, дѣти-то есть у него?

— Нѣтъ говоритъ: рано, слышь, овдовѣлъ; былъ одинъ ıальчикъ, да померъ.

— Ну, а у того-то, что ходитъ къ нему?

— Одинъ сынъ солдатомъ, другой въ писаряхъ; оба какъ-то разъ заходили къ моему. Да чтой-то, матушки, ровно бы не доброе что затѣвается; долго они говорили моему объ войнѣ какой-то, Турку поминали. Старикъ мой куды — шибко серчалъ и палкой своей стукалъ. Закричалъ было имъ, да не разслушала что: одолѣлъ его опять кашель-отъ этотъ проклятой.

—

— Пораспросите-ко, голубушка, старика-то вашего, что это тамъ затѣвается?—допытывались вѣстовщицы.

Между тѣмъ вѣсть эта не была уже новостью, и объявленная печатно, только потому не могла сдѣлаться въ скоромъ времени извѣстною, что лавочникъ не получалъ газетъ. По совѣту инвалида наконецъ запасся онъ этимъ добромъ и съ тѣхъ поръ каждое утро собиралась небольшая компанія слушать чтеніе и внимательно слѣдить за ходомъ военныхъ дѣлъ; доходило дѣло до того, что въ подробности читалось все, что написано было на второмъ и третьемъ (добавочномъ) полулистѣ „Пчолки". Чтеніе производилось громогласно, при всеобщемъ сдержанномъ молчаніи; лавочникъ не закидывалъ своихъ запросовъ. Изрѣдка инвалидъ объяснилъ имъ, по своему крайному разумѣнію, тѣ мѣста, которыя требовали нѣкоторыхъ поясненій бывалаго человѣка. Естественно, что Сысоевъ былъ тутъ выше всѣхъ въ этомъ отношеніи и, при помощи чтеца, того самаго старика въ старой шинелѣ, который любилъ завтракать и обѣдать семгой и миногами, свѣденія о современныхъ событіяхъ становились ясными для всѣхъ слушателей, не исключая, пожалуй, и кухарокъ, имѣвшихъ глупое обыкновеніе перевирать самую простую и обыкновенную вѣсть. Все это немало способствовало тому, что у догадливаго ярославца лавочка была полна каждое утро; сюда заходили даже съ

улицы и перешла большая часть покупателей сосѣдней овощной. Григорій Матвѣевичъ съ разу убилъ двухъ бобровъ, и еще больше привязался душею къ доброму и опытному старику-кавалеру, который наконецъ объяснилъ во всеуслышаніе весь ходъ дѣлъ въ слѣдующихъ короткихъ словахъ:

— Главное, стало быть, звѣно тутъ—англичанинъ-маклакъ; онъ, выходитъ, и турку подговорилъ и француза сбилъ съ толку. Этотъ народъ — вертопрахъ, и дѣлаетъ, какъ я вижу, не своимъ умомъ. По настоящимъ обстоятельствамъ, чего бы лучше сидѣть ему дома: вѣдь ужъ знаетъ, какаго жару задали въ двѣнадцатомъ году, хоть и зимы дожидался. А пришли мы въ столицу ейную: „не буду, говоритъ, братцы, и съ вами, говоритъ, навсегда въ дружествѣ останусь. А турка этотъ... такой ужъ народъ необстоятельный, совсѣмъ, какъ есть, некрещоной. Могомету вѣруетъ; трубку больше нашихъ барабанщиковъ любитъ, по пяти женъ держитъ, такая ужъ шабала бѣшеная. Хватитъ горячаго, ну, и оретъ и саблей машетъ, а прикрикнешь, да влѣпишь пулю, такъ и опѣшитъ и летитъ кубыремъ. А лошади у нихъ, братцы, такіе, что развѣ у черкеса одного лучше. Сбрую разукраситъ, словно похвастаться хочетъ, ну, и при себѣ капиталъ хорошій держитъ, и одежа богатая: прозументовъ налѣпитъ, золотомъ обошьется; сабли рублей по сту имѣютъ. Да, нѣтъ! вѣдь съ ними куды легко воевать, не то-что съ французомъ. Этотъ, пока не истекъ кровью, не вылупитъ глазъ: стойку лихо держитъ, такъ-что задоръ даже беретъ, какъ бы сломить его поскорѣй.

— Ну, а англичанинъ-то каковъ, Иванъ Сысоичъ? спросилъ лавочникъ.

— Съ этимъ, признаться, не удавалось имѣть дѣло. Объ этомъ нужно спросить моряковъ нашихъ; тѣ у нихъ частенько бывали въ гостяхъ. Говорятъ, машины словно дѣлаетъ; а что до военныхъ обстоятельствъ, такъ тоже не очень маракуетъ; все,

говорятъ, хитритъ, да мазурничаетъ: грабежемъ, слышь, больше беретъ. Вонъ стояли мы у прусаковъ, такъ офицеры разсказывали, что привелъ англичанинъ-то этотъ кораблей съ тысячу къ Копингавину-городу, да и палилъ по немъ. Хоть, говорили и не смѣлъ бы онъ этого дѣлать. Палилъ, да палилъ, а таки настоялъ на своемъ: одолѣлъ городъ и пошолъ грабежомъ донимать. Французскій набольшій, Наполеономъ звали, больно имъ не понутру, разсказывали, приходился, они его и на островъ Олены законопатили; тамъ онъ и померъ, Наполеонъ-онъ этотъ самый.

— Этотъ, что Москву зорилъ? — опять спрашивалъ любопытный Григорій Матвѣичъ.

— Храбрый былъ король. Сказываютъ, офицеромъ былъ и противъ турка ходилъ, а какъ побилъ не то нѣмцовъ, не то австріяковъ, — такъ и сѣлъ на тронъ и полюбился французамъ.— „Мы, говорятъ, съ тобой и въ Москву пойдемъ, когда велишь.“ А тому что?.. извѣстное дѣло, коли сами навязываются, да и самого одолѣло высокоразуміе тамъ это самое. „Идемъ, говоритъ, ребята, куды не шло?“ И пошолъ подговаривать, да сомущать по дорогѣ нѣмцовъ; навалило ихъ къ Смоленску чуть, слышь, не милліонъ народу. Пугнули ихъ наши, да и пошли къ Бородину — селу богатому, по московской дорогѣ; вотъ тутъ-то мнѣ и попала другая пуля въ мякоть руки.

Пощипали мы ихъ подъ Бородинымъ. Дай, думаемъ, въ Москву пропустимъ: пусть посидятъ малую-толику, а тамъ и накроемъ. Да какъ припрыснемъ на нихъ, какъ начали щолкать въ спину, да подъ колѣнку: просто руки заболѣли! Тутъ морозъ ихъ подхватилъ; наши только покрякиваютъ, да въ рукавицы бьютъ, а ихъ-таки доняли славно.—„Руби, говорятъ намъ, гостя незваннаго; тутъ же вотъ, слышь,—на старой дорогѣ.“ Какъ ни какъ, а исполнили командирскій приказъ: начесали имъ бока за Березиной-рѣкой. И пришли сами-таки къ нимъ въ гости: — въ самую столицу ихъ Парижъ.

— Вотъ они, враги-то наши и супостаты! и чего хотятъ? можетъ
ять по старому; вишь ихъ турка-то бусурманъ больно обиженъ,
о православныхъ въ котлахъ варитъ, мечемъ сѣчотъ. Прощайте-
, братцы, совсѣмъ вы меня растрогали, кабы не деревяшка
тъ эта, да не старость беззубая!.. Пришли-ко наверхъ, Григорій
атвѣичъ, полфунтика медку побаловаться.

Между тѣмъ прошло уже столько времени, что въ лавочкѣ
вно знали и о подвигѣ Нахимова и о томъ, что флотъ англійскій
дступалъ къ Ревелю, и пошолъ прямо оттуда къ Кронштадту.

— Ужъ не Питеръ ли нашъ брать хотятъ? спрашивали
овоохотнаго кавалера.

— Нѣтъ, пусть-ко сначала Кронштату попробуютъ. Тутъ,
зсказываютъ, что не вершокъ, то пушка, а по водѣ кругомъ,
о ни шагъ, то и разорветъ тебя и съ кораблемъ, и съ паро-
дами ихными въ крошечныя щепки. Пусть погуляютъ, да по-
буются: какая громада стоитъ тамъ и никакихъ страховъ не
ится, если сама, того гляди, не задастъ имъ еще больше.

— А въ Питеръ придти — мы не позволимъ! — поддержалъ
рика всегда внимательный къ его разсказамъ лавочникъ. Ска-
вали: охотниковъ на лодки набираютъ; нашихъ трое молодцовъ
одежду ужъ получили; армякъ синій, крестъ на шапку; по
сьми рублей въ мѣсяцъ, на всемъ готовомъ. Нарядились, слышь,
и и прошлись по Сѣнной: — „какой, спрашиваютъ всѣ ребята
берніи?“ —Ярославцы, молъ, говорятъ. „Государственные или го-
дскіе?“ —Государственные, говорятъ. Молодцами, разсказывали
бята, всѣ называли. Офицеръ, вишь, ихъ поймалъ, тоже объ
мъ спросилъ, и тоже, слышь, молодцами назвалъ. Вотъ оно
перя, и попробуй, какъ сядетъ тысячъ сто, да ударятъ по нимъ.

— Да вѣдь они не будутъ воевать; ихъ, сказывали, въ
дки посадятъ, чтобъ команду возить, тутъ и пушки подъ
кою — поправилъ лавочника любитель миногъ и семги.

— А топоры-то на что? поправился Григорій Матвѣичъ и чуть не сбилъ съ толку своего постояннаго покупателя, который поправился, весьма впрочемъ, неудовлетворительно, сказавъ „что топоры-де такъ; дойдетъ до сраженія и имъ ходъ дадутъ, а не то будутъ лодки починять, если произойдетъ какое поврежденіе.“

— Да что они тамъ въ Крыму-то, Иванъ Сысоичъ, гомозятся? что они нейдутъ на чистое-то поле?—опять допытывалъ лавочникъ.

— Это, я тебѣ скажу, одна ихная трусость, по моему глупому разумѣнью. Пойти имъ на чистое поле — это, значитъ, одна будетъ глупость; какъ ни стали мы сходиться съ супостатами — всегда наша брала; я и оказій такихъ ни разу не помню, чтобъ когда нашъ братъ солдатъ срамоты на себя бралъ. Перебьютъ кой-кого, а свое мѣсто отстоимъ, и ступай лучше прочь—не ссорься!

— Такъ, батюшка, такъ, Иванъ Сысоичъ. Вонъ и здѣшнихъ солдатъ, кого не спросишь: не сойду, говоритъ, съ мѣста — коли велятъ это дѣлать.

— Солдатъ чести не кинетъ, хоть головушка сгинетъ, ходитъ по свѣту солдатская поговорка, да поди и вы слыхали не одинъ разъ, что у честнаго солдата очи сокольи, а плечи,—что твои крылья орлиныя, закончилъ на этотъ разъ свою бесѣду старичокъ, любимецъ всей честной компаніи Григорья Матвѣевича.

Иванъ Сысоичъ былъ какъ-то разъ имянинникъ, и поутру, лишь только приплелся онъ отъ ранней обѣдни, явился Григорій Матвѣичъ въ чистенькой сибиркѣ. Волоса его лоснились отъ избытка непокупнаго деревяннаго масла; гладенькая, мягкая бородка раздѣлялась на двѣ пряди, вившіяся красивыми колечками. Лавочникъ пришолъ сюда съ признательнымъ и искреннимъ поздравленіемъ: съ баночкой килекъ и пирогомъ съ брусникой. Когда ушолъ онъ на свое приличное мѣсто, получивъ приглашеніе на

е время, если не къ обѣду, такъ по крайней мѣрѣ на
, — старый кавалеръ узналъ отъ хозяйки, что Григорій
ячъ три селедки далъ ей, луку наклалъ, уксусу даромъ
, и два фунта семги обѣщалъ прислать со своимъ прислуж-
-мальчикомъ.

едрость всегда расчотливаго прикащика, разумѣется, была
пріятна имянинику, но прачкѣ показалась до того уди-
ною, что она не замедлила передать это въ сосѣднюю
откуда, по назначенію, перешла новость сквозъ всѣ двери
тересовала всѣхъ обитателей угловъ и кухонъ. Узнавши
омъ, чтецъ газетныхъ новостей, желая воспользоваться удоб-
случаемъ еще съ большею пріятностью послушать бесѣдъ
да — также не замедлилъ явиться съ поздравленіемъ.

желая останавливать комерческихъ дѣлъ своихъ, всегда
кости аккуратный ярославецъ, поручилъ всѣ дѣла по ла-
своему же земляку — хлѣбопеку. Въ шестомъ часу онъ
же сибирнѣ и съ тѣмъ же лоскомъ волосъ и сапоговъ
въ комнаткѣ инвалида, когда въ ней собрались уже гости:
ь-калѣка, запѣвшій пѣсню на новосельѣ и не кончившій
чаю кашля хозяина; два его сына: франтъ-писарь, пере-
й въ рюмочку, и солдатъ, плотный и высокій съ баченбар-
большими усами.

олодые люди курили табакъ: одинъ въ папироскѣ, другой
арѣ полуторакопѣечнаго достоинства. Оба они, по требованію
, пускали дымъ въ форточку въ то время, когда явился
ій Матвѣевичъ съ фунтикомъ карамелекъ. Хозяйка въ сѣняхъ
ала самоваръ старымъ сапогомъ инвалида: пріятели-калѣки
рядомъ на диванѣ. Одинъ кашлялъ, другой кричалъ сы-
ь бросить до времени курево.

зяинъ просилъ, до чаю, пройтись по водочкѣ, а чтобы
ь общій разговоръ, заговорилъ о погодѣ.

— Да что намъ съ тобою значитъ холодъ, скажи ты на милость? Вѣдь молодой народъ, чего добраго, пристыдитъ, пожалуй. Вонъ-де старые дураки на холодъ жалуются, когда одинъ кардонки клеитъ, а другой сапоги точаетъ, да въ теплой передней сидитъ. Словно намъ и въ диво такіе морозы?

— Оно знаете, почтеннѣйшій кавалеръ, морозъ рассейскому человѣку — плевое дѣло значитъ. Но вѣдь здѣсь, выходитъ, погода совсѣмъ, необстоятельная: по пяти разъ на одномъ дню мѣняется. Это, выходитъ, старому, да непривычному человѣку... какъ бы это вамъ сказать... совсѣмъ, значитъ, отягощеніе, — вступилъ въ разговоръ Григорій Матвѣичъ, имѣвшій странную претензію, какъ и вообще всѣ заѣзжіе въ Питеръ торговцы, подпустить кудреватое слово, навыворотъ, тамъ, гдѣ обошлось бы спроста и легче. Разного рода посѣтители, пріятели-земляки — служители по трактирамъ, петербургская занозливость, личное убѣжденіе въ своихъ столичныхъ замашкахъ и другіе кое-какіе недостатки дѣлаютъ изъ питерщика такого красноглаголиваго піиту, что ему, иной разъ, позавидовалъ бы любой провинціальный краснобай, хватившій черезъ мѣру книжной премудрости. Простой мужичокъ, не лазящій въ карманъ за словомъ и округляющій фразу легко и удачно, до такой степени не умѣетъ высказаться, побывавши въ Питерѣ, что только слова: „значитъ, выходитъ, примѣромъ будучи“, замѣняютъ настоящій смыслъ, но съ прибавленіемъ различныхъ „оныхъ, примѣрно сказать“, рѣчь питерщика дѣлается до того темною, что если она не настоящая чушь и дичь, то, по крайней мѣрѣ, порядочная безалаберщина.

Однако замѣчаніе лавочника осталось безъ привѣта. Молодой кавалеръ-гвардеецъ, не зная съ кѣмъ имѣетъ дѣло, нашолъ нужнымъ промолчать, а братъ его-писарь рѣшительно не обращалъ вниманія на незнакомаго гостя, можетъ-быть, совсѣмъ не подозрѣвая,

что почти вся закуска шла отъ него и хваленыя кильки принесъ Григорій Матвѣевичъ.

Напившись чаю, оба кавалера совсѣмъ нечаянно приступили къ воспоминаніямъ о добромъ старомъ времени. Оба они были земляками, оба служили въ одномъ полку, и слѣдовательно не разлучались во всѣхъ военныхъ походахъ, съ тѣмъ только различіемъ, что отецъ двухъ гостей-молодцовъ нѣсколько дольше былъ въ строю, потому-что роковое ядро пошутило съ нимъ уже въ Польшѣ, передъ Прагою.

— Вотъ вы намедни разсказывали, Иванъ Сысоичъ, объ ранахъ вашихъ и объ остальномъ прочемъ. Какъ же вы послѣдовательную-то службу производили? — закинулъ неугомонный, вѣчно любопытный, Григорій Матвѣевичъ.

— Былое время, старое время! прошло — не воротишь, а и разсказать — такъ на двѣ недѣли хватитъ, проговорилъ чуть слышно имянинникъ.

— Да полно же ломаться-то!.. разскажи имъ молодымъ: пусть поучатся, какъ отцы ихъ работали. Вотъ и мои бы ребята послушали — да и меня-самого какъ-то ты всегда куражишь. Зазорнаго мы съ тобой ничего не дѣлали! подстрекнулъ разговорчиваго Ивана Сысоича его другъ и землякъ. Слушайте-ко, слушайте, молодое племя: дайте вотъ ему духъ перевести, да прокашляться. Онъ вѣдь у меня ножки промочилъ, въ лазаретъ, хочу вести: пусть понѣжится!

— Да полно, доведешь ли до лазарету-то?.. Тебя еще вести самаго нужно, подтрунивалъ надъ шуткою гостя Иванъ Сысоевичъ.

— Вотъ, братъ, смотри-ка молодцы какіе! отвѣчалъ тотъ, указывая на сыновей, которые опять приладились въ форточку. Меня-то, братъ, есть кому дотащить, да и тебя еще, пожалуй, прихватимъ. Такъ ли, ребята, отецъ говоритъ?

— Ужъ если, чего Боже сохрани, на то пойдетъ, такъ и мы Ивану Сысоичу подсобимъ — подвернулъ Григорій Матвѣичъ. Ихъ старости и дряхлости мы навсегда помощники: такъ и законъ повелѣваетъ.

— Чтой-то вы, братцы, никакъ меня заживо похоронить хотите! А все это ты, старой хрѣнъ, затѣялъ; да я, братъ, безъ тебя не тронусь съ этого мѣста; мы никакъ и его-то увидѣли чуть не въ одинъ день.

Подобнаго рода шутки не переставали вылетать отъ добрыхъ стариковъ, даже и тогда, какъ начался между ними обыкновенный ихъ споръ о годахъ, вѣчно оканчивавшійся однимъ заключеніемъ : что если съ турецкой компаніи считать, такъ выйдетъ шестьдесятъ, а съ двадесяти языкъ, такъ и всѣ восемдесятъ.

— Да вотъ диры-то эти на плечахъ, да на груди (заканчили пріятели)—ноги поломанныя, далеко угнали впередъ нашу старость. Поразберите-ко, братцы, хоть по пяточьку годовъ на свои плечи, такъ мы бы васъ просто-на-просто за поясъ заткнули, а на турку полѣзть и не задумались бы.

Воспользовавшись благопріятной минутой, Григорій Матвѣевичъ опять закинулъ вопросъ о томъ, какъ провелъ время Иванъ Сысоичъ послѣ чистой отставки и какъ перемогался до настоящей поры. Какъ ни какъ пришлось старику, что называется, распоясаться.

— Если начать послѣ Парижа, такъ просто-на-просто получилъ я отъ полка отставку и пошолъ къ своимъ навѣдаться; пошолъ, стало быть, въ свою деревню, въ Костромскую губернію. Шолъ-то я туда долгое время, все больше пѣшкомъ по привычкѣ; а гдѣ навернется случай, затекутъ ноги — на телѣгу прилягу, если попадется добрый человѣкъ. Привезли меня на родину, стали мнѣ видны знаковыя деревни, гдѣ, когда мо-

лодымъ былъ, на посѣдкахъ сиживалъ, по праздникамъ пивалъ пиво, да брагу крѣпкую. Вотъ ужъ и скворечники вижу: одинъ, словно бы, на нашей избѣ, вонъ и баня наша пополамъ съ кузнецомъ — все какъ есть свое, деревенское. Сердце у меня ходуномъ ходитъ. Думаю: живы ли то свои, а давно они мнѣ не отписывали, хоть и посылалъ я имъ о своемъ здоровьѣ вѣсточку. Сталъ я въ окно стучать; въ ворота ударилъ; слышу, жучка залаялъ какъ-то глухо; старъ. думаю, старъ; на дворѣ, слышу, отецъ жучку унимаетъ, и меня окликнулъ: „кто, говоритъ, тамъ?“ — Я, говорю, батюшка! сынъ твой, говорю, нечистую пришолъ, — примите, коли въ тяготу не буду.—Крикнулъ старикъ и дверью хлопнулъ. — „Просыпайся, говоритъ, Матрена!.. вставайте, бабы!.. — косатикъ-то нашъ живъ; на побывку, кричитъ, пришолъ, красавецъ-то нашъ, кавалеръ государственной пришолъ на побывку. Охъ! — пришолъ!... Отворяйте поскорѣй калитку, а я и съ приступковъ не сойду; эти радости-то наши совсѣмъ, говоритъ, не въ терпежъ на старости лѣтъ!“

Отворила старшая невѣстка калитку; бросилась на шею и начала ревѣть; тутъ матушка ухватилась; ребятишки-племянники глаза протираютъ. Стыдно, думаю, солдату ревѣть. а вотъ. поди ты, одолѣй, отвертись отъ слезъ, когда вотъ какіе-то тебѣ соблазны подвернутся. Батюшко стоитъ на повитѣ, словно оробѣлъ, и слезы кулакомъ подхватываетъ; да какъ кинется на меня, откуда у старика сила взялась? давитъ меня, больно давитъ. Матушка за руку въ избу тащитъ, ребятишки за ноги ухватились... гостинцовъ просятъ. „Эхъ, думаю, соблазнили вы меня, родные.“ Заплакалъ, братцы, и я, какъ ни моргалъ глазами; старое бы дѣло, а не грѣхъ вспомянуть!

Старикъ-раскащикъ обвелъ глазами слушателей, и видитъ, что онъ былъ правъ, и иначе сдѣлать совсѣмъ было нельзя. Лавочникъ глубоко и тяжело вздохнулъ: солдатъ-гвардеецъ

быстро покрутилъ усы и погладилъ бакенбарды; даже писарекъ повернулся на стулѣ, и, ни съ того,—ни съ сего обдернулъ свой сюртучокъ франтовской. Старый же другъ и сослуживецъ Ивана Сисоича, не удержавшись отъ наплыва пріятныхъ воспоминаній, махнулъ рукой.

— Который ты разъ мнѣ все одно расказываешь, а ужъ лучше бы и не снимался: только тоска одна отъ того, что и со мной тоже было! Говори-ко скорѣе, что вышло дальше!

— Пришли въ избу: отдохнули немного. Вынулъ я съ дуру шинель свою парадную и надѣлъ на себя: какъ вскинутся опять на меня, какъ начали опять ревѣть, да кричать; — насилу унялись къ разсвѣту. Слышу я, какъ опомнились: жена моя померла въ осеняхъ, недѣли за три до моего приходу. Господь говорю, съ ней, — совсѣмъ хворая она была; только маялась, да какъ свѣчка таяла, — а домовина всѣ болѣзни стишитъ. Крѣпко только жаль, что меня не дождалась, — при мнѣ-то, думаю, все бы лучше померѣть ей. „Все-то тебя нашего косатика, поминала, велѣла поклонъ отдать и родительское свое благословеніе,—говорила-мать“. — „Мы ее, говорили невѣстки, рядомъ съ Петрунюшкой твоимъ положили, туда, знаешь, къ овинникамъ-то ближе“. Слышу я опять: зять одинъ померъ года ужъ три, говорили; одна невѣстка убралась, два парнишка малолѣтки — племянники мои, старшаго брата дѣтки. На все, думаю, власть Господня! Вотъ и живу я на родинѣ, господа, чуть не десять лѣтъ; а чтобъ не отяготить стариковъ, не быть въ семьѣ лишнымъ, — сталъ я думать, какъ бы пользу имъ какую сдѣлать. Староста церковный сталъ мѣсто предлагать въ сторожа, — мѣсто теплое, покойное, обойти разъ ночью кругомъ церкви, ударить въ колоколъ — и все тутъ.— „Нѣтъ, говорю, Михѣй Спиридонычъ, поищи кого другаго, калѣки, присмотри; калека-солдатъ любитъ спокойствіе, да теплую

печку, его нужно холить; онъ за тебя и за твоихъ родныхъ, за всю родину кровь проливалъ, жизнь свою на-конъ ставилъ, а мы еще кое-что и тяжолое справимъ; только лѣвое плечо щемитъ временемъ, а правымъ какой хочешь хомутъ натяну". Похвастался я ему, а таки не послушался, —настоялъ на своемъ. досталъ себѣ работу не ломовую, ранъ не вередила она, а другому кому съ неохотки показала бы эта работа небо съ овчинку: пошолъ я кашеваромъ на бурлацкія лодки. Вѣдь мы вотъ съ землякомъ-то съ Волги, господа; всего три версты отъ рѣки и бурлаковъ изъ нашей деревни много ходитъ. Походилъ я лѣто и приберегъ для дому пятьдесятъ рублей на ассигнаціи-заплатили недоимку на эти деньги, корову промѣняли; сѣна на зиму не хватило, — такъ и сѣна прикупили. Пришла вотъ и зима, да не застала въ холодной одежѣ; полежалъ я немного: дома на печкѣ, отогрѣлся. Прощайте, говорю своимъ, пойду въ Кострому, понавѣдаюсь: нѣтъ ли мѣстечка какого. Иду вотъ я, примѣрно, по площади, гдѣ теперь Ивану Сусанину памятникъ поставили; слышу, окликаетъ меня офицеръ какой-то; и санямъ велѣлъ пріостановиться.

— Здорово, говоритъ, Сысоевъ!

— Здравія желаемъ, говорю, ваше высокородіе! Гляжу: господинъ маіоромъ въ нашемъ полку служилъ; вмѣстѣ съ французомъ дрались.

— Какъ ты сюда, говоритъ, попалъ?

— Въ свою деревню, говорю, пришолъ; въ чистую уволили.

— А я вотъ, говоритъ, полицмейстеромъ здѣсь служу! Зайди-ко, говоритъ, ко мнѣ завтра утромъ.

— Слушаю, говорю, ваше высокородіе!

Пришолъ я, по его командирскому проказу; вижу, полковникомъ ужъ мой старый майоръ.

— Мѣста что ли, говоритъ, ищешь, хочешь ко мнѣ въ сторожа поступить?

— Благодаримъ покорно за вашу милость, ваше высокородіе! Вотъ если, говорю, благодѣяніе оказать хотите, въ брантмейстеры бы имѣлъ желаніе поступить и ундерскимъ чиномъ дошолъ, говорю.

— Все же, думаю, больше принесу пользы, чѣмъ сидя въ передней — канверты принимать, расчищать песокъ, да чернила наливать. А тутъ пожаръ случится — жизнь буду спасать, имущества разныя. Полюбились мои слова полковнику, сдѣлалъ онъ меня брантмейстеромъ, пожарнымъ начальникомъ: сослужилъ ему службу на два года, да раны разболѣлись, и видитъ полковникъ, что ужъ совсѣмъ я не такой ретивый сталъ, какъ былъ на первыхъ порахъ.

— Ступай-ко, говоритъ полковникъ, въ имѣніе мое, въ Малороссію; двѣсти душъ тебѣ на руки даю; знаю: не обманешь меня.

— Благодаримъ, говорю, покорно, ваше высокородіе!.. Опять, думаю, не рука. Вонъ, говорю, Ивана Кулакова намедни встрѣтилъ; совсѣмъ грибомъ сталъ; а солдатъ былъ куды ретивой: пять ранъ за удальство свое получилъ. А что не глупый солдатъ, такъ фельдфебелемъ служилъ въ полку, сами, говорю, знаете, ваше высокородіе.

— Отпустилъ онъ меня въ деревню, и опять я тамъ поправилъ стариковъ, да и потянулся въ Архангельскъ, звѣрей бить. Страстишка давнишняя была у меня эта охота, да все какъ-то ружьемъ не удавалось запастись; а тутъ помогли добрые люди. Дальше, братцы, не стану надоѣдать вамъ, — былъ я и въ Малороссіи и по всей Польшѣ прошолъ, пока не поднялся турка и не поступилъ я опять въ строй; тутъ подъ Браиловымъ мнѣ ногу оторвало. Оттуда кое-какъ притащили на родину и

жилъ я тамъ чуть не двадцать лѣтъ: то въ сторожахъ при гимназіи, да по присутственнымъ мѣстамъ, то въ деревнѣ бураки гнулъ, дѣтскія игрушки мастерилъ: коньковъ тамъ разныхъ, побрякушекъ; на то у меня и краски водились, и всѣ матеріалы какіе слѣдуютъ. Старики мои перемерли; думаю, что мнѣ тутъ засиживаться; семьѣ не полезенъ, какъ бы хотѣлось мнѣ; пойду, думаю, въ Петербургъ; городъ-то знакомый, къ тому же, какъ ни какъ доживу остатокъ; можетъ, думаю, старыхъ товарищей встрѣчу. Да вотъ одинъ этотъ, старый хрѣпъ, и попался: все померло. И намъ-то, братъ, пора съ тобой, землякъ ты мой беззубый, калѣка негодящій: хорошо, что еще молодцовъ-то за себя поставилъ, а то бы дожжевика этакого и цаловать не сталъ — закончилъ свою рѣчь инвалидъ, горячо и долго обнимавши своего друга.

Бесѣда тянулась ужо недолго, но при радушномъ и посильномъ угощеніи добряка-имянинника. Опять оба инвалида коекакъ сползли съ лѣстницы; опять распрощались за воротами, и снова долго ползъ Иванъ Сысоичъ въ свою квартирку и опять, сказывала прачка, цѣлую ночь кашлялъ.

Какъ-то спалось въ эту ночь остальнымъ гостямъ Ивана Сысоича, послѣ его поучительныхъ разсказовъ, но что касается до любопытнаго прикащика-лавочника, то какой-то жаръ напалъ на него и долго мучилъ, пока наконецъ привычка не взяла верхъ надъ истомой: маленькая конкурка Григорья Матвѣевича вскорѣ огласилась легонькимъ храпомъ.

Снятся Григорью Матвѣевичу безтолковые сны: вотъ онъ еще парнишко маленькій, живетъ у отца и матери; да пришолъ дядя-питерщикъ и увезъ его въ столицу. Жутко на первыхъ порахъ деревенскому мальчику переносить столичные обычаи; дядя поса-

дилъ его въ лавку, отдавъ на руки своему земляку-прикащику. Отъ этого пошли всѣ приказы и подъ часъ изрядные побои, когда Гришка задумается, стоя подлѣ кадушки огурцовъ и припоминая чехарду деревенскую, крынку съ молокомъ, гдѣ до половины густыя сливки стоятъ, хоть ложку воткни, а тутъ у дяди и привезутъ-то разбавленное, да и ему еще велитъ подбавить водицы, толкнуть ложки четыре муки крупичатой. Тамъ, дома, въ свайку бы швырялъ, въ козанки щолкалъ, а тутъ тебѣ велятъ квасу нацѣдить, свѣчи отнести къ верхнему жильцу, да бутылки собрать изъ-подъ квасу или кислыхъ щей. Только и утѣха одна, когда удастся тишкомъ отъ прикащика выворотить изъ кадки большую деревяную ложку меду, карамельку стащить.—орѣховъ горсточку и общолкать ихъ подъ воротами, когда опять пошлетъ прикащикъ по жильцамъ. Объ этомъ не стоялъ Гришка, да только вѣдь бываютъ же такіе случаи, что какъ вотъ напоминается теперь прежнему Гришкѣ, теперь Григорью Матвѣевичу, во снѣ: послали его за масломъ съ бутылью большой, и все бы шло хорошо: масла нацѣдили, написали записочку; ухватился Гришка за свое добро, идетъ и зѣваетъ, по обычаю. Какъ теперь видитъ Григорій Матвѣевичъ, поравнялся онъ со Щукинымъ дворомъ, въ проѣздныя ворота попалъ и занялся своимъ дѣломъ: сталъ смотрѣть, какъ перегнулся прикащикъ и зазывалъ барынь въ лавку; разомъ обступили ихъ другіе ребята, и закричали барынямъ на тысячу голосовъ, и все одно и тоже. Опомнился Гришка, какъ бутыль съ пудомъ масла лежала въ ногахъ у него, а собака далеко бѣжала, страшно выла и облизывалась. Обступилъ Гришку, до икоты рыдавшаго, весь апраксинскій народъ, и помнитъ онъ: цѣнили купцы бутылку, жалѣли масло, и стращали, что парнишкѣ хозяинъ вихры надеретъ, березовой кашей поподчуетъ.

Опять новый сонъ: Гришку хозяинъ домой отпустилъ, а какъ вернется оттуда, такъ обѣщалъ въ прикащики посадить у себя

подъ рукой.—Рады были Гришкѣ всѣ домашніе, не знали куда посадить и ровно бы все такъ было, какъ расказывалъ и старикъ-кавалеръ. Но вотъ Гришка опять въ Петербургѣ; взялъ его дядя въ свою лавочку и выручку довѣрилъ, на половину положившись на его аккуратность и честность. Не ударилъ въ грязь лицомъ Григорій Матвѣичъ: чисто велъ дѣла и тонко обходился съ покупателями; дядя спасибо сказалъ и послалъ въ другую свою лавочку на полную отчотность, — чуть-чуть не въ хозяева.

Тутъ въ воображеніи Григорья Матвѣевича начало кружить и крутить совсѣмъ уже необстоятельное: и горничныя быстроглазыя, задѣвающія его за живое, и свои деревенскія породистыя красотки — кровь съ молокомъ. Тутъ вотъ женатъ Григорій Матвѣевичъ и жену выписалъ въ Питеръ; повелъ ее смотрѣть красивый городъ, а въ лавочкѣ оставилъ хлѣбопека. Идутъ два молодца— голубочка по Апраксину и хвалятъ прикащики лавочникову молодуху, и подчуютъ ее разными товарами заграничными.—„Вотъ, говоритъ Григорій Матвѣевичъ, тіятеръ стоитъ!“ и хочется ему объяснить, что такое театръ, но не можетъ. Все бы шло хорошо; въ театръ молодые собрались, да пришолъ инвалидъ израненый и такой сердитый; на себя не похожъ, по волосамъ и по голосу ровно бы Иванъ Сысоевичъ, да браниться началъ:—„ты зачѣмъ, говоритъ, безъ моего спросу женился? тутъ, говоритъ, англичанинъ насъ обижать хочетъ, французики разные, а онъ бабьимъ дѣломъ забавляется. Стыдно, говоритъ, тебѣ хорошему человѣку торговлей мелочной, да бабами заниматься; ступай, говоритъ, за отечество, за вѣру православную кровь проливать, по царскому слову—Божьему слову. Вотъ и я, говоритъ Иванъ Сысоичъ, — израненный человѣкъ, калѣка немощная и я на вторую службу иду,—вотъ и мундиръ купилъ, и ружье купилъ; твоимъ командиромъ, говоритъ, хочу быть. Одурѣлъ со страха Григорій Мат-

вѣевичъ: да я, говоритъ, кавалеръ почтенный, тутъ ни въ чемъ не повиненъ, вчера еще хотѣлъ тебя спросить касательно дѣла этого самаго, да не хотѣлось, говоритъ, при стороннихъ признаться. Ты не сердись на меня, Иванъ Сысоичъ, до времени! Я вотъ завтра къ тебѣ понавѣдаюсь, приду...

Мгновенно изчезли и жена-молодуха, и кавалеръ знакомый: Григорій Матвѣевичъ лежитъ лицомъ къ стѣнѣ, и темно еще въ его комнатѣ. Перевернулся онъ на другой бокъ, приподнялся на руки и заглянулъ въ окно: на дворѣ было еще также темно, какъ и въ самой комнатѣ, а хозяйскіе часы въ лавочкѣ, по которымъ чуть не цѣлый домъ распредѣлялъ свое время, зашипѣли, защолкали и, словно старый инвалидъ, отхаркнулись четыре раза, къ немалому удовольствію Григорья Матвѣевича.

И опять захрапѣлъ прикащикъ дяди-благодѣтеля, и опять въ молодой его головѣ зародились сны неотвязчивые. Вотъ онъ молодецъ-молодцомъ стоитъ въ строю и побиваетъ маклака-англичанина, что машины гораздъ дѣлать; хвалятъ его командиры въ одинъ голосъ; самый старшій въ управляющіе къ себѣ зоветъ. Григорій Матвѣевичъ отказывается и продолжаетъ побивать пикой турку большеголоваго и французика сухопараго, что по садамъ въ новыхъ перчаткахъ ходитъ, вино пьетъ и по трактирамъ газеты читаетъ. Вотъ храбрецъ нашъ въ деревню пробирается: запахло ему вѣникомъ паренымъ; у бурмистра избу затопили; мать, отецъ выходятъ; кавалерію видятъ и плачутъ, горько плачутъ. Старикъ Иванъ Сысоичъ о походахъ толкуетъ, и все его, Григорья Матвѣевича, хвалитъ: какъ онъ тамъ пикой кололъ, изъ ружья стрѣлялъ; наскочилъ-было турка, онъ и его подъ лошадь подмялъ. И правду говорилъ кавалеръ: турка завсегда при себѣ весь капиталъ свой имѣетъ... все червонцы, да цѣлковые новенькіе; одинъ только трехрублевый попался, да бумажка сторублевая....

— Не пора ли, дяденька, лавку отпирать? шесть часовъ пробило,—въ пятый разъ проговорилъ надъ самымъ ухомъ Григорья Матвѣевича тоненькій, робкій голосокъ посыльнаго мальчика Мишутки.

— Что тебѣ надо? спросилъ очнувшійся прикащикъ.

— Кто-то въ дверь стучалъ, дяденька,—квасу требовали. Шесть часовъ сейчасъ пробило.

— Отпирай поскорѣй! да сходи на верхъ къ тому кавалеру, что у прачки живетъ: не всталъ ли, молъ, онъ, не помѣшаетъ ли-де ему, если хозяинъ зайдетъ.

— Всталъ ужъ, дяденька,—говорилъ возвратившійся мальчикъ, всю, слышь, ночь прокашлялъ. Вышелъ самъ ко мнѣ. „зови, говоритъ, коли нужно что“.

Григорій Матвѣевичъ, по общему замѣчанію всѣхъ покупателей, въ это утро, словно не выспался: блѣдный такой стоялъ за прилавкомъ; ничего никому не сказалъ; отпустилъ вмѣсто муки соли крупной; вмѣсто одного фунта ситника, отвѣсилъ два, да еще и съ походцомъ; семгу съ кадушки, ни съ того, ни съ сего, на стойку поставилъ; повертѣлся немного въ лавкѣ, и долго потомъ сидѣлъ въ своей комнатѣ. Вышелъ оттуда разчесаный, въ праздничной сибиркѣ. Всѣ думали, что прикащикъ въ гости собрался, и дѣйствительно не ошиблись, потому-что немедленно за нимъ явилась за стойкой таже рыжая борода хлѣбопека, Мартына, который стоялъ въ лавкѣ и вчера цѣлый вечеръ. Разсказывали потомъ, что Григорій Матвѣевичъ заходилъ къ кавалеру, а что тамъ было и какіе разговоры велись, такъ прачка въ точности и въ большой подробности передать не умѣла; пересказала только такъ, какъ далось ея разумѣнію, съ неизбѣжными собственными прибавленіями.

Изо всѣхъ расказовъ хозяйки Ивана Сысоича любопытные узнали только одно, что Григорій, вошедши въ дверь, совсѣмъ

на себя не былъ похожъ; робѣлъ, что-ли, Богъ его знаетъ, о порогъ запнулся, вмѣсто Сысоевой комнаты чуть въ хозяйскую не прошолъ, если бъ прачка не поправила и не указала, куда нужно было идти ему.

Григорій Матвѣевичъ отворилъ дверь робко и опасливо; поклонился старику въ поясъ и оговорился: — „что, можетъ, помѣшалъ, такъ уйду сейчасъ!“

— Нѣтъ, говорилъ кавалеръ, милости просимъ: радъ дорогому гостю. Не хочешь ли чайку?

— Благодаримъ покорно! отвѣчалъ Григорій Матвѣевичъ, и сѣлъ на диванъ.

Тутъ они начали чай пить и разговаривать, разговаривали долго; Григорій поклонился опять, но кавалеръ цаловаться заставилъ и по плечу трепалъ Григорья-то. Вышелъ старикъ проводить прикащика въ дверь и опять поцаловалъ.

Такъ по крайней мѣрѣ разсказывала прачка, добавивъ въ заключеніе: „что еслибъ не кашлялъ старикъ, все бы выслушала. Да и Григорій-то очень тихо говорилъ, какъ ни прикладывала уха, ничего не поймала. А тотъ, какъ на зло, ни разу не позвалъ къ себѣ, хоть бы чашку чаю выпить. А что въ самое темя поцаловалъ, такъ своими глазами видѣла.

Досадовала прачка на свою глупость и неопытность; сердились на нее и всѣ сосѣдки.

— Я бы, думала одна, немножко бы, только немножко услыхала; не задумалась бы и все бы поняла сразу.

— Я бы такъ просто вошла туда; развѣ нельзя найти къ жильцу дѣла какого? Вѣдь не запретитъ же онъ хозяйкѣ входить въ свою комнату.

Какъ ни какъ, а любопытнымъ представлялась съ каждымъ днемъ новая пытка, какъ только ни появлялась за прилавкомъ рыжая борода хлѣбопека. Рѣдкое прежде обстоятельство, оно съ

нѣкотораго времени сдѣлалось ежедневнымъ, смотря по желанію прикащика, и по тому, утромъ или вечеромъ заберется Григорій къ Сысоеву.

Но какъ слѣдствія посѣщеній этихъ сдѣлались гласными, то и сущность ихъ не должна быть секретомъ. Къ полной досадѣ опытныхъ вѣстовщицъ, не умѣвшихъ справиться съ весьма простымъ дѣломъ, разскажемъ нашимъ читателямъ о тѣхъ бесѣдахъ, которыя имѣютъ наибольшее значеніе и привели дѣло къ благополучному исходу.

Въ первое посѣщеніе инвалида, Григорій Матвѣевичъ опять началъ съ похвалы заслугамъ старика, напустивъ туда кудреватыхъ, но топорныхъ выраженій, какъ будто цѣлую недѣлю придумывалъ, да еще съ десяткомъ такихъ же краснобаевъ совѣтовался.

— Вотъ тепереча будемъ дѣло вести такимъ порядкомъ. Извините, значитъ, храбрый кавалеръ, что мы вашей милости совсѣмъ по нечаянности безпокойства причиняемъ, и по своей волѣ, стало быть, пришли къ вамъ. Начнемъ хотя бы и съ того, что тепереча, выходитъ, вы много на свѣтѣ Божьемъ пожили; видимъ, значитъ, что и кавалеріей изукрашены: живаго мѣста на груди не осталось; все, примѣрно, кресты, да медали. Къ тому же все одно и раны, сказывали, въ преизбыткѣ. Истинно, скажу вамъ, храбрая вы душа кавалерская, Иванъ Сысоевичъ!

При этомъ лавочникъ вскинулъ даже глаза нѣсколько кверху, вѣроятно, съ цѣлью придать своей красноглаголивости прилично торжественное выраженіе, а на красивомъ лицѣ выразить и довольство своимъ умѣньемъ высказаться по питерски, и глубочайшее довѣріе и уваженіе къ заслугамъ и дѣламъ храбрости достойнаго чести кавалера.

— Что ты мнѣ похвалы-то непрошеныя разсыпаешь? замѣтилъ кавалеръ. Что и отъ меня шло, такъ по одной обязанности

слѣдовало. Если бы другой кто не сдѣлалъ на моемъ мѣстѣ, такъ и человѣкомъ-то русскимъ назвать было стыдно. Тутъ нечего хорониться, когда супостатъ тебя хочетъ обидѣть, да стоишь ты съ нимъ глазъ на глазъ. Вали его подъ ноги, если упрямится, да станетъ изъ ружья цѣлить: на то, стало быть, обрекъ себя, а побѣжишь назадъ, свой же братъ, какъ труса поганаго, приколетъ. Тутъ вѣдь на то, если хочешь, идетъ дѣло: всякій солдатъ, передъ врагомъ стоя, за Россію-матушку идетъ, родину свою отъ врага грудью заслоняетъ. Ей слава, ему слава; а тебя убили, да его убили — обоимъ хорошо, потому, все что за твоей спиной вся Россія стоитъ: всѣ это тамъ деревни, города разные, тебѣ крѣпкое они спасибо скажутъ. Вотъ-де, молъ, за меня солдатъ этотъ шолъ; на свою грудь раны принималъ, за меня-де кровь свою лилъ, потому стало быть, и поминъ тебѣ по церквамъ сдѣлаютъ. А поранятъ сильно такъ опять-таки одно и тоже: будешь ты страдать и опять-таки, за Россію-матушку, за родину православную. Вотъ вѣдь ты и грамотный бы человѣкъ и книги, поди, почитываешь, а знаешь ли, что такое эта родина-то твоя? — и старикъ-раскащикъ вопросительно взглянулъ на собесѣдника.

— Какъ же не знать, честной кавалеръ? По нашему глупому разумѣнію, такъ это, выходитъ, Рассея вся, амперія наша родиной зовется.

— Ну, а Россія-то что?—Вотъ и видно, что вашъ братъ только за прилавкомъ и хитеръ, а свѣту-то видѣлъ, только-что въ одномъ деревянномъ окошкѣ. Россія это такая, стало быть, земля, что ни одинъ супостатъ не одолѣетъ. Начать съ Москвы-золотыхъ маковокъ, гдѣ калачи, да сайки такіе пекутъ, что ни въ одномъ заморскомъ царствѣ не сдѣлаютъ. Вотъ за ней тутъ и пойдутъ разные города наши: Ярославль городокъ Москвы уголокъ — твоя родина, рядышкомъ и моя Кострома,

веселая сторона. Тутъ Вятка, всему богатству матка, здѣсь народъ Черемиса живетъ, что чисто и погано пожираетъ; а тамъ и пошла писать Сибирь большая, гдѣ бабы бьютъ соболей коромыслами, а золота да серебра на стахъ возахъ во сто лѣтъ не перетаскаешь. Хохляндія бы теперь, по нашему Малороссія, гдѣ хохлы живутъ, — страна хлѣбосольная и галушекъ разныхъ много, вареники съ творогомъ подадутъ, водкой, по ихнему горилкой, хоть облейся, только не дразни его хохломъ, — смирной народъ, а казакомъ назвалъ, такъ всѣ двери настежъ, наливокъ такихъ поднесетъ, что и сладка бы она, а съ мѣста наврядъ ли встанешь, если не постарается добрый человѣкъ помочь. Тутъ у нихъ и Кіевъ, старый городъ, и Крымъ, благодатная сторонушка; заходи въ любой садъ, ѣшь, что хочешь и сколько душенька твоя приметъ, только не бери съ собой, на это и сторожъ тебя у воротъ осматриваетъ. Здѣсь-то вотъ и засѣли эти мазурики, супостаты-то наши, да еще на Кавкасъ пробрались. Тутъ словно воры давно засѣлъ народъ буйный, несклонный; грабитъ по ночамъ, да стрѣляетъ и всякую супротивность дѣлаетъ. Дальше Польша идетъ, Латыши народъ, Чухна сердитая, что одинъ сдѣлаетъ, то и другой повторитъ. Вотъ этотъ то народъ и подошолъ къ самому Питеру и продаетъ здѣсь рыбу, молоко, да масло свое. Тутъ опять пошла чухна вплоть до Соловковъ, гдѣ Архангельскъ городъ — всему морю воротъ. Не бывалъ, признаться, въ немъ, а Вологда славный городъ, церквей много и строеніемъ каменнымъ беретъ. Дальше опять идутъ либо твоя, либо моя родина. Да ты, землякъ, какого уѣзда?

— Даниловскаго, честный кавалеръ!

— Ну, такъ, братъ, съ романовцомъ барана въ зыбкѣ закачалъ, толокномъ Волгу прудилъ...

— Вѣдь и про вашихъ, Иванъ Сысоичъ, идутъ приговоры-то эти самые...

— Какъ же, братъ, есть и про нашихъ. Вотъ хоть бы теперь чухломскій рукосуй рукавицы ищетъ, а рукавицы за поясомъ. Ну, такъ, оставя шутки, ты вотъ сказалъ теперь, что изъ -Данилова-города; стало быть, Даниловъ тебѣ родиной будетъ. Вотъ теперь и читай какъ по писаному: и деревня твоя, гдѣ тебя отецъ и мать на свѣтъ произвели, и баня, гдѣ тебя родили, и село, гдѣ крестили; отецъ крестный, мать крестная, родные твои, невѣстки, золовки, братья, сестры—все это тебѣ родиной будетъ, по моему разумѣнію. Дѣвка-красавица писаная, что полюбитъ тебя пуще брата роднаго и дастъ она тебѣ дѣтей на утѣшеніе, на твою подмогу. дѣти эти самыя — опять-таки родина будетъ. Царская воля, царское слово, законы наши, что отъ незаслуженой обиды тебя защищаютъ, старики, что тебя иную пору уму-разуму учатъ; погостъ, гдѣ твои дѣды и прадѣды лежатъ; войска, что за твою жизнь и за твое хозяйство деревенское стоятъ; хлѣбъ даже самый, что мы трудомъ добываемъ,—все это опять тебѣ должно быть дорого, таже родина, которой ты всѣмъ обязанъ, потому—она сама обязала тебя по гробъ твоей жизни. И не за что, смотри, обязала: развѣ за то только, что мужикъ деревенскій тебя пустилъ на свѣтъ Божій, въ подданные Царя-Батюшки. Я такъ вотъ теперь по себѣ знаю, что такое отечество-то наше, родина-то эта, Россія-матушка. Шли мы, братецъ ты мой, изъ Парижа назадъ, домой; прошли Польшу, да разъ на стоянкѣ остановились. Размѣстили нашу команду по избамъ, пошолъ и я въ ту, которая назначена была. Вижу, совсѣмъ изба моя деревенская, и три окошка на улицу глядятъ, и труба деревянная, да и изба-то какъ у насъ дома: почернѣла вся и къ соломенному навѣсу немного нагнулась; крылечко тоже пошатнулось и два приступка вывалились и лежатъ

ь сторонкѣ, словно поправить ихъ некому. Такъ, думаю, такъ у насъ было; и ни съ того, ни съ сего вошла мнѣ на умъ ысль такая, что вотъ-де отворю дверь: отецъ съ матушкой на ею кинутся, обнимать станутъ. Вотъ и овца заблеяла, словно ы наши прыгуньи; пѣтухъ запѣлъ, курицы клохчутъ, а въ избу ошолъ: и образа православные на тяблѣ стоятъ, и свѣчка жоленькая приставлена къ тяблу. Старикъ и старуха кланяются амъ, просятъ милости не погнушаться: отвѣдать ихъ щицъ свѣихъ. Яичницу, говорятъ, сдѣлаемъ; молоко, коли хотите, приесемъ; хлѣбушко-то, говорятъ, сами рушайте; вотъ и ножъ!— оворятъ. Не утерпѣлъ я, Григорій, одолѣли меня слезы, словно ебенка малаго: кинулся на стариковъ, обнимать сталъ, словно тца, мать родную обнималъ. Тутъ ребятишки заревѣли. Эхъ, умаю, лучше бы гдѣ подъ заборомъ соснулъ, а то тутъ такія увствія подступили, что совсѣмъ нѣтъ мочи одолѣть себя. Притыдятъ, думаю, старики; по всей ротѣ раскажутъ, по батальнамъ пойдетъ, весь полкъ узнаетъ: что вотъ-де Сысоевъ—баба ужихъ стариковъ за своихъ принялъ; совсѣмъ одурѣлъ, онемѣился. Взглянулъ я на своихъ товарищей опасливо, лѣвымъ глаомъ: одинъ усы крутитъ, а самъ знаю, щетинисты у него усы; нъ и самъ зналъ это, и никогда, что ни припомню, никогда не рутилъ ихъ. Другой кавалеръ подъ столъ зачѣмъ то залѣзъ, а фреторъ Михѣевъ такъ въ окно сталъ глядѣть, и вижу: хититъ, сѣдая крыса, тоже плачетъ. Славныя вы, думаю, ребята; олдатская кость каменная—сердце восковое; сказалось оно, какъ оссіюшку-то увидало, родину-то свою узнало, да понюхало ревенскаго духу!

— По моему, кто такихъ чувствій не понимаетъ, либо знать хочетъ, просто нехристь какая-нибудь, бусурманинъ проклятый, турка некрещоная! продолжалъ кавалеръ, послѣ тяжолаго

вздоха и продолжительнаго кашля, которымъ онъ заключилъ свою первую рѣчь.

Иванъ Сысоичъ, съ трудомъ впрочемъ, привсталъ съ дивана, и откуда голосъ взялся: началъ говорить такъ, будто и Богъ вѣсть какъ разобидили его, словно на цѣлый свѣтъ разгнѣвался.

— Вотъ, говорилъ онъ, тутъ всякая сила на тебя идетъ; хочетъ одолѣть тебя, отнять у тебя все, что вотъ мы и въ Москвѣ отстояли, и за чѣмъ въ Парижъ ходили; а есть трутни такіе, что и глядѣть не хотятъ ни на что.—Хорошо еще, если ты службой какой обязанъ, а не вольный человѣкъ, ты бы вотъ, напримѣръ, Григорій. Вѣдь только и дѣла то, чтобы утянуть осьмушку съ двухъ фунтовъ, да взять за то барыша полкопѣйки мѣдью; начать откалывать сахаръ, да крошки подбирать въ мѣсяцъ на пятакъ серебра. А тутъ тебѣ попадется плохонькой человѣкъ, да еще макура какая-нибудь близорукая: на вѣсы-то не смотритъ, а и смотритъ иной разъ, да не видитъ,—такъ и четверку утянешь съ фунта: вотъ она торговля-то ваша крохоборливая, отяготительная. Ты вотъ одного обвѣсилъ на двѣ копѣйки, тебѣ совсѣмъ польза малая; а у него, глядишь, и денегъ-то только двѣ копѣйки лишныхъ, на другой день онъ эти двѣ копѣйки оставилъ, и все червякъ бы не глодалъ: фунтъ чорнаго хлѣба и ты бы далъ ему, да еще и соли восьмушку прибавилъ. Вотъ и живешь ты хозяину, и будешь жить еще дольше; можетъ хозяинъ помретъ прежде тебя и есть въ твоей сумѣ капиталишко; лавочку, пожалуй, захочешь скупить на себя. Хорошо, положимъ, и лавочку скупилъ, твоя она собственность, никому не даешь отчоту, кромѣ себя самаго. А кому, скажи на милость, польза отъ этого? Ты-то вѣдь опять станешь обмѣривать, да обвѣшивать; только начнешь чай пить въ трактирамъ, брюхо отростишь, да величаться станешь, что мы-де капиталъ имѣемъ, можемъ и садокъ съ рыбой скупить. Вотъ тутъ тебѣ и толкуй

объ родинѣ-то! Глупая твоя жизнь, Григорій, если ты тебя не хочешь понять, а тянешь туда, гдѣ и безъ тебя много.

Старикъ, кончивъ укоры, сѣлъ опять на диванъ и долго всматривался добродушнымъ взглядомъ въ своего слушателя, на лицѣ котораго выражалось сильное нетерпѣніе и какая-то необыкновенная краска, какъ будто ярославецъ только сейчасъ соскочилъ съ баннаго полка и окатился холодной водой.

— Вотъ вы теперечa, заговорилъ онъ робкимъ нерѣшительнымъ голосомъ, меня корить начали и совсѣмъ приругали не за дѣло. Я и пришолъ-то къ вашей милости, чуть не за этимъ самымъ дѣломъ: больно, видите, хотѣлось бы испытать все, что вамъ довелось на бѣломъ свѣтѣ. Время-то, знаете, подошло благопріятное, такъ что же, думаю, зѣвать?—пойду-ко спрошу кавалера.

— Мое тебѣ слово, доброму человѣку, всегда отъ сердца пойдетъ. Старикъ Сысоевъ никому зла не дѣлалъ, развѣ лягушкѣ какой, когда шагалъ по болотамъ въ походахъ. Иди, Гриша, иди, не задумывайся! Въ настоящемъ дѣлѣ всякаго человѣка родина ждетъ; она передъ тобой въ долгу не останется, помяни мое слово! Только ты заслужи это, а волка бояться—въ лѣсъ не ходить: страшенъ громъ, да милостивъ Богъ!

Старикъ Сысоевъ, въ видѣ поощренія, цаловалъ Григорья Матвѣича и вогналъ его въ слезы не столько укорами, сколько, можетъ быть, собственнымъ примѣромъ и ласкою. Иному старику слезы дорого даются; случается, что и совсѣмъ нейдутъ, если поломало его горе, да бѣды непрошеныя.

Задумался Григорій Матвѣичъ; крѣпко отуманили его рѣчи старика умнаго и бывалаго. Задумался лавочникъ до того, что и въ лавочку не пошолъ: и вотъ отчего видѣли покупщицы одну только рыжую бороду хлѣбопека.

— Что это, спрашивали онѣ, самъ-отъ хвораетъ, чтоли?

— Письмо никакъ въ деревню пишетъ, отвѣчалъ имъ хлѣ-

бопекъ, и нѣсколько удовлетворилъ любопытству кухарокъ, потому что далъ имъ поводъ вывести изъ этого то, что должно быть, съ Григорьемъ что нибудь особенное приключилось: не даромъ же кавалеръ цаловалъ его и по головѣ гладилъ, какъ сказывала прачка.

Дѣйствительно, Григорій Матвѣевичъ царапалъ въ это время обглоданнымъ перомъ изъ заплеснѣвѣвшей чернильницы, слѣдующую нехитрую грамотку:

„Родителю нашему любезному Матвѣю Спиридонычу, матушкѣ нашей любезной Оринѣ Мироновнѣ отъ сына вашего единокровнаго рожденнаго Григорья Матвѣича посылаю я вамъ ниской поклонъ и прошу вашего заочнаго родительскаго благословенія навѣки нерушимое и желаемъ мы вамъ на многія лѣта здравствовать и будь надъ вами Божья милось братцу нашему единоутробному Степану Матвѣичу отъ братца вашего Григорья Матвѣича ниской поклонъ посылаю. (Далѣе слѣдовали низкіе поклоны деверю, невѣсткѣ, баушкѣ и прочимъ роднымъ деревенскимъ).

„При семъ письмѣ увѣдомляю я васъ, что я со всѣмъ по своей волѣ въ солдаты пошолъ всѣ нашъ обижаютъ и Иванъ Сысоичъ тоже говоритъ ступай говоритъ кровь говоритъ руская а вы объ этимъ не сокрушайтесь мнѣ ничего я отъ мѣста отсталъ Александрушко подростетъ будетъ съ васъ а оброкъ отдамъ и подушное все коли найдете кого все едино единственно за него пойду сироту бы Григорья отстояли а я за симъ письмомъ остаюся слава Богу живъ и здоровъ а впредь уповаю на Бога чего и вамъ желаю о чемъ желаемъ слышать и радоваться а обо мнѣ сумлѣній не имѣйте никакихъ съ кавалерій приду а убьютъ Господня власъ 1854 года мисяца декабря 17 числа.

Сложивши письмо пирожкомъ. Григорій Матвѣевичъ самъ отнесъ его въ почтамтъ и, вмѣсто того, чтобы отправиться въ лавочку, опять завернулъ къ инвалиду.

— Письмо, говоритъ, сейчасъ въ деревню отправилъ; вотъ только вернулся съ почты, да и завернулъ къ вамъ.

— Спасибо, Григорьюшко, что не забываешь старика. Подержи-ко вотъ палочку: я ее обточу.

— Опять я буду утруждать вашу доброту, Иванъ Сысоевичъ, глупымъ спросомъ — заговорилъ Григорій Матвѣичъ, исполняя просьбу старика. Вѣдь вотъ теперь разсуждать станемъ такимъ манеромъ: мужицкое бы дѣло теперь одно, а солдатское вѣдь опять другое. Хотѣлось бы утрудить вашу милость — спросить: какъ это у васъ-то, примѣрно, было?...

— Не глупи ты, Григорій. Однѣ бабы дуры говорятъ, что страшно на первыхъ порахъ, да и воютъ словно по покойникамъ на погостѣ. Мнѣ такъ вотъ теперь это самое наилучшее время стало; послѣ походовъ, да ранъ моихъ, объ рекрутствѣ пріятнѣе вспомнить, чѣмъ объ деревенскомъ сидѣньѣ, да гульбѣ на посѣдкахъ.

— Какъ же съ вами-то было, Иванъ Сысоичъ? Вотъ это-то-бы мнѣ и желательно знать; все отъ стараго, да израненаго кавалера многому нашъ братъ, молодой человѣкъ, можетъ поучиться.

— Дѣло нехитрое! да къ тому же и время то было горячее; все французъ-то этотъ, про котораго вамъ разсказывалъ, копошился. Мы-себѣ живемъ въ деревнѣ, никакихъ бѣдъ не чуемъ. Пришолъ разъ къ нашей избѣ соцкой, постучалъ падогомъ своимъ въ окошко. Слышимъ: „съ твоей, говоритъ, избы, Сысой, рекрутъ требуется; приводи завтра въ волосное!“ Мой старикъ, какъ ни какъ, собралъ всѣхъ братьевъ, а было насъ въ семьѣ четверо и всѣ женатые; только я одинъ, послѣ всѣхъ, въ супружество вступилъ, потому что былъ самый младшій. — Чтожъ, говорю, благословляйте, да и въ губерское ѣдемъ. Прикрикнулъ на свою бабу: „Собирай, говорю, что мнѣ слѣдуетъ по вашему бабьему разуму! не ссорься со своими, не гнѣви меня!

Да какъ закричу на нихъ, закричу благимъ-матомъ, такъ и теперь не пойму совсѣмъ, отчего такъ мнѣ разсердиться довелось, а прежде, да и послѣ, никогда не ругивался такъ. На другой день рано встали, помолились иконамъ, стали меня благословлять: замерло у меня сердце глупое, ноги хотятъ подкоситься, а все оттого, что батюшко съ матушкой ревомъ-ревѣли, я хоть-бы слезу проронилъ, стою и наказываю братьямъ: не обижать стариковъ; женѣ не спускать, если верховодить станетъ; да чтобъ меня вспоминали извѣстіями о домѣ. Можетъ быть, говорю, далеко насъ уведутъ.

— Извините, кавалеръ, перебью вашу рѣчь: говорите —сердце стучало у васъ; родители рыдали. Хорошо, что такъ, что вотъ вы на глазахъ были, а эдакъ... издалека будутъ благословлять.

— Это, братъ, еще лучше,—скажу я тебѣ... Тамъ вѣдь вотъ какъ: лица твоего не видать станетъ, а армякъ, либо шуба твоя бѣлѣется: вонъ, говорятъ, косатикъ-онъ нашъ! и заревутъ благимъ матомъ, а покажи имъ издали шапку,—такъ и не уймешь цѣлый день. Ты ужъ далеко за лѣсомъ ѣдешь и подъ гору ужъ спустился, а твои все стоятъ: авось, думаютъ, вернется. Прежде-то и мнѣ это на утѣху было, а разревись теперь,—вотъ тебѣ солдатское честное слово: разсержусь и совсѣмъ разругаю. Такъ ли я, говорю, Григорій Матвѣичъ, а?

— Вѣдь вотъ видите что, Иванъ Сысоичъ, это опять по человѣку; какъ вѣдь кто это на сердце принимаетъ.

— Отступись ты съ сердцомъ своимъ!—Что оно тутъ сдѣлаетъ, когда ужъ такая линія пошла; сердцо-то ты въ пазуху хорони, да и закрой пирогомъ деревенскимъ съ кашей. Вотъ тебѣ и сердцо,—когда такая дурь полѣзла!

Чтобы успокоить расходившагося старика и поправить собственный промахъ, Григорій Матвѣевичъ просилъ кавалера продолжать любопытный разсказъ.

— Ну, чего тебѣ тамъ захотѣлось? — все еще съ нѣкоторымъ гнѣвомъ говорилъ Иванъ Сысоичъ, но доброе лицо его опять въ минуту просвѣтлѣло и снова полились его задушевные разсказы, отъ которыхъ куды-легко становилось лавочнику.

— Вотъ тебѣ и дальше пойдетъ толкованье! — продолжалъ добродушный старикъ. Пришли мы въ волосное, тамъ и спрашиваютъ: самъ что ли, Сысой, везешь сына? „Самъ! — говоритъ батюшко. Нагляжусь, говоритъ, на него хоть по дорогѣ-то. Вѣдь онъ, соколикъ, мой за братьевъ, по своей охоткѣ, пошолъ!“ и реветъ мой старикъ, старуха увязалась съ нами, — и та плачетъ. Привели вотъ меня въ губерское, поставили подъ мѣру помню, что чѣмъ-то холоднымъ припало мнѣ къ темю; „лобъ! — закричали. И каюсь въ старомъ грѣхѣ: одежду чуть ли не цѣлый часъ надѣвалъ; а пришолъ къ своимъ на фатеру, такъ еще родителей своихъ сталъ унимать и ни одной слезы не проронилъ вплоть до той поры, какъ посадилъ своихъ на телѣгу и пришло намъ время — партіей пойти на мѣсто сходки. Шли мы въ народѣ весело, смѣючись, попѣвая пѣсни. Гдѣ на дневку придемъ, — въ пристѣнокъ начнемъ играть; другіе ребята бабокъ съ собой набрали; городковъ, бывало, наколемъ изъ полѣньевъ, такъ и ѣздимъ другъ на дружкѣ верхомъ. Соберемся кучкой: орлянку кидаемъ: тогда еще глупая игра-то эта въ ходу была. Бывало всѣ деревни по пути напотѣшимъ: пѣсни поемъ для дѣвичьей потѣхи, и учатся дѣвки у насъ нашимъ, своимъ, значитъ, пѣснямъ, какія у нихъ не поются. А тамъ размѣстили по полкамъ, и пошло наше дѣло своимъ чередомъ. Только вѣдь, говорятъ, съ медвѣдемъ въ берлогѣ не уживешься, а человѣку съ человѣкомъ — плевое дѣло!...

— А потомъ и изъ войны вышли? — опять спросилъ Григорій Матвѣевичъ.

— Удаль молодецкая изъ одной только могилы не выноситъ,

а изъ огня, изъ воды, — вынесетъ! Тутъ, братъ, и толковать намъ съ тобой не о чемъ!

Этимъ кончилась настоящая и, кажется, послѣдняя бесѣда торговца - ярославца, человѣка себѣ на умѣ—и кавалера, прокопчонаго порохомъ и закаленаго горячимъ желѣзомъ, потому что въ тотъ же день вечеромъ Григорій Матвѣевичъ отправился, какъ сказывалъ хлѣбопекъ, къ дядѣ-хозяину. Но такъ какъ и это свиданіе, при настоящихъ обстоятельствахъ, не секретъ, то и разсказъ объ немъ, думаемъ, вовсе не будетъ лишнимъ для тѣхъ, кого заинтересовала судьба нашего бѣлотѣльца.

Пришолъ онъ въ дядину квартиру заднимъ ходомъ, и слѣдовательно прямо попалъ въ кухню, гдѣ въ это время стряпала его тетка. Робко поклонился онъ ей; робко спросилъ о здоровьѣ хозяина - дяди.

— Здоровъ!... ничего!... говорила она. Да что это тебя, Григорьюшко, давно не видать? Самъ-то пыталъ спрашивать: „чтой-то, говоритъ, Григорій давно не приходилъ: да не безъ меня ли былъ; можетъ, говоритъ, ты старуха, запамятовала какъ-нибудь? „А мнѣ чего, говорю, запамятовать? Самъ знаешь! — какъ вотъ въ Покровъ чаю заходилъ пить, такъ съ той поры и помину нѣту.

— Да нѣкогда, тетушка, было; дѣловъ много набралось!

— А ты получилъ ли, отецъ: тутъ тебѣ какъ-то меду послали кадушку; парнишко твой заходилъ, — такъ я варенья двѣ банки отдала ему. Не разбилъ бы, пострѣленокъ! Все ли онъ тебѣ приставилъ въ цѣлости?

Незная какъ отвѣчать теткѣ на ея привычные вопросы, надъ которыми прежде нисколько не задумывался Григорій Матвѣевичъ, даже не видавшій варенья, спросилъ только:

— Сама что-ли, тетушка, варила? — но и тутъ попался въ просакъ.

— Словно не знаешь, батько: завсегда варенья-то ваши — мое рукодѣлье. Вотъ ужъ который годъ этимъ занимаюсь!

— Да что, дядя-то дома чтоли, тетушка?

— Отдыхаетъ, должно быть, теперь; давѣ все на счотахъ что-то щолкалъ. Да вотъ загляну пойду. Войди!... велѣлъ! — говорила, она возвратившись.

Робко пріотворилъ дверь, робко просунулъ въ нее свою фигуру Григорій Матвѣевичъ и, слово бить его дядя станетъ, совсѣмъ не пообычному, поклонился хозяину еще въ самыхъ дверяхъ.

— Что это тебя, красное солнушко, видомъ не видать, ужъ который день? Тутъ къ тебѣ порученья кое-какія были,—заговорилъ дядя и пытливо взглянулъ на блѣднаго прикащика. Вечоръ твой парнишко забѣгалъ, (продолжалъ хозяинъ) сказывалъ, что ты и въ лавкѣ сидишь рѣдко; все, говоритъ, Мартына посылаешь; у солдата все, слышь, у какого-то сидишь. Словно, братъ Григорій, ты на умѣ какую ни на есть потаенность держишь? Да и погляди-ко въ зеркало, совсѣмъ, значитъ, и на себя не похожъ! Говори-же скорѣй!...

— Я ничего, хозяинъ!.. робко заговорилъ Григорій Матвѣевичъ, но оправился. Тутъ къ твоей милости дѣло у меня есть, продолжалъ прикащикъ.

— Что это?.. по лавкѣ чтоли?.. не случилось-ли чего худаго? Садись-ко, да разсказывай!..

— По лавкѣ все обстоитъ хорошо, да вотъ тутъ какая оказія вышла, ты не сердись на меня сперва. Постой! да я тебѣ все по порядку разскажу.

Григорій Матвѣевичъ усѣлся на кончикѣ стула и шапку въ рукахъ оставилъ.

— Вотъ тутъ какая статья идетъ, — продолжалъ онъ нѣсколько погромче и смѣлѣе прежняго.

Въ это время вошла тетка, но старикъ-мужъ оборвалъ ее на первыхъ шагахъ:

— Поди-ко, матушка, стряпай! Тутъ вонъ парень что-то хорошее хочетъ разсказывать; не слѣдъ бабамъ мущинскія дѣла слушать. Говори-же, Григорій, что у тебя тамъ на умѣ засѣло!

— Теперь вотъ супостатъ намъ стращаетъ! Говоритъ: „все возьму!“ нѣтъ, говорю, не дамъ тебѣ, чего не слѣдуетъ; постою, говорю, за себя! Ты, говорю, не харахорься, собьемъ тебѣ спѣси— и будетъ съ васъ.

— Что ты, что ты тутъ городишь? съ чего ты-то тутъ храбришься? — перебилъ дядя. Въ ополченіе чтоли идешь?

— Выше хватай! Я, братъ дядя, совсѣмъ въ солдаты иду! проговорилъ громко Григорій Матвѣевичъ, и поднялъ дядю съ дивана и самъ привсталъ. Я ужъ и въ деревню объ этомъ писалъ. Благословите, говорю; а я ужъ далъ себѣ зарокъ крѣпкій на это дѣло. Такъ ужъ тому и быть слѣдуетъ.

Дядя долго думалъ, кусалъ свою бороду и, словно изъ угла, заговорилъ тихо и истово:

— А обдумалъ-ли ты это дѣло, не съ горяча-ли, братъ, ухватился? Тутъ вѣдь, смотри, вотъ какая статья, что она на всю жизнь тебѣ пойдетъ, зря-то нельзя къ ней приступаться. Чтожъ ты англичанина чтоли бить станешь? — закончилъ дядя, измѣнивъ свой тонъ на полушутливый.

— Иванъ Сысоичъ говоритъ, что куда пошлютъ, туда и пойдешь, тутъ, говоритъ, все едино-единственно кого не стрѣлять, все супостатъ, да врагъ и твоей семьѣ, и родинѣ твоей, Россіѣ-то, врагъ.

— Нѣтъ, ужъ ты, братъ, ступай на англичанина: на корабли ступай! Этотъ народъ, какъ я вижу, только того и ждетъ: вотъ, сегодня утромъ въ лавкѣ читали, что всѣхъ-то онъ народовъ подговариваетъ. Колоти ты его, сутягу возмутительнаго! Ступай,

Григорій, да смотри, чтобъ твои старики не поперечили тебѣ. По мнѣ, братъ, святое это дѣло — солдатомъ теперь быть. Вонъ, посмотрѣлъ я, апраксинскіе молодцы газету толкомъ не дадутъ прочитать, все-то, братъ, ругаются, англичанина корятъ. Я, Григорій, съ своей стороны правъ, мнѣ тебѣ нечего указывать, самъ вѣдь себя знаешь, только, смотри, старики-то твои...

— Я отписалъ ужъ имъ, что коли-де хотятъ, пусть Григорьевъ чередъ на меня перенесутъ; все же христіанское дѣло сдѣлаютъ: сироту оборонятъ. Знаешь Григорья, что бобылемъ послѣ Егора кузнеца остался? Пускай за меня лѣто у насъ на дому работаетъ! А ужъ я такъ порѣшилъ, что завтра и въ губернское пойду, все ужъ и подвелъ къ тому. Братишку-то моего, Александрушку-то, не оставь, дядя; завсегда твоимъ плательщикомъ буду: возьми его на себя; пусть за меня родителямъ окажетъ пособіе! — и Григорій Матвѣевичъ поклонился дядѣ въ ноги; а когда всталъ, видѣлъ старикъ, что у племянника выступили крупныя слезы и побѣжали по щокамъ.

Тронутый дядя крѣпко обнялъ его; благодарилъ за службу честную; слегка прихвастнулъ. „что и я, молъ, тебя ничѣмъ не обижалъ!“ Тутъ откуда ни взялась тетка-старуха и, не понимая въ чемъ было главное дѣло, стала также обнимать племянника — и заплакала.

— Ты смотри же, Григорій, не возгордись! — говорилъ старикъ-дядя, при прощаньѣ! Навѣдывайся къ намъ — и Боже тебя оборони — уйти не простившись. Вѣдь я тебѣ все же дядя родной, не бойсь постоимъ за себя — не обидимъ!...

— Твоею милостью и въ люди пошолъ, дядя Егоръ Кузьмичъ. Парнишкомъ ты меня взялъ, да вотъ и на отчотности состоялъ у тебя четыре года. Ты и въ молитвахъ у меня сейчасъ за отцомъ-матерью стоишь!..

— Въ лавочку я пошлю своего подручнаго. Поди, теперь, тебѣ ужъ будетъ не до того?

— Да ужъ уволь — поскорѣй свое дѣло кончить; на душѣ словно грузъ какой, на сердцѣ тошно!

Съ этихъ поръ Григорья Матвѣевича совсѣмъ невидать было въ лавочкѣ; а гдѣ пропадалъ—совсѣмъ было неизвѣстно. Черезъ недѣлю уже видѣли его кое-кто изъ знакомыхъ жильцовъ, какъ прошолъ онъ въ сѣрой шинели и въ шапкѣ солдатской сѣрой, прямо въ прачкину квартиру, къ старику-жильцу. Сказывали потомъ, что, должно-де быть, Григорій новымъ нарядомъ приходилъ старику похвастаться. Но вотъ пришолъ онъ прощаться, и весело смотритъ, и къ старику-инвалиду ластится.

— Прощайте, говоритъ, старый кавалеръ! Жилъ бы я съ вами не плакался, да ужъ знать дорога теперь прямая и торная. Благословите вы меня, да не скажешь ли чего на прощаньѣ?

— Одинъ тебѣ мой совѣтъ, Григорій. Слушайся ты того, кто приставленъ къ тебѣ будетъ, назовутъ-то его дядькой, да вѣдь онъ, смотри, обтѣшетъ тебя, уму-разуму научитъ, будешь ты брякать ружьемъ такъ же, какъ и онъ самъ. Вытянетъ онъ тебя въ въ струнку и поперегъ обточитъ въ рюмочку: станешь ты ходить молодцомъ, на заглядѣнье всѣмъ. Тутъ тебѣ опять солдатская наша поговорка пригодится: дѣлай дѣло въ семь рукъ, а слушайся всегда одного; самъ знаешь: — худая пѣсня безъ запѣвалы. Онъ тебѣ, дядька-то этотъ, первую пѣсню и въ зорю, и послѣ одну будетъ пѣть. Знай ты ее: стой—не шатайся, ходи—не спотыкайся, говори—не завирайся, а ляжешь спать, такъ раньше вставать собирайся. Твое дѣло одно теперь: отдавай ты честь тому, какъ Государь указалъ: не твоя о томъ забота, а твой отвѣтъ. Да вѣдь вотъ я что тебѣ скажу, Григорій Матвѣичъ,— если всю теперь пересказать тебѣ службу-то солдатскую, — такъ развѣ-развѣ къ завтрому вечеру кончимъ; пожалуй эдакъ ты и

перекличку прозѣваешь — а ужъ это, братъ, совсѣмъ худо. Сказано одно: солдатъ царскій слуга—и ничего тебѣ больше. Что завтра, говоришь, уводятъ, съ дядей-то попрощался?..

— Тридцать рублей серебромъ давалъ. Да я не взялъ, Иванъ Сысоичъ, думаю своими пока справиться.

— Ты ихъ, какъ придешь въ полкъ, прямо дядькѣ, какого приставятъ, отдай! Онъ вѣдь тебѣ добро изъ этого сдѣлаетъ: разные струменты, какіе нужны солдату, справитъ. Только сходись ты съ нимъ по миру—по согласію, а за тебя поручусь — всякой тебя солдатъ полюбитъ, какъ не крѣпкоруки бываютъ иные дядьки.

— Хотѣлъ я опять-таки спросить, Иванъ Сысоичъ: какъ вотъ мнѣ съ супостатомъ-то сниматься?

— Придешь на мѣсто — всему научатъ; а до того тебѣ далека еще пѣсня. Нужно сначала узнать ружье, стойку, да вытяжку умѣть держать. А дальше, по моему, вотъ что: сошолся ты со врагомъ глазъ на глазъ, — мѣть ему пулю горячую прямо, слышь, въ щокотливое мѣсто, чтобы онъ тебя и обидѣть ужъ не смѣлъ. Не пускай, стало быть, пули черезъ голову; не оглядывайся; торопись заряжать и не боронись отъ пули. Коли улучишь— въ офицеровъ вражьихъ стрѣляй, орудія подбивать старайся; а отъ твоей мѣткой пули живая душа далеко не уйдетъ: сама въ руки дастся. Опять-таки главное тебѣ: раненыхъ и плѣнныхъ, коли попадутся подъ руку, не обижай; краденое добро, самъ знаешь, въ прокъ нейдетъ. Безъ чести солдату жить нельзя; безъ совѣсти и шагу путнаго не сдѣлаешь. А чистъ, да добродѣтеленъ, всякому и въ глаза смотришь прямо и неробко, по командирскому приказу, да и на часахъ стоишь чутко. Тутъ и на часы поставятъ, первое слово скажутъ: вотъ-де тебѣ честь и мѣсто...

— А поранятъ, Иванъ Сысоичъ?

— Подберутъ. На то ужъ тутъ и начальство такое приставлено.

— Ну, а если убьютъ-то, Иванъ Сысоичъ?

— Вѣчная тебѣ память, и твой же братъ-солдатъ добромъ вспомянетъ: правдивая въ немъ была солдатская душа, скажутъ они! Клади же и ты свою душу за царя и родину!.. А вотъ тебѣ на память и образокъ мой: изъ-подъ турки вынесъ, подъ французомъ былъ и на нѣмцовъ ходилъ со мной; да вотъ и тебѣ теперь пригодился. Прощай же, прощай, Григорьюшко; вышолъ бы тебя проводить, да совсѣмъ ослабѣли ноги: такъ никогда не случалось, и съ дивана-то встать насилу могу...

Прошло времени немного, но въ знакомой намъ лавочкѣ накопилось много новостей: изъ десятаго номера кухарка сошла — обижать стали; Матрена какая-то задурила — попивать начала, такъ и той тоже отказали отъ мѣста; изъ пятаго номера жильцы съѣзжаютъ; домовый хозяинъ водовоза смѣнилъ. Въ четвертомъ номерѣ жильцы подкутили, до полночи пѣли пѣсни и такъ ревѣли, что изъ нижной квартиры купецъ присылалъ сказать, чтобъ были потише, потому-что надъ самой спальной его затѣяли пляски, отъ которыхъ штукатурка валилась.

— Посылалъ-то Ивана Степанова—прикащика, разсказывала кухарка купца: да тотъ дураковатъ у насъ немного, словъ объяснить не умѣетъ. Вернулся назадъ, и говоритъ, что не слушаются: говорятъ-де, что мы сами платимъ деньги и сами запретить можемъ, чтобъ купецъ вечеровъ не дѣлалъ, не призывалъ музыкантовъ, а то и намъ, говорятъ, дѣлаетъ безпокойство. Одинъ было, слышь, драться кинулся, да не устоялъ на ногахъ—упалъ. Другой на лѣстницѣ усѣлся, пѣлъ пѣсни и хваталъ за ноги всѣхъ, кто ни проходилъ мимо; да такъ и уснулъ тутъ, пока не подобрали другіе гости.

Между этими новостями главнѣйшую роль занимала одна: за прилавкомъ, вмѣсто Григорья Матвѣевича, стоялъ какой-то Иванъ

Семенычъ. Спорили, что онъ красивѣе прежняго Григорья и въ обхожденіи повеликатнѣе. Къ этому одни прибавляли собственное замѣчаніе, что новый прикащикъ сродни старому, а другіе, что онъ просто былъ подручнымъ главнаго хозяина и будущей осенью въ деревню идетъ — жениться хочетъ.

Замолвили словечко слегка и кстати и про прачкина жильца Ивана Сысоича, что вотъ-де, какъ проводилъ Григорья, такъ и въ лавочку пересталъ ходить, словно стыдится чего.

Но послѣднее заключеніе было рѣшительно несправедливо, какъ и доказала въ тотъ же день его хозяйка - прачка. Пришла она въ лавочку заплаканая, разсказывала, какъ-будто нехотя: что вотъ-де послалъ ее въ Измайловскій полкъ къ другу своему инвалиду: къ себѣ велѣлъ звать.

— Знать проститься съ нимъ хочетъ!.. Священникъ ужъ былъ! добавила она въ заключеніе. Совсѣмъ на себя сталъ не похожъ. Поди-ко, говоритъ, сюда, хозяюшка; подыми мнѣ голову, подложи подъ нее другую подушку. Шубой, говоритъ, прикрой меня; совсѣмъ озябъ.... знать приходятъ мои послѣдніе часы.... Тутъ онъ, батюшки, призабылся немного; отходитъ, думаю, да нѣтъ, опять подозвалъ меня и послалъ вотъ къ старику-то!...

Землякъ и старый другъ инвалида, пришедшій опять съ обоими сыновьями, нашолъ Ивана Сысоича въ забытьи; но тотъ не заставилъ ихъ долго дожидаться: открылъ глаза и протянулъ руку.

— Спасибо, говоритъ, братцы!... спасибо...

— Что у тебя болитъ?... ноги чтоли? — едва проговорилъ его старый другъ.

— Просто, братъ, старость! чему тутъ болѣть?... все болитъ: вотъ и голова какъ кирпичъ, и ноги чешутся; слышу, кровь бѣжитъ,—холодная, словно ледъ, кровь бѣжитъ по жиламъ!... раны

ноютъ, глаза туманомъ завалило, — и старикъ застоналъ и закашлялся.

— Пора, пора, братъ, убираться! землю только тяготимъ... Вотъ и въ этой квартирѣ другой какой бы жилецъ получше меня жилъ; побольше бы меня хорошихъ дѣлъ дѣлалъ!... А тутъ что?... кардонки, да клѣтки... вонъ домикъ клеимъ... (старикъ опять закашлялъ.) Оставляй, братъ, и ты сыновей-то своихъ: приходи!... дожидаться буду!... все бы вмѣстѣ!...

Инвалидъ не договорилъ и провелъ холодной рукой по такому же лбу, какъ-будто припоминалъ что хорошее.

— Возьми-ко за лобъ, старикъ ты мой, старый другъ!... Въ жизни ни разу не ругивались!... Попробуй какой лобъ-то холодный, — ледъ!... Въ головѣ словно свинецъ налитъ!... вотъ!... и старикъ-инвалидъ покрутилъ головой и опять приложилъ къ ней руку.

— Ну, вотъ... слава Богу!... вспомнилъ!... заговорилъ онъ снова. Изъ нижняго комода деньги вынь... въ буракѣ лежатъ!... Раненымъ было все собиралъ, да вотъ пришлось иное сдѣлать. Половину-то на похороны мнѣ, а другія... съ десять рублей наберется!... да еще въ комитетѣ осталось!... эти ты Григорью отправь! Да что бы взялъ, а то-молъ старикъ серчалъ, у!... крѣпко-молъ серчалъ. Крѣпко серчалъ!...

Старикъ сдѣлалъ усиліе, чтобы вскричать на послѣднихъ словахъ, но голосъ ослабѣлъ; глаза закрылись. Онъ встрепенулся, и опять заговорилъ:

— Господь съ вами!... Приходи же, старикъ, скорѣй!... отъ похоронъ останется... хозяйкѣ моей отдайте! За кумомъ еще, кажись, было!... ей же!... Позовите-ко кума!... а сердце оторвалось!... Слышу: сердце внизъ покатилось!... Господь съ вами!...

И видѣли всѣ, какъ старика дернула судорога: вытянулся онъ и руки по швамъ сложилъ, словно передъ фронтомъ въ ста-

рину равнялся; открылъ глаза, уставилъ ихъ въ печку. По лицу пробѣжала улыбка, добродушная улыбка Ивана Сысоича, которою радовалъ онъ въ былую пору своего земляка и стараго друга. Еще разъ дернула его судорога: вздохнулъ Иванъ Сысоичъ, тяжело вздохнулъ и отвелъ лѣвую руку, которая словно плеть спустилась съ дивана. Крикнулъ Иванъ Сысоичъ чуть не на весь домъ—и затѣмъ не слышно стало его тихаго, добродушнаго голоса.

Умеръ онъ для бесѣды поучительной, для ласковаго слова и добраго совѣта. Похитила его смерть у друзей, которые его горячо любили; умеръ онъ и для родины, которую онъ самъ такъ любилъ и такъ зналъ хорошо. Поклонитеся же христіане, русскіе-люди, его праху—послѣднему свидѣтельству существованія его на землѣ: вонъ, везутъ его на ломовомъ извощикѣ; сзади писарь и четверо солдатъ идутъ; старика дряхлаго легковой извощикъ везетъ, словно туда же, въ могилу. Еще везетъ извощикъ купца толстаго, въ колѣняхъ у него два маленькихъ мальчика; сзади ѣдетъ купчиха и груднаго ребенка завернула въ шубу. Проходящіе люди шапки снимаютъ и крестятся. Немного сзади поѣзда отстала квартирная хозяйка-прачка, вся заплаканная, объ руку съ товаркой—тоже плачущей. За ними нищенка какая-то увязалась и тоже утираетъ глаза рукавомъ. Не спроста плачутъ старухи; вѣдь жилъ же на свѣтѣ добрый человѣкъ, и потребовалъ его Богъ для награды вѣчной; третьяго дня былъ живой и съ тобой говорилъ, а теперь и крышкой тяжолой накрытъ и на кладбище увезенъ. Тамъ уже и могила вырыта на его трудовыя деньги, и готовъ могильщикъ съ лопатой, чтобъ завалить его холодной землей, на вѣка-вѣчные.

Зарыли Ивана Сысоича въ могилу; помянули по обычаю. Послѣ крестъ ему деревянный сколотятъ, красной краской покрасятъ и выведетъ щоголь-писарь хитрую надпись. Будетъ ходить его старый другъ на могилу, пока силы хватитъ или самъ не

улжется рядомъ. Но все-таки не пропадетъ о нихъ память: въ праздникъ Смоленской лѣтомъ придетъ помянуть ихъ молодое племя. Понавѣдается и Григорій Матвѣичъ, если не сразитъ его пуля вражья и вернется онъ назадъ, на побывку.

Литерщикъ.

(похожденія кулачка).

I.

Разставанье.

Въ крайной избѣ деревни Судомойки, у хозяина Артемья— валое горе, которое подкралось къ нему незамѣтно и под- его жену Матрену еще далеко до первыхъ пѣтуховъ. уха завозилась около печи и изрѣдка глубоко и тяжко хала. Вздохи эти, сопровождаемые какими-то однозвучными лицаніями, незамѣтно учащались, и когда старуха вышла за переборки, съ лучиной въ рукахъ, легко было замѣтить, глаза ея опухли и покраснѣли, а на рѣсницахъ висѣли не ыя свѣжія слезы. Вставивши лучину въ свѣтецъ, старуха рожно подошла къ лавкѣ, во всю длину которой вытянулась ра, накрытая овчиннымъ полушубкомъ. Старуха осторожно лкала эту фигуру, подперлась локоткомъ, и тѣмъ жалобнымъ имъ голосомъ, который такъ живо вспоминается всякому, первой мысли о давно минувшемъ младенчествѣ, шептала, зъ слезы, спящему:

— Петрованушко!.. разумникъ!.. очнись-ко, желанный мой! акъ свѣтать скоро станетъ, радость!..

Спящій перевернулся, но съ полатей раздался другой голосъ, нѣсколько строгій и непривѣтливый:

— Эку рань тебя, старую, нелегкая подняла: не замай!.. отстань!.. Дай хоть на послѣдяхъ парню-то покуражиться. Никакъ еще и первые кочетье не пѣли: ложись-ко!..

— Нѣтъ, ужь не засну, не засну!.. Всю ноченьку мутило, и призабыться не удалось!—было отвѣтомъ.

Опять раздался въ избѣ тотъ же урывистый шопотъ, который такъ назойливъ и непріятенъ просыпающемуся въ самую лучшую, сладкую пору ночи.

Не хитрилъ и тотъ, чей голосъ оговорилъ сердобольную старуху-будильщицу, потому-что вскорѣ показались его босыя ноги на приступкахъ и, наконецъ, вся фигура самаго хозяина Артемья пробралась съ полатей въ кутъ, въ то время, когда спящій поднялся на лавкѣ и лѣниво потягивался.

Артемій молчалъ, продолжая одѣваться, молчалъ и сынъ его Петрованушко—виновникъ настоящаго семейнаго горя.

Въ избѣ было попрежнему тихо, какъ бываетъ тихо въ любой крестьянской избѣ въ ранную пору утра, когда можно слышать и шипѣнье въ лахани стрекнувшаго уголька отъ лучины, и корову, лѣниво пережовывающую жвачку въ подъизбицѣ, и трескъ надъ голбцомъ сверчка — этого незваннаго и досаднаго гостя всякаго теплаго мѣста въ деревнѣ.

Въ избѣ Артемья на эту пору тишина нарушалась еще вздохами его жены, которые вскорѣ превратились въ всхлипыванья, неблагопріятно подѣйствовавшія на обоихъ мужчинъ: самъ Артемій упорно молчалъ и покрякивалъ. Сынъ его вышелъ на крылецъ и задумался.

Вотъ, гдѣ-то вдали выкрикнулъ первый голосистый пѣтухъ-запѣвало; ему отвѣтилъ другой, третій еще голосистѣе—и вскорѣ

началась задорная чередовая перекличка досужихъ сосѣдей, по пѣнію которыхъ деревенскій человѣкъ узнаетъ время ночи.

Привычная перекличка пѣтуховъ, проходившая незамѣтно для парня въ былую пору, на этотъ разъ увлекла его и навела на продолжительное раздумье: голосъ одного пѣтуха, бойко начавшаго выкрикъ, порвался на самой серединѣ, и пѣтухъ не дотянулъ полной трели.

— Надо быть, крѣпко началъ, покачнулся на нашестѣ и слетѣлъ внизъ!—думалъ парень, и въ воображеніи его уже рисовался содомъ и неугомонное кудахтанье, которое подняли напуганныя, всполохнутыя куры.

— И ничѣмъ не уймешь ихъ до самаго разсвѣта, народъ такой! А вотъ скворчихинъ пѣтухъ совсѣмъ старъ сталъ, и поетъ сипло, и скоро кончаетъ. Не съ пуста: пятую зиму живетъ...

Парень еще долго стоялъ и вслушивался; но видно какъ ни отгонять тоску, накипавшую на сердцѣ, придется опять за нее взяться, когда войдетъ онъ въ избу и увидитъ, какъ тоскливо смотритъ ему въ лицо мать-старуха, и самъ отецъ, подсѣвши къ столу, разбитымъ, не менѣе тоскливымъ, голосомъ говоритъ ему:

— Не отринь, Петрованушко, старинковскую молитву: не забудь на чужой сторонѣ!.. Пошли тебѣ Никола-Чудотворецъ, да Казанская Богородица, талану, да счастья!.. Насъ-то не забудь только!..

— Зачѣмъ забыть?.. не для чего забывать!.. Вы-то... могъ только отвѣтить парень, но упорно сдерживалъ накипавшія слезы.

— Ой, отцы мои родные! кормильцы мои! — завопила старуха и пала на плечо сына.

— Подъ сердечушкомъ-то своимъ я тебя выносила; выкормили-то мы тебя, выпоили, а пришла неминуча напасть на чужую сторонушку снаряжать! Помрешь — не увидимся!.. Ой, батюшки, ой, родители мои! Ой, ой, ой!..

Градомъ полились у старухи слезы, Артемій вылѣзъ изъ-за стола, махнулъ рукой и побрелъ подъ полати.

— Спи, Ондрюнька! спи, шустрой! Рано!.. — говорилъ онъ одному изъ ребятишекъ (въ разброску валявшихся на полу подъ шубенками).

Этотъ парнишко, приподнявшись на постелѣ, пугливо озирался, вѣроятно разбужонный громкими причитываньями большухи. Плачу этому не мѣшалъ старикъ-Артемій, и даже видимо сочуствовалъ, потому-что продолжалъ, по-прежнему, покрякивать и откашливаться.

Немного опрѣвившись, онъ опять подошолъ къ столу и опять заговорилъ съ сыномъ:

— Дорога-то дальная, туды-то обрядимъ! А тамъ все отъ тебя, Петрованушко, да отъ Семена Торинскаго! Коли не онъ — такъ и надежи никакой нѣтъ; да, я чай, не отринетъ — въ сватовствѣ вѣдь,—свои... Поклонись ему, попроси!..

— Знамо надо поклониться!—отвѣчалъ парень.

— Ну, и наши питерщики, чай, покажутъ: свои вѣдь, сосѣдскіе!..

— Знамо, покажутъ!.. Ондрюха покажетъ!.. Матюха!..

— Жениться, Петрованушко, надумаешь—домой пріѣзжай!..

— Куды, какъ не домой,—знамо!..

— На-вотъ отъ трудовъ своихъ, Петрованушко! возьми... десять рублевыхъ, чай, хватитъ.

— Какъ не хватитъ—хватитъ!.. останется!..

— Далъ бы и больше, радѣльникъ, да не въ моготу: самъ знаешь!.. Вонъ и то лысуньюшку продали, и сѣно все сгребли съ повѣта!.. Тулупъ-то свой лонишной тоже!.. самъ знаешь: изъ какихъ достатковъ?..

Въ отвѣтъ на это, парень только сильно, безнадежно махнулъ рукой и опустилъ голову.

— Все на тебѣ, разумникъ! Отъ твоей милости!.. не отринь!..

И старикъ уже не вылѣзалъ изъ-за стола, а тутъ же, при всѣхъ вытиралъ обильныя слезы. Одному только парню почему-то хотѣлось удерживаться отъ нихъ, и онъ ушолъ за переборку и долго—безсознательно разсматривалъ, какъ густой дымъ валилъ изъ печи и сильно лѣзъ къ потолку и полицамъ.

— Вставайте, робятки! Матвѣюшко, вставай!—будилъ онъ потомъ маленькихъ племянниковъ—сыновей покойнаго брата.

Потомъ прилегъ-было къ нимъ, хотѣлъ поиграть—и не нашолся. Всталъ опять и опять началъ выговаривать.

Изъ-подъ полушубка показалось одно раскраснѣвшееся личико, а вотъ и другое—и оба, съ просонковъ, тупо смотрѣли на дядю, не понимая въ чемъ дѣло.

— Въ Питеръ сегодня ѣду, вставайте!—чуть не вскричалъ парень тѣмъ безнадежнымъ голосомъ, послѣ котораго едва ли кто удерживался отъ слезъ.

Въ избу вошолъ дядя Петръ, старшій братъ старика Артемья, человѣкъ, жившій въ Петербургѣ долго, разбогатѣвшій тамъ, а теперь уважаемый всею деревнею за умъ и опытность.

Старикъ пришолъ подѣлиться, по родственному, съ парнемъ своимъ толкомъ и опытностью, и говорилъ:

— Бѣги кабаковъ—главное! Вотъ отецъ-то не пріучилъ тебя къ водкѣ, и тамъ остерегайся. Водка — огонь: многихъ сожгла. Въ харчевнѣ—ничего, чайку попить, и то, смотри, не часто—ожжотъ... Больно-то съ шустрыми, да бойкими не дружись: народъ тамъ прожжоной...

— Ой, поучи-ко, поучи! Больно ты толковъ, братъ!.. родной!.. Самъ-то я и придумать ничего не могъ, а хотѣлъ, больно хотѣлъ, да не знаю какъ.

— Ну, гдѣ тебѣ знать: свѣту-то и видѣлъ, что въ окнѣ-то своемъ: домосѣдъ, вѣдь...

— Домосѣдъ, братъ, домосѣдъ, родной!... Поучи-ко, поучи—кровной, вѣдь—свой...

— Идешь-то ты въ толковое ремесло плотницкое. Артели у нихъ крѣпкія, только держись за нихъ, да тутъ смотри съ толкомъ. Вѣдь, и у нихъ всякой бываетъ, что рубль-отъ заработываетъ въ недѣлю почесть, а выпьетъ, такъ и въ грошъ не ставитъ. Пуще бѣгай полпивныхъ, тамъ въ игры всякія играютъ;— втянешься: водой не отольешь. Присмотру-то тамъ, да уроковъ ни отъ кого не жди, всякъ живетъ по себѣ, и тебѣ доведется также.

— Спасибо, дядюшка, кормилецъ! такъ-то вотъ словно и выучился. Все-то такъ запомнилось ловко...

— Не на чемъ, племянникъ дорогой, Петръ Артемьичъ! Вѣдь, съ отцомъ-то твоимъ мы не чужіе — одна полоса мясу: родные братья.

— Да, поучи ты, поучи, братъ!... ещо.

— Будетъ съ него, пока. Всего-то не втолкуешь; свой на то разумъ имѣетъ. Отца-то не забывай, не зазнавайся очень-то.

— Да, ужь не забывай, Петрованушко, не забывай!...

— Ну, и меня: дядя, вѣдь тебѣ. А вотъ тебѣ и мое благословеніе и деньжоночокъ, сколько могъ: не обезсудь!—Становись же на колѣни: благословляй, братъ, коли не благословлялъ еще, да и съ миромъ.

Отецъ благословилъ сына створчатымъ мѣднымъ образомъ, и запихнулъ ему этотъ образъ за пазуху. Старуха передала ему мѣшокъ съ подорожниками и низко поклонилась; невѣстка присоединила свои рыданья къ причитаньямъ старухи. А вотъ, когда совсѣмъ разсвѣло, отворилась дверь: и изъ разсѣявшагося густаго пару, мгновенно ворвавшагося съ вѣтру, показались фигуры

питерщиковъ—Ондрюхи и Матюхи, которые взяли новобранца на свой страхъ и согласились доѣхать вмѣстѣ съ нимъ до Питера.

— Не оставьте, ребята, парня! вразумите, коли въ чемъ не дойдетъ своимъ-то толкомъ! Не отриньте, Но знати!.. свои, вѣдь: во какими запомню!—просилъ Артемій питерщиковъ и, вѣроятно для бо̀льшаго убѣжденія ихъ, намекнулъ на свою старость и односелье съ ними.

— Не проси, что̀ просить? Знаемъ!—отвѣтилъ Ондрюха.

— Самъ себя должонъ смотрѣть, а мы, значитъ, люди натуральные: все можемъ предоставить. На то, примѣрно, въ столицѣ... разныхъ господъ, выходитъ, знаемъ, а опять-таки и хозяевъ разныхъ. Радѣніе его будетъ какое, значитъ... а мы... вотъ, это въ какомъ сложеніи понимать надо.... настояще-такъ!—говорилъ другой питерщикъ Матюха и, какъ видно, что называется, зарапортовался вслѣдствіе столичной заносчивости, которая, видимо, немало усилилась и деревенскими крѣпительными средствами, которыми любитъ заручиться простой человѣкъ въ привычную дорогу.

Какъ ни безтолковы были послѣднія рѣчи, старикъ Артемій понялъ ихъ по-своему и низко кланялся. Кланялся и сынъ его, Петръ.

— Пособи, братцы! народъ вы доточной, не впервые въ Питеръ-то ѣздите.

— Пріобыкли, молодецъ, пріобыкли! замѣтилъ Матюха съ тѣмъ важнымъ тономъ, которымъ любятъ важничать заѣзжіе на родину питерщики.

— Грамотной, вѣдь, онъ у меня: и церковное читаетъ, и гражданскую печать маракуетъ. Не обидѣлъ Богъ, неча говорить: можетъ пригодится и въ этомъ досужествѣ.

— Завсегда въ избѣ у дьячка, передъ обѣдней, Житія читаетъ!—сочла за нужное прибавить мать и не нашлась больше; а только низко-низко поклонилась и опять принялась за слезы.

— Не просите: не обижайте, значитъ! говорилъ первый питерщикъ.

Но вотъ наступила и минута разлуки, которую обставляетъ русскій человѣкъ, по старому завѣту отцовъ и дѣдовъ, вездѣ одинаково: когда дорожный человѣкъ одѣлся потеплѣе и туго-на-туго подпоясался кушакомъ, всѣ находившіеся въ избѣ присѣли. Не долго длилось молчаніе: всѣ, вставши съ мѣстъ, молились на тябло, по примѣру большака избы, который, кончивъ молитву, обратился къ сыну:

— Ну, прости, Петрованушко! прости родимый! благослови тебя Господи. Не забывай... Жениться-то, молъ, домой пріѣзжай, да скорѣе!.. Хворъ сталъ: не въ силу подчасъ. Прости, пѣтой!.. Да дядины-то слова пуще помни: онъ вѣдь не-спроста.

Дальше онъ не могъ говорить и передалъ сына матери, гдѣ ожидали его безнадежно-судорожныя объятія и рыданія; старуха повалилась ему на плечи и не смогла ничего выговорить. За нее причитывали другія бабы-помощницы, въ объятіяхъ которыхъ также предстояло Петровану испытать, какъ тяжело ложится на сердцѣ бремя разлуки, отъ которой и отказаться бы даже такъ впору.

Дядя простился хладнокровнѣе всѣхъ.

Между тѣмъ изба Артемья густо набилась сосѣдками, которыхъ привлекло сюда сколько любопытство и досужество, столько же и обычное состраданіе ко всѣмъ неутѣшно-рыдающимъ. Прощаніе съ ними было гораздо короче. Учащоннѣе слышались только разныя искреннія пожеланія, во все время, пока парень подошолъ къ ребятенкамъ-племянникамъ.

Ребята спохватились, что дѣло идетъ не нашутку, когда всѣ въ избѣ голосятъ и что, знать, скоро не кому будетъ снаряжать имъ телѣжки, носить шляки и лодышки. Ребята растрогали своими слезами дядю до того, что онъ поспѣшилъ за дверь, на крылецъ, къ роковымъ санямъ и концу разставанья...

— Прости, родимой... сердце!... не забудь, да отпиши по первоначалу... какъ тамъ... Пошли тебѣ, Казанская!... ой!..охъ!...

— Прощайте, родные, прости, Гриша!... Дядя Михѣй, прости, родимой!

— Не поминайте лихомъ! А въ чемъ не разобидѣлъ ли кого? Простите, желанные:—слышалось съ обѣихъ сторонъ.

— Трогай; да легче сначала: сами разойдутся!—раздался другой голосъ, усилившій рыданія бабъ.

Старикъ Артемій только махалъ рукой и низко кланялся во все время, пока пошовни питерщиковъ были въ виду.

Но вотъ они обогнули околицу, скрылись за банями, опять стали видны и спустились подъ гору, за лѣсъ, все дальше и дальше...

Старуха-мать давно уже лежала на лавкѣ чуть не въ безпамятствѣ. Надъ ней выли золовка и невѣстки. Артемій ушолъ на повѣть и долго-долго возился тамъ съ колесами; потомъ накинулъ полушубокъ, надѣлъ шапку и ушолъ подъ знакомую ёлку, откуда поздно вернулся домой, залѣзъ на полати, постоналъ, поворочался и замолкъ, можетъ-быть, только до первыхъ пѣтуховъ...

На другой день, когда путешественники будутъ далеко, старикъ опомнится и крѣпко погорюетъ. Бабы еще долго будутъ хныкать, а старуха-мать—при первомъ воспоминаніи о сынѣ.

Пройдетъ недѣля, и дальше,—по непреложному закону природы,—все пойдетъ своимъ чередомъ: домашніе оглядятся—и попривыкнутъ, устремивъ всѣ желанія свои къ тому, чтобы дождаться изъ Питера первой грамотки, надъ которой опять цѣлой семьей поплачутъ и опять все пойдетъ старымъ, заведеннымъ порядкомъ.

II.

Дорога.

Привыкшіе къ разставаньямъ и дальному пути спутники Петра всю дорогу спали невозмутимымъ сномъ, просыпаясь только тамъ, гдѣ останавливались привычныя лошади извощиковъ: былъ ли это сѣренькій гнилой домишко, съ ёлкой и выбитыми стеклами, или большая изба съ длиннымъ-предлиннымъ навѣсомъ надъ дворомъ, гдѣ путешественники пили и ѣли до-устали, и ничто не возмущало ихъ. Дивился Петръ Артемьевъ хладнокровію земляковъ и не могъ вполнѣ понять и совсѣмъ подчиниться ихъ обычаямъ.

Прижавшись къ бочку саней, чтобъ не потревожить спавшихъ товарищей, онъ невольно долженъ былъ страдать подъ обаяніемъ воспоминаній, обильный наплывъ которыхъ и ласкалъ его, и уносилъ, противъ воли, въ далекое прошедшее.

Тамъ привелось ему встрѣтить такъ много отраднаго, что недавная разлука съ домашними еще глубже западала ему въ сердце и щемила его и выжимала необильныя, но все-таки горькія и неутѣшныя слезы.

Сначала онъ прибѣгалъ къ хитростямъ, чтобы отдалить гнетущія воспоминанія и занимался дорогой дѣломъ отчасти привычнымъ, но прошедшее,—такое свѣтлое и отрадное,—опять брало свое мѣсто въ воображеніи и опять сжимало ноющее сердце.

Дорога, выбираясь изъ сѣрыхъ полусгнившихъ деревень, шла обширными полями, какъ бѣлымъ саваномъ, покрытыми снѣгомъ. Вдали чернѣлся березнякъ, съ сухими остовами своихъ деревьевъ и густо сплачивался вѣчно юный еловый и сосновый лѣсъ на бору. Отъ деревни къ лѣсу, по снѣжному полю, прихотливо ви-

лась узенькая полоса проселка, обозначенная пополямъ спасительными во время вьюги и мятели елками, наставленными кое-гдѣ догадливыми мужичками. Дорога—гладкая и свѣтлая—врѣзалась въ лѣсъ и пошла переходить отъ одной стороны просѣки до другой, увеличивая разстоянія, но спасая путешественниковъ отъ толчковъ въ ухабахъ и другихъ непріятностей.

Парень, повернувшись на бокъ, глядѣлъ на дорогу: вотъ чей-то слѣдъ потянулся, изъ лѣсу прямо на колеи, рядомъ съ нимъ другой, третій и чуть не до сотни насчиталъ ихъ наблюдатель.

— Надо-быть, волки выходили сюда!—рѣшилъ онъ, немного подумавъ. Можетъ, за волчицой гнались, а можетъ и на проѣзжихъ напасть хотѣли. А вотъ этотъ слѣдъ уголкомъ вышелъ: стало, сидѣлъ волкъ на дорогѣ и спугнула ихъ проѣзжая почта. Отскочилъ волкъ — посторонился, чтобъ не задѣли, а проѣхала почта—опять на дорогу вышелъ, и сѣлъ опять, и взвылъ, больно страшно взвылъ, по-волчьи... ухъ!...

И можно было замѣтить, какъ парень покрутилъ при этомъ плечами, вспомнивъ знакомыя завыванья вора—звѣря, хитраго и смѣлаго.

— А оттого, что охотниковъ нѣтъ въ нашихъ сторонахъ: избаловался звѣрь и не боится тебя, а еще и бѣжитъ за твоими санями, пока не устанетъ, да не покажешь ему длиннаго хвоста гусевой плети... избаловался звѣрь... Да и человѣкъ такъ, только ты дай ему повадку,—избалуется...

И вслѣдъ за тѣмъ длинный рядъ живыхъ воспоминаній увлекъ наблюдателя и перенесъ его къ дальному прошедшему.

Вотъ онъ семилѣтній парнишко—смирный, нешаловливой;—любимецъ семьи, и въ особенности баловника—стараго дѣдушки. Дѣдушко указку изъ лучинки сдѣлалъ, азбуку изорванную съ полицы досталъ и жолтыя большія очки надѣлъ на носъ. А носъ

такой большой былъ, а борода такая жолтая, длинная и широкая. У дѣдушки мало и зубовъ уже оставалось во рту и старикъ ѣлъ только кисель съ сулоемъ, да горохъ, да изрѣдка кашу; къ мясу по праздникамъ и не приступался: „Не доймутъ зубы! говоритъ,—ѣшьте одни; а я, молъ, киселька съ молочкомъ потреплю: и вдосталь мнѣ будетъ!..“ Сдѣлалъ дѣдушко указку, книгу досталъ (а было дѣло вечеромъ, лучина трещала; отецъ подъ хомутъ войлокъ пришивалъ: старый-то поизмызгался).

— Ну-ко! говоритъ дѣдушко, подь-ко ко мнѣ Петряюшко: залѣзай подъ тябло. Начнемъ-ко съ Божіимъ благословеніемъ! И прочиталъ дѣдушко „Начальное ученіе человѣкомъ“.

— Во имя Отца и Сына и Святаго Духа; аминь. Боже въ помощь мою вонми и вразуми мя во ученіе сіе!..

— Читай, говоритъ, за мной, Петряюшко, да перекрестись: всяко дѣло съ молитвой надо,—вотъ такъ!..“

И зарябили у парня въ умѣ всѣ буквы церковныя и гражданскія по порядку, за нимъ „слози именъ“, всѣ эти: азъ,—ангелъ, ангельскій, архангелъ, архангельскій... Вотъ и числа пришли на память отъ аза до і съ ѐлочкой, а за нимъ и завѣтное написаніе: „по сему же и прочая разумѣвай!“ А вотъ и имена просодіямъ, которыя любилъ парнишко читать встарину всякому встрѣчному сверстнику и даже давать имъ по этимъ просодіямъ прозвища и теперь не утерпѣлъ онъ, чтобы не повторить ихъ съизнова. Твердо остались въ памяти его эти: „оксія, исо, варія, камора, краткая, звательцо, титла, словотитла, апострофъ, кавыка, ерокъ, запятая, двоеточіе, точка, вопросительная, удивительная, вмѣстительная“...

А вотъ перешолъ съ нимъ дѣдушка и къ краткимъ нравоученіямъ. Перепутались они въ головѣ парня еще хуже просодій, но помнитъ онъ и бойко такъ пробѣгаетъ въ умѣ всѣ нравоученія: и „буди благочестивъ, уповай на Бога и люби Его всѣмъ

сердцемъ" и „въ нещастіи не унывай, въ щастьи не разслабѣвай, а скудость почитай матерію осторожныя жизни" и „щастіе есть не постоянно, причиняетъ различные случаи, часто печальные; что терпѣливый сноситъ, о томъ малодушный воздыхаетъ, плачетъ, воетъ" и "будь къ низшимъ привѣтливъ, встрѣчающихся привѣтствуй, привѣтствующихъ воспривѣтствуй взаимно, невѣжу наставь, говори всегда правду, никогда не лги. Сія храни и будеши благополученъ."

— Такъ, смотри, всегда поступай! говорилъ старикъ—дѣдушка. А это все выучи на память, да потверже, чтобы слово въ слово выходило, какъ дьячки „помилуй мя Боже". читаютъ.

До сокращеннаго катихизиса дѣдушка не доходилъ, а выучилъ только молитвамъ. Досталъ въ волостномъ правленіи синей бумаги и довелъ вскорѣ до того, что парень сталъ писать съ любой церковной книги. Въ перемежку учили псалмы наизустъ по старенькой псалтыри, которую выпросилъ дѣдушка у отца дьякона Никонора.

Петръ Артемьевъ повернулся на другой бокъ, взглянулъ на спутниковъ: тѣ все еще спали невозмутимо-сладкимъ сномъ, въ ожиданіи остановки.

Онъ опять увлекся воспоминаніями и припоминалъ живо простую домашную сцену, опять изъ временъ далекаго дѣтства.

Въ избѣ кончилось сумерничанье; домашніе принялись за обычную работу: мать сидѣла передъ ткацкимъ станомъ, ткала синюю серпянку отцу и дѣдушкѣ на рубахи и однозвучно раздавалось хлопанье бердомъ и жужжанье челнока между натянутой основой и утокомъ. Старшая тетка пахтала сметану; другая на дворѣ заставала скотину. Въ куту на коникѣ отецъ дотачивалъ лапоть, а подлѣ него старшій братишко Ванюшка вилъ оборы и гудѣлъ въ ладъ отцу, себѣ подъ носъ, туже самую пѣсню. Старикъ дѣдушка сидѣлъ за столомъ и, опершись руками, читалъ

въ слухъ толстую книгу, Минею. Дѣдушка хворъ уже былъ, совсѣмъ разваливался, и киселя мало ѣлъ: все лежалъ либо на печи, либо на полатяхъ, а вечеромъ только слѣзалъ внизъ и садился за столъ, подъ тяблё.

Ясно, необыкновенно ясно, вспоминается Петру Артемьеву то, какъ онъ расчепилъ лучину, вложилъ въ расчепъ небольшой кусочикъ и, нажавши снизу, выстрѣлилъ въ маленькую сестру, которая тутъ же, у свѣтца, возилась съ кускомъ пирога и котенкомъ. Помнится ему, какъ шибко опрокинулась назадъ сестренка и залилась слезами, какъ бойко прыгнулъ тощій котенокъ съ лавки на переборку, какъ разсердилась мать и встала изъ-за стана, желая отомстить обидчику, и какъ вмѣшался въ эту расправу добрый старикъ-дѣдушка, который, ухватилъ за руку парня, притянулъ къ себѣ и оговорилъ невѣстку:

— Не замай, не дамъ!.. Забьете вы у меня парня, что Ванюшку старшаго. Побаловалъ немного: ну, что бѣды?—на то молодъ еще. Вѣдь глазу не выкувырнулъ, синяка не налѣпилъ—пройдетъ, заживетъ до свадьбы!...

— Ты завсегда, батюшко, потатчикъ: твое дитя—не замаемъ! замѣтила было обидчиво невѣстка, но прикрикнула на парня, пригрозивъ кулакомъ и примолвивъ: „Ужо, я тебѣ!.. дѣдушка спать только ляжетъ!—Нахлопаю такъ, что небу жарко будетъ!

— А ты меня, Петряюшко, разбуди,—поругаемся! отвѣтилъ дѣдушко и оставилъ книгу.

— Ты сестренку-то не бей только, а поиграть можно, на то вѣдь вы у насъ и ребята малые. Разскажи-ко мнѣ лучше, баловникъ, про вечорошное: какъ это будетъ по твоему по разуму, коли мужъ съ женой, братъ съ сестрой, шуринъ съ зятемъ. Сколько народу ѣхало?

Старикъ улыбнулся, весело смотрѣлъ въ глаза своего балов-

ника, который, помня вчерашное толкованье, не замедлилъ отвѣтомъ, что было не шестеро, а всего только трое.

— Ну, а какъ же, коли такъ?

На минуту-было задумался мальчикъ, но тотчасъ спохватился: глазенки запрыгали, голосокъ зазвучалъ громче обыкновеннаго. Замѣтно ребенокъ спѣшилъ отвѣтомъ, чтобъ угодить дѣдушкѣ, спѣшилъ до того, что дыханье захватывало, шейка вытянулась, и толково отвѣтилъ на радость старику и на улыбку матери, у которой отошло уже сердце — она не сердилась.

— Да вотъ коли тятька, да мамка, да дядя Матвѣй, что въ Осеново уѣхалъ — такъ и стало ровно трое.

— А ну-ко, молодецъ, отгани теперь новенькую: „шурина племянникъ — какъ зятю родня?“

Мальчикъ крѣпко задумался и губки надулъ и глаза нахмурилъ, почесываться началъ, вскинулся на столъ локтями: видно, крѣпко хотѣлось опять угодить старику, потѣшить его своей доморощеной сметкой.

Бабы оставили на время работу и смотрѣли, какъ мучился и хитрилъ парнишко, а дѣдушка молчитъ и прикрикнулъ на ту изъ нихъ, которая, не выдержавъ, хотѣла-было надоумить парня.

— Еще бы тебѣ-то, мать, не знать эку хитрость: пусть молодякъ самъ своимъ толкомъ дойдетъ! Онъ вѣдь у меня, вишь, какой разумной. Ну-ко ну-ко, Петрованушко, понатужься, да поразмысли: кого, молъ, дѣдушко-то зятемъ зоветъ въ избѣ, да и шуринъ-то, молъ, кто. Понатужься-ко: смекни, Петрованушко, смекни—не обидь меня!...

Бойкая, живая улыбка показалась на лицѣ отгадчика; онъ хотѣлъ-было уже говорить, но схватился скоро, и голосокъ порвался. Дѣдушка ободрялъ его:

— Не робѣй! скажешь. Знаю—скажешь! Ну-ко, ну-ну!... вздынься, Петрованушко!

— Да вонъ, дядя Матвѣй, ину пору тятьку шуриномъ зоветъ за-глаза, стало самъ-отъ онъ дядѣ Матвѣю зятемъ будетъ. Ну... а я-то... коли дядѣ племянникъ, отцу-то сынъ.

— Эку толковитость послалъ намъ, Господи, эку благодать. А вы еще, бабы, бить парня добираетесь. Да экаго разумника, хоть сейчасъ во священники — не опрокинется. Во-какъ! Ай-да пѣтой, ай-да сердце! На-ко, на тебѣ!

И старикъ крѣпко поцѣловалъ внука въ голову и далъ ему прянишнаго коня съ золотой гривой, да обѣщался еще изъ села каленыхъ орѣховъ принести.

— Добродѣтель былъ старикъ! да померъ, прибралъ Господь его святую душеньку,—давно ужъ, больно всѣ ревѣли!—думалъ парень, и многія горячія слезы покатились одна за другой по его лицу.

Парень спохватился: не увидѣли бы эти слезы его спутники, и опять бы не обозвали его бабой, теленкомъ — сосунчикомъ, но все еще крѣпко, невозмутимо крѣпко, тѣсно прижавшись одинъ къ другому, спали привычные къ дорожному дѣлу питерщики. Одинъ обмахнулъ рукой лицо свое и откинулъ эту руку прямо на лицо сосѣда; тотъ только вздрогнулъ, но не отвелъ руки, которая такъ и осталась тутъ, медленно спускаясь по бородѣ на грудь сосѣда, который, задыхаясь отъ наслажденія, щолкалъ губами и разъ даже зубами скрипнулъ.

Все это почему-то разсѣяло тяжолыя мысли Петра Артемьева: онъ улыбнулся сначала слегка, а потомъ и совсѣмъ вслухъ. Но некому было оговорить его въ этомъ движеніи; даже ямщикъ, свалившись съ облучка въ кузовъ, забилъ свою лохматую голову подъ сѣдоковы ноги и, какъ казалось, упорно старался хранить свое сонно-лѣнивое молчаніе.

Теперь почему-то наплывавшія воспоминанія становились веселѣе, хотя и не менѣе оживленными. У мечтателя даже пріятно,

защекотало сердце: воображенію его рисовались послѣднія сцены, ближайшія къ настоящему времени, и именно къ той порѣ, когда подростки-ребята начинаютъ на дѣвокъ поглядывать, бычкомъ задѣвать при первой встрѣчѣ и заигрывать съ ними щипками и щекотками. Дѣвки хохочутъ, ругаются, бьютъ ребятъ по рукамъ и, проходя мимо, хотя и закрываются рукавкомъ, но все-таки задѣваютъ ребятъ сами. А кто изъ ребятъ побойчѣе, то любая орженуха не постыдится сама затронуть его, что есть силы ударивъ вдоль спины мясистой ладонью. Ожжотъ у парня это мѣсто ударъ и побѣжитъ онъ за дѣвкой, словно угорѣлый, поймаетъ и вдоволь, до сверхъ-сыта, нащекотится, нащиплется.

Къ охотѣ подобнаго рода отчего-то не лежало у Петрухи сердце, ребята его оговаривали — стыдили:

— Что не затронешь — ишь, озорницы какія! А лихо, Петруха,—ей-Богу, лихо!... Такъ — али самому щокотно станетъ. Ты только начни; начни: не отстанешь ни въ жисть, больно полюбится. Ишь, я какъ!...

И парень, для примѣра Петрухѣ, свернувши голову на бокъ, стрѣлой ринулся въ кучу дѣвокъ, искоса поглядывавшихъ на нихъ во все время бесѣды.

Бойкое движеніе парня немедленно сопровождалось визгомъ, тѣмъ несноснымъ визгомъ, отъ котораго долго потомъ шумѣло у Петрухи въ ушахъ и учащонными ударами, которыя бѣсятъ храбреца-парня, и онъ начинаетъ рушить и опрокидывать все окружающее, изрѣдка поправляя длинные волосы, падающіе на глаза. Громче и чаще раздается визгъ, и учащоннѣе сыплются удары, и щокотнѣе становится самому парню.

— Во-какъ, по нашему, по-заморскому! хвастался парень Петрухѣ, вырвавшись изъ кучи дѣвокъ и едва переводя дыханіе отъ усталости. Ужо, дѣвки, хуже будетъ, и не выходите лучше: всѣхъ обломаю, право слово! да еще Гришуху подговорю — только

пухъ полетитъ. Вотъ, мое слово крѣпко! Особо тебя, Параха, до смерти защекочу...

— Мы тебѣ бѣльмы-то повыцарапаемъ — сунься только! — пригрозились дѣвки издали (но не испугаютъ парня: не таковской).

— Что-жъ Петруха-то насъ не затронетъ, что быкомъ-то ходитъ, словно сычъ уставился? Поиграй, Петрованъ! Толкни его къ намъ, Гаранька, что онъ, словно, медвѣдь?

— И впрямъ, прà Петруха! поди-ко къ намъ, ишь, какія зубастыя, а лихо: ты только попробуй!.. Завсегда самъ начинать будешь!... нали знобитъ!

Гаранька, покрутивъ плечами, толкнулъ-было пріятеля, но тотъ уперся и устоялъ на своемъ.

— Боязно, Гаранька! Не замай: дерутся-то больно, — зря, вочто ни попало! Нѣтъ, ужъ лучше такъ погляжу, да и тятька узнаетъ — ругаться станетъ.

Какъ говорилъ и думалъ Петруха, такъ старался и дѣлать. Дѣвки щипали его, но не получали въ отвѣтъ щекотокъ. Парень увертывался, отбивалъ щипки и ругался на досаду дѣвокъ, вызывая ихъ на возможныя насмѣшки и оговариванья.

Такъ тянулось дѣло все лѣто и зиму. Дѣвки отступились отъ него и не затрогивали больше. Только одна изъ ихъ больше другихъ обращала вниманія на робкаго парня, который даже и въ пѣсняхъ не участвовалъ, а у хороводовъ и на посѣдкахъ стоялъ столбъ-столбомъ. Изрѣдка только, и то насильно, успѣвали ребята втащить его въ кругъ и заставляли медленнымъ, медвѣжьимъ шагомъ, противъ воли, ходить въ немъ. Но какъ только доходилъ до Петрухи чередъ горѣть на камушкѣ, парень вырывался, опускалъ оба платка, державшіе его въ кругѣ, и опрометью бѣжалъ вонъ изъ избы или изъ хоровода. Все это почему-то нравилось той дѣвкѣ, которая не оставила его безъ привѣта и вниманія, хотя тоже была большая охотница до щипковъ и щекотокъ, и

едва-ли была не побойче всѣхъ остальныхъ. Нельзя сказать, чтобы особенно нравилась она и Петрухѣ, хотя и казалась сноснѣе другихъ; по-крайней-мѣрѣ не надоѣдала ему, не приставала лишній разъ, безъ пути и толку. Лицо ея тоже не представляло ничего особеннаго, что могло бы привлечь парня: по обыкновенію оно выпеклось блиномъ, немного пригорѣлымъ, румянымъ; круглилось, лоснилось, пухлилось, такъ же какъ блинъ, но блинъ плохо испеченый, и потому все въ немъ слилось и заплыло жиромъ.

Разъ подошла эта дѣвка къ Петрухѣ, и пожалѣла, что у него не ростетъ борода.

— Погоди, выростетъ! — бухнулъ Петруха.

— У тебя чорная будетъ, а вонъ у Гараньки, такъ у того рыжая пошла, такая-то... клочьями.

— Такой, стало, надо быть! отвѣтилъ парень.

— У тебя чорная будетъ,—опять приставала дѣвка.

— Вѣстимо, чорная, коли волоса задались такіе.

— Тебѣ она пристанетъ: ты не скоблись.

— Для-чя скоблиться, пусть сама ростетъ: не стану скоблиться.

— То-то, ты Петряюшко, пусти ее: она тебѣ пристанетъ. У тебя и волоса-то кужлеватые.

Петруха не нашолся, что отвѣчать ей на это, и промолчалъ, уперши глаза въ землю и боясь поднять ихъ на шуструю, бойкую дѣвку. Изругалъ бы онъ ее, да зачѣмъ-подумалъ, когда такія рѣчи говоритъ? Но не смекнулъ парень, не дошолъ до того, чтобы догадаться, къ чему и отчего говорила дѣвка такія рѣчи.

Другой разъ подъѣхала она къ нему уже съ упреками.

— Что это ты, Петруха, со мной не играешь? Гляди у всѣхъ дѣвокъ по парню, а меня на тебя наущаютъ дѣвки, да и ребята ваши тоже: тебѣ, слышь, Петруха достался.

— Для-чя достался, зачѣмъ достался? я не дѣленой!—былъ

отвѣтъ Петрухи, который опять потупился и опять хотѣлъ было изругаться, но одумался: „за что ругаться,—пусть пристаетъ, меня не убудетъ“ — рѣшилъ онъ, и опять замолчалъ.

Но не отставала дѣвка:

— Ты хоть бы въ горѣлки игралъ, коли на камушкѣ-то горѣть стыдишься...

— Глянь-ко, сапоги-то какіе, вонъ они!

И Петруха показалъ дѣвкѣ свои чудовищные отцовскіе сапоги.

— Не запутаешься, не упадешь.

— Нѣтъ, упаду; я бѣгать не шустрой: всѣ ребята скажутъ.

— Сними ихъ, легче будетъ!

— А ногу занозишь?

— Эка, паря, ногу занозишь! — впервые, чтоли?

— А то нѣтъ, не впервые.

— Ишь, вѣдь, ты словно баринъ у меня какой.

— Слышь, Матренка, отстань! — не ругайся: пошла прочь. Слышь — дура: не щокоти — чортъ! Не дури: я не обхватанъ!.

Довольно спустя послѣ этихъ объясненій, дѣвка явилась къ Петрухѣ уже съ болѣе рѣшительными и простосердечными объясненіями.

Она начала стороной:

— Ты мнѣ, Петруха, сегодня во снѣ привидѣлся: словно бы ты медвѣдь, а я медвѣдица, и мы вмѣстѣ бы съ тобой у твоихъ въ избѣ кашу грешневую съ молокомъ ѣли; а ты бы все урчишь, а я бы все говорю, да рукой бы тебя эдакъ... да рукой бы по мордѣ-то...

— Не тронь, что ты дерешься-то, не дури, щокотно! — бухнулъ Петруха.

— Я тебѣ только сонъ-то разсказываю, а не дерусь; что

ты огрызаешься-то? Ишь, словно и впрямъ медвѣдь! Ты, Петрованушко, не ругайсь, я, вѣдь, любя.

— Что мнѣ ругаться? ты только не замай.

— А что, Петрованушко, тяжело у васъ бабамъ-то, много работы поди? Мать-то измывается?...

— Мать смирная — никого не замаетъ. А бабамъ только и дѣла, что мозоли на глазахъ насыпать. Къ одной вонъ, къ Лукерьѣ-то, куричья слѣпота, баютъ, привязалась за то.

— Коли бъ я за тебя пошла, да полюбилась — не билъ бы ты меня? вкрадчиво-льстивымъ голосомъ спросила дѣвка.

— На што бить? я не драчливъ, я смиренъ.

— А полюбилъ бы ты меня?

Дѣвка помолчала, выжидая отзыва; но парень упорно не давалъ отвѣта, и швырнулъ сапогомъ попавшійся ему подъ ногу камень, который, далеко пролетѣвъ, звонко ударился въ валявшееся на дорогѣ худое лукошко.

Парень усмѣхнулся; поднялъ глаза на дѣвку, вспыхнулъ и опять потупился.

— Полюбилъ бы ты меня? продолжала, приставая, дѣвка. А ты мнѣ изо всѣхъ робятъ полюбовнѣе пришолся: вонъ и во снѣ ужъ начала тебя видѣть...

У дѣвки уже начало захватывать дыханіе. Послѣднія слова она сказала отрывисто, и даже, какъ показалось парню, плаксиво.

Онъ опять робко поднялъ глаза и, убѣдившись въ истинѣ своего предположенія, снова потупился.

— Какбы не на улицѣ, я бы тебя, Петруша, поцѣловала, мнѣ что?...

— Отстань!... отступись! могъ только крикнуть Петруха, и, отчаянно махнувъ рукой, повернулъ къ избѣ, но оглянулся:

Дѣвка стоитъ на прежнемъ мѣстѣ, и ее, сколько онъ могъ замѣтить, начинаетъ подергивать.

— Вотъ, думаетъ Петруха, сейчасъ обольется. Слышь-ко, Паранька! Ты на улицѣ-то не приставай, а то бабы наши заприметятъ — проходу покорами не дадутъ. Не плачь, — слышь! Вонъ Ключариха идетъ — увидитъ. Отстань, я тебѣ говорю!...

При слѣдующей встрѣчѣ глазъ-на-глазъ, опять Паранька остановила Петруху:

— Ты что это все словно быкъ, али бо медвѣдь?... чортъ чортомъ! Ишь, курчявой одмѣнъ!—говорила она, однако тѣмъ ласково-браннымъ тономъ, который только и можно подмѣтить въ ласкахъ простыхъ русскихъ людей.

Петруха улыбнулся и нашолся:

— Я, братъ, что? Я не сердитъ, я ласковъ! Вонъ и бабы наши обозвали раздѣвульемъ: ни на парня, молъ, я не похожъ, ни на дѣвку.

— А что жъ завсегда огрызаешься коли не начну съ тобой говорить?

— А что ты при людяхъ-то пристаешь? Осудятъ! Ишь, вѣдь у насъ народъ-то какой, особѣ бабы-то.

— Всѣ такіе! что народъ? небось, другіе-то ребята не по твоему — имъ трава не рости, и знать не знаютъ и вѣдать не вѣдаютъ.

— Тѣ ребята шустрѣй меня — самъ знаю, они мнѣ не указъ.

— Да ты хоть не ругай меня, не лайся. Что все лаешься-то?

Дѣвка хоть бы опять въ слезы.

— Ну, ладно-ну, не стану, нишни только!

Послѣднее объясненіе пріятно подѣйствовало на парня. Онъ круто повернулъ дѣло, и вотъ какъ разсуждаетъ теперь объ этомъ переломѣ.

— На село пришолъ къ обѣднѣ. Народу гибель... ярманка стояла. Лавки открыты. Въ карманѣ двугривенный былъ вуплю, молъ, ярмолію, али платокъ, молъ, Паранькѣ. И то, молъ, платокъ.

А ярмолію-то, молъ, и у Гараньки можно выпросить, коли нада будетъ. Взялъ, да и купилъ платокъ, пятакъ еще сдачи дали. Баской платокъ купилъ. Когда отдалъ, обѣщала поцѣловать за него, коли, молъ, на задахъ встренемся, да никто не увидитъ. И что это сталось такое? Со всѣмъ вѣдь дѣвка-то на сердце увязалась; вовсе краше всѣхъ; а въ платкѣ-то бы и еще лучше себя-то самой. „Я, говоритъ, только по праздникамъ стану его надѣвать, а скажу, что сама купила. Во снѣ увидѣлъ Параньку: и шолъ бы я къ нимъ въ избу благословенья просить; ожениться, молъ, захотѣлъ. Сто рублевъ давай говорятъ, выводнаго; дѣвка-то больно хороша меньше-де взять нельзя. А гдѣ взять эки деньги; прошу позбавить: „нѣтъ, говорятъ, и не ломайся, — мы не навязывали, — самъ пришолъ". Я такъ и такъ! — въ слезы, да ручьемъ, да ручьемъ и разливаюсь. Опомнился, водой — отливаютъ, совсѣмъ одурѣлъ... Господи прости, молъ, великія мои прегрѣшенія! Поутру всталъ, да и разсказалъ матери: „такъ слышь, либо-де дождь, либо горе какое." А невѣстки-таки стоятъ на своемъ: „Не даромъ-де Паранька раза по три забѣгаетъ къ намъ, не съ-пуста же дѣвка все про Петрована провѣдываетъ; а прежъ и глазъ, бывало, не казала въ избу. А тутъ вонъ и платокъ приносила показывать, да хвалилась. И платокъ-то этотъ смотри не съ-проста..."

И подробно рисуются ему остальныя сцены:

— Не ты ли, соколикъ, купилъ ей платокъ-отъ? спрашивала мать.

— Пошто я ей куплю, сестра что-ли?..

— А на селѣ былъ, куды двугривенный-то дѣлъ: баялъ гармонію купить, а запрежъ и все орѣховъ приносилъ? съ пустыми-то руками и домой не ходилъ — подхватила старшая невѣстка.

— Двугривенный-то этотъ на дорогѣ обронилъ, въ орлянку играли, такъ и обронилъ — хитрилъ-было парень, но спохватился:

— Да тебѣ что̀ больно до моихъ-то денегъ заботы? знала бы лаялась съ Матреной-то вотъ, а то, вишь, вездѣ поспѣла. Что я тебѣ — сказывать что ли стану, куда деньги-то свои дѣваю, дожидай, какъ же!..

— Да что вы и впрямъ, бабы, пристали къ нему? — заговорилъ отецъ. Благослови его, Господи, коли сталъ входить въ толкъ. Пора. На десятокъ-то восьмой никакъ годокъ доходить сталъ: такъ ли я говорю?

— Считай самъ, батько: наканунѣ вешняго Егорья родился, а теперь, вонъ, и Евдокеи на дворѣ — толковала мать.

— А вотъ что̀, Петрованушко! — заговорилъ отецъ снова, и, пригорюнившись, пытливо глядѣлъ въ лицо сына.

— Семья у насъ и безъ того большая: старуха хвора, да и самъ-отъ я похилѣлъ, немогота одолѣла... Землицой насъ міръ обидѣлъ — самъ вѣдаешъ: отрѣзали, почесть, все песокъ для пожни-то, да и луга-то угломъ на сватѣловское болото вышли. Хоть волкомъ вой; говядинки-то вотъ съ Рождества не видали. Охъ, тяжоло, Петрованушко, больно тяжоло! И никакъ ты тутъ не приспособишься.

Старикъ, махнувъ рукой, пріумолкъ.

— Какъ не тяжело? что и говорить, батько,—братъ-то въ осеняхъ померъ — однимъ радѣльникомъ меньше стало. Ленъ не родился, и бабамъ нечего дѣлать. Матушка все на лихоманку клеплетъ, и самъ-отъ ты... какъ не тяжело! Накачались печали— видимо.

Старикъ отецъ, во все время рѣчи сына, молчалъ, и только подмахивалъ, какъ бы въ тактъ, рукой, и глубоко и тяжело вздыхалъ.

— Я, батюшко, хоть лобъ ты взрѣжъ, не приложу разуму, ѣкъ бы намъ тутъ изловчиться.

— Вотъ какъ смекаю, кормилецъ! По моему, вотъ это какъ ходитъ. Начать съ того, что вотъ братъ Елесей, дядя, жилъ ъ въ Питерѣ долго. Я оженился на то время, ребятъ возвелъ, онъ все жилъ... да стосковался, знать, по родинѣ — пріѣхалъ ь вѣдь и живетъ теперь что твой господинъ, али бы тамъ рмистръ: все есть, все что захочешь. Безъ самовара не встаетъ спать не ложится; шуба-то на немъ не овчинная, а волчья. и въ купцы, баетъ, записаться можно, слышь, да не хочетъ. лять же, тепереча, Петрованушко, и весь-то народъ нашъ дере-нскій, все вѣдь въ Питеръ потянулся. Поди-ко и ты, — право! то мы эдакъ-то будемъ?

— Коли твое благословенье, батюшко, будетъ — ладно: ечить не стану.

— Не неволю я тебя, Петрованушко. Подумай самъ, своимъ лкомъ размысли: плотницкая тебѣ работа, али бо что, не чужая, кая. За топоръ-отъ тебѣ браться — не учиться стать. Тамъ ть наши ребята въ подрядчикахъ... не откажутъ. Вонъ, хоть, взять Семена Торинскаго.

— Ладно, кормилецъ, смѣкаю, да и нашихъ ребятъ питер-иковъ поспрошу, какъ это у нихъ тамъ ведется.

И съ этихъ-поръ носился онъ съ мыслью о Питерѣ, на ко-рый соблазнили его заѣзжіе гости обиліемъ работъ во всякое емя, а главное—хорошей платой и дешевизной въ паю съ ними. адумываться тутъ было не надъ чѣмъ. Если всѣ идутъ въ олицу, то и Петруха не лыкомъ шитъ.

Парень совсѣмъ согласился на дальную дорогу и сказалъ ъ этомъ отцу твердо и рѣшительно. Отецъ сначала-было началъ лебаться, и одобрялъ выборъ нынѣшней же зимы, и именно ижнія недѣли Великаго поста, и нѣтъ: совѣтовалъ отправиться

будущей зимою. Колебался старикъ между выборомъ, и рѣшилъ, по сыновнему, не откладывать дѣла дальше поста — къ тому же и попутчики подъ руками, а на будущую зиму будетъ ли еще кто изъ нихъ: Богъ вѣсть. Съ своей стороны и парень остался твердъ въ исполненіи намѣренія, и только разъ, какъ-будто поколебался немного, когда за нѣсколько дней до отъѣзда, встрѣтилъ Параньку и увидалъ на глазахъ у ней слезы:

— О чемъ рюмишь, али кто разобидѣлъ?

— Нѣтъ, кому обидѣть? Ты-то вотъ... слышала... ваша старшая невѣстка сама забѣгала... въ Питеръ...

Она не могла говорить дальше, глотая слова и слезы.

— Ну, такъ что — что въ Питеръ? пріѣду небось, не съѣдятъ тамъ.

— Да ждать-то придется — можетъ и не вѣсть-что.

— Подождешь!.. это дѣло твое. И то дѣло — опять особое. То перво-на-перво надо... а хныкать станешь, уйду. Сказалъ — терпѣть не люблю ефтихъ слезъ самыхъ.

Петруха послѣднія слова выкрикнулъ громко, въ сердцахъ.

— Не стану! вотъ-тѣ Христосъ не стану! — могла только скоро проговорить дѣвка и угодить парню.

— Ты ужо не выдешь ли къ кузницамъ? робко спросила она его, немного помолчавъ.

— Пошто къ кузницамъ?

— Выйдешь — такъ ладно, а не выйдешь — такъ какъ хошь, — не неволю.

— Ладно, выйду. Да смотри-опять невѣстка бы не запримѣтила.

— А ты будто топоръ понесъ показать, заклепку молъ, сдѣлать.

— Ну, да ладно — ступай!

Вечеромъ, во время деревенскаго сумерничанья, Петруха

дѣйствительно былъ за кузницами и, конечно, нашолъ уже тамъ Параньку. Она подала ему мѣдное колечко и просила выслать изъ Питера другое, хоть такое же.

— Нашто мнѣ колечко?

— Да возьми, дурашной, на память возьми. Тамъ вѣдь, чай, всѣхъ попризабудешь — и меня...

— Опять ревѣть! сказалъ — уйду: слушайся!

— Какъ не ревѣть-то, Петрованушко?

— Не завтра ѣду, черезъ недѣлю ѣду. Колечко-то на-вотъ: возьми назадъ.

— Да, дурашной — помнить станешь. Вотъ и Лукерья съ кузнецовскимъ Ондрюхой—такъ же; а пріѣхалъ домой—оженились.

— Я жениться не хочу: возьми колечько-то!..

— Да что-то это, батюшки, родители мои! И не баженникъ бы ты, а такой дурашной. Наши дѣвки всѣ вѣдь такъ, другіе ребята запрежъ покупаютъ колечко-то; поносятъ съ недѣлю и и помѣняются.

— Ладно, ну, давай сюда! Только мотри никому не сказывай, а то вонъ съ платкомъ-то пришла къ намъ въ избу, да и разчуфырилась: эка невидаль.

— Не скажу, Петруня, не скажу, — знай это. Съ камнемъ въ воду кинутъ, гробовой доской накроютъ—не скажу, помру—не скажу...

— Что ты орешь-то, дура, услышатъ... Я пойду...

— Погоди! — поцѣлуемся!..

— Я, братъ, боюсь съ чужими-то цѣловаться, сейчасъ губы опрыснетъ, послѣ и присѣкай кремнемъ. Я только со своими цѣлуюсь, и то только въ Христовъ день... Погоди, можетъ подъ вѣнецъ пойдемъ — тогда ужь.

— А подъ вѣнецъ-то пойдешь ты со мной?

— Что Питеръ скажетъ,—туда допрежъ надо. А то батюшко

благословенье обѣщалъ, да свадьбу играть нечѣмъ; погоди, разживусь черезъ годъ... Ты смотри у меня, Паранька, молись за меня: я тебѣ бусы пришлю.

— Да поцѣлуемся, желанный, дорогой мой, поцѣлуемся, хоть разъ-отъ. До сватьбы-то долго ждать.

— Отстань ты! сказалъ: не стану, — опрыснетъ: послѣ присѣкать надо. Невѣстка запримѣтитъ — оговоритъ. Ты смотри у меня, съ ней не водись, какъ волка бѣгай; языкъ у этой ехидной бабы острой, настоящее, значитъ, какъ бритва. Отъ нее дальше— и меня не ссорь. Я смиренъ — боюсь осерчать...

— Повременилъ бы ты, Петрованушко, ѣхать-то, что зря-то?.. скоро больно. Только-было начали мы съ тобой жениться — таково ладно—ты-то не серчалъ и я бы ужъ попривыкла.

— Нельзя временить. Ондрюха, да Митюха торопятъ: „собирай-слышъ всю путину; да скорѣй, ждать, молъ, не станемъ; а ше-де дѣло такое. Повременилъ бы.

— Нельзя!—и парень махнулъ рукой безнадежно.—Коли дѣлать, по мнѣ такъ дѣлать; а сталъ клянчить, да ломаться — все изъ рукъ поплыветъ.

— Да что тебѣ больно Ондрюха-то, да Матвѣй-отъ далась? Будто ужь на нихъ-то и міръ клиномъ сошолся.

— Какъ порѣшили — такъ, стало, и будетъ. Одно надо понимать: кабы въ моготу и одинъ бы, вѣстимо, доѣхалъ.

И онъ опять безнадежно махнулъ рукой.

— Ты, Петрованушко, хоть бы въ экую пору выходилъ бы сюда: наглядѣлась бы я на тебя вдосталь, налюбовалась бы.

И сдерживаемыя насильно слезы, найдя свободный доступъ теперь, полились обильно и опять разсердили парня.

— Я, братъ, плакать не стану по твоему; а коли станешъ эдакъ... и ходить сюда не буду... Прости, пора никакъ. Наши, чай, поднялись — ждутъ. Сумку шью.

„Въ избу пришолъ — думалъ парень — и никто не узналъ; батюшко только спросилъ: что, молъ, совсѣмъ ли поладилъ съ ребятами-то? Совсѣмъ-де, батюшко.“ А остаться не думалъ: наглядѣться-то на тебя подольше не соблаговолишь?“ Эхъ, пропадай, молъ, моя голова! куды кривая не вывезетъ. Совсѣмъ, молъ, батюшко, порѣшилъ, ѣхать, вотъ-те грудь и сердце: благослови!

— Что ты, парень, толкаешься-то? да подъ самое сердце попалъ, насилу отдышался. Аль заснился Петруха, а, Петруха?.. бредилъ словно бы!.. Петруха, слышь!..—раздался неожиданный голосъ надъ ухомъ, разогнавшій всѣ мечты и думы парня, потому-что этотъ голосъ былъ голосъ одного изъ его дорожныхъ спутниковъ.

Парень не замѣтилъ за собой, какъ послѣднія слова безнадежной рѣшимости произнесъ онъ вслухъ и, увлекшись недавней живой картиной, махалъ даже руками, и въ послѣдній разъ такъ сильно, что задѣлъ за спавшаго спутника.

Этотъ послѣдній, проснувшись, будилъ товарища, на томъ основаніи, что впереди на дорогѣ виднѣлись уже чорныя, старыя избы, скучившіяся въ одно мѣсто и между ними бѣлѣлась большая каменная церковь. За церковью рядъ чорныхъ избъ потянулся вдоль на цѣлую версту; сперва передъ въѣздомъ виднѣлись кресты кладбищенскіе, далеко влѣвѣ бѣжала въ село почтовая столбовая дорога. Начались бани, за ними избушки и избы: одна совсѣмъ развалившаяся, другія новыя и большія. Одна совсѣмъ покривилась и чуть не вросла въ землю со своимъ сгнившимъ крылечкомъ, которое вело къ загрязненной, захватанной двери. Надъ дверью красовалась высохшая елка, а внизу извѣстная надпись гражданскими буквами для грамотныхъ.

— Тпру!—закричалъ тотъ, который прежде другихъ проснулся, и растолкалъ товарища и ямщика, напомнивъ обоимъ, что пріѣхали въ Вожерово.

— Тпру!—кричалъ онъ и ухватился за возжи.

— Проѣхать эко мѣсто!... аль не привычны? Надо же, вѣдь, отвальную-то запить — иззябли совсѣмъ...

Путешественники полѣзли изъ саней.

— А чтожъ ты-то, Петруха, пойдемъ! — посогрѣемся.

— Спасибо, не охота!..

— Аль не пьешь?

— Не начиналъ еще, братцы: претитъ.

— Въ Питерѣ, братъ, научишься; тамъ безъ того нельзя— да и на такой же промыселъ ѣдешь. Хоть пивка, али медку? небось, заплатимъ.

— И не просите, — не стану!.. негожò.

— Твоя воля, какъ самъ знаешь, не неволимъ! Была бы честь приложена, а отъ убытковъ Богъ избави.

— Губа толще — брюхо тоньше!—приговаривали товарищи Петрухи, направляясь въ завѣтную дверь, у которой и Богъ вѣсть сколько разъ перемѣнялись петли.

Домишко этотъ совсѣмъ развалится; откупъ живо — въ недѣлю — выстроитъ новый на томъ же самомъ мѣстѣ, и мужичокъ останется вѣренъ до гробовой доски и новому питейному, какъ былъ вѣренъ старому. Идетъ онъ въ него, по прежнему, также охотно, сохраняя въ умѣ то убѣжденіе или родъ повѣрья, что „какъ кабаку ни гнить, какъ ни горѣть: отъ овиновъ ли, или отъ какой другой бѣды, а стоять ему скоро опять на старомъ мѣстѣ. Словно мѣсто это клятое! А изъ стараго лѣса только и можно жечь, что въ одномъ кабакѣ, въ другой избѣ нельзя, не ладно.“

Путники наши медленно — мучительно-медленно подвигались впередъ, благодаря разбитымъ ногамъ рабочихъ клячъ, которыхъ нанимали они подъ себя за баснословно-дешовую цѣну.

Но вотъ они въ Москвѣ — пришли на чугунку, которая

зить рабочихъ людей за три рубля въ двое сутокъ. Здѣсь вичокъ получилъ отъ бывалыхъ людей—спутниковъ, кой-какія ставленія, въ родѣ слѣдующихъ:

— Вынь пачпортъ и держи въ рукахъ! Становись за рогатку ськомъ и жди череду! Деньги тоже въ руки возьми; здѣсь — ньги впередъ берутъ. Да смотри крѣпче держи деньги-то — родъ здѣсь столичной: зазѣваешься — не дадутъ маху. А пошолъ къ окну: „въ Петенбургъ, молъ, — вотъ пачпортъ и ньги!“ Возьмешь билетъ, и ступай въ сторонку и жди насъ— дойдемъ — покажемъ дальше.

— Здѣсь, вѣдь, во всемъ порядки.—Зѣвать учнешь—отяпаръ такъ, что и жизни не радъ будешь. Ну, съ Богомъ!...

— Упрись же, Петруха, упрись покрѣпче, придерживай-ко ередъ, къ окну-то поближе, а то ночевать придется! Понажься. Петруха, посильнѣй, вотъ такъ!.. упрись еще, упрись... ощрялъ наставникъ новичка, который радъ былъ, при такомъ обномъ случаѣ, порасправить косточки и показать свою домощеную силку.

Рогатка затрещала. Напиравшій народъ волной повалился къ ѣнѣ, волненіе замѣчено солдатомъ-жандармомъ.

— Ты что это, капусная борода, лѣзешь-то? чередъ на то гь! Что толкаешь-то?

— А не мы, ваше благородье, сзади прутъ! — оправдылся ловкій питерщикъ, и пересталъ напирать.

— То-то—не мы! Что толкаетесь-то, вы, сиволапые! обрался солдатъ уже къ заднимъ, но оттуда слышались голоса:

— Да ты бы напередъ-то смотрѣлъ; вѣдь, это вонъ тотъ, что на насъ указалъ; онъ подущаетъ. Вонъ смотри, какъ ереди землякъ-отъ его мѣситъ.

И въ самую живую, задорную минуту своей разгулявшейся ѣбрости, новичокъ-Петруха получилъ приличное награжденіе;

но билетъ взялъ-таки, и сидѣлъ вскорѣ въ вагонѣ, который передъ отъѣздомъ затворили огромными дверьми и засунули тяжолымъ засовомъ. Сдѣлался мракъ; слабый свѣтъ проникалъ только сверху. Чтобы добиться впередъ, нужно было сзади лѣзть черезъ ноги и головы, черезъ рядъ многихъ скамеекъ, ежеминутно оступаясь и получая пинки и ругательства. Но Петруха добирался, не смотря ни на что и смотрѣлъ — не насматривался на мѣдную силу, которая волокла ихъ паромъ до Питера. Къ услугамъ его предлагались сбитень, квасъ, пироги съ творогомъ, выносимые изъ ближнихъ деревень — но Петруха купилъ — и закаялся: на все стоятъ дорогія цѣны, какихъ онъ не слыхивалъ, и даже во снѣ не видывалъ.

Машина стучала, визжала. Вагонъ мгновенно наполнялся теплотой, когда его запирали засовами и мгновенно вывѣтривался, до морозной температуры окрестнаго поля, когда засовъ вынимали и отворяли двери на станціи. Петруха забился подъ лавку на полъ (на лавкѣ спать нѣтъ никакой возможности), — и спалъ мертвымъ сномъ до самаго почти Петербурга.

Не удивилъ Петербургъ своимъ чуднымъ видомъ съ дороги этотъ товарный поѣздъ. Живымъ существамъ, находящимся на немъ, суждено было любоваться въ послѣдній разъ спинами своихъ сосѣдей, которые, можетъ быть, уже и порядочно надоѣли другъ другу, и только слышать, какъ машина яростно и пронзительно завыла, перестала на время, опять завыла, опять перестала. Въ вагонѣ сдѣлалось темно, машина крикнула раза три, и такъ безнадежно, что на лица всѣхъ пассажировъ нагнала веселую улыбку. Посыпались кое-какія остроты, въ родѣ извѣстныхъ: „устала кормилка, — оттого и взвыла“; скоро кормить станутъ, а потомъ попоятъ, да и опять....“ „Тпру!“

Но вотъ машина пошла все тише и тише; загремѣли цѣпи, поѣздъ безцеремонно и сильно дернуло назадъ. Пассажиры покач-

чнулись и чуть устояли на ногахъ. Загремѣлъ засовъ, заскрипѣли двери—и „милости просимъ, дорогіе гости, полюбоваться на -красавецъ-Питеръ, съ его широкими прямыми улицами, страшв высокими домами, которые изумляютъ даже москвича и приводятъ въ ужасъ и благоговѣніе деревенскаго жителя!“

Что станется съ Петрухой дальше, а пока на сердцѣ у него накипѣло много: и сомнѣніе, и безнадежность, и маленькая искра надежды—все это перепуталось вмѣстѣ съ дорожной ломкой, и все это до того отуманило его. что онъ разинулъ ротъ и совсѣмъ растерялся.

— Ступай спрашивать Сѣнную, тамъ большой, въ 4 этажа домъ угловой (хозяина забылъ). Спрашивай плотниковъ, тамъ и своихъ галицкихъ найдешь. Въ одномъ домѣ съ ними и Семенъ Торинской живетъ... Ступай теперь все прямо, все прямо... тамъ налѣво, и опять все прямо..... тамъ спросишь—укажутъ. Спрашивай только Сѣнную, а дока прости,—толковали новичку его недавніе спутники.

— Да коли надумаешь къ намъ: спроси—тамъ наши знаютъ заходи,—говорили они ему уже въ задъ.

Не трудно узнать заѣзжаго молодца, который брошенъ въ огромный городъ — Петербургъ, безъ указателей и проводника: онъ робокъ, взглядъ его не можетъ остановиться на одномъ предметѣ и бросается съ одного края улицы на другой. Онъ часто останавливается передъ громаднымъ зданіемъ, и одинъ, молча, про себя, дивится имъ и любуется иногда по долгу. И если проходящій шутникъ толкнетъ его, онъ не отвѣтить грубостью, онъ боится даже обидиться, думая, что такъ, стало. нужно, и пугливымъ взглядомъ проводитъ обидчика. Идетъ новичокъ тихо, улицы перейдти боится и, часто перебѣгая, принаравливаетъ прямо на лошадь. Онъ изумленъ, озадаченъ до-нельзя невиданными диковинками, какія попадаются ему на каждомъ шагу: тутъ все

ново, и рѣшительно ничего, ни капли нѣтъ похожаго на родную деревню, даже на ближній уѣздный городъ, даже на губернію. Плетется онъ медленно, въ перевалку, за всякаго задѣваетъ и всякаго толкаетъ. Передъ иными останавливается и раскрываетъ ротъ, чтобъ спросить: гдѣ живетъ Семенъ Торинской и это-ли Сѣнная? Пока онъ приготовляется—все бѣжитъ мимо и не обращаетъ на него ни малѣйшаго вниманія. Досужіе саешники, даже и тѣ отвѣчаютъ ему грубо и не удовлетворяютъ его. Вездѣ такъ непривѣтливо, всѣ несловоохотны, заняты дѣломъ. Вспоминается ему тутъ же, какъ ему самому удавалось удовлетворять любопытству, и прохожихъ, и проѣзжихъ, и даже высчитать число гонъ или верстъ отъ деревни до деревни, и радъ онъ онъ былъ съ досужимъ человѣкомъ цѣлый день прокалякать. Не можетъ понять новичокъ, отчего его не хотятъ не только слушать, но даже и говорить съ нимъ.

Опять онъ медленно подвигается впередъ своимъ развалистымъ шагомъ, въ своей синей суконной шапкѣ, до послѣдняго нельзя набитой пухомъ, въ своихъ измызганныхъ лаптишкахъ, со своей кожаной котомкой и лыковой плетушкой за плечами и опять онъ толкаетъ всякаго встрѣчнаго, и толкаютъ его самого. Плаксиво и робко смотритъ онъ на всѣхъ, какъ бы стыдится и боится за себя, что осмѣлился попасть въ такой важной городъ. Ужо на ночлегѣ ему живо и ясно припомнится родная деревня и онъ горько-горько, хоть и украдкой, всплачетъ объ ней, но покорится злой участи.

Теперь же онъ идетъ все прямо, по указанію какого-то добраго человѣка, котораго онъ готовъ уважать въ эту минуту не меньше отца роднаго.

— Ну, спасибо, пошли тебѣ Господи милость Божію! а то хоть живой зарывайся—совсѣмъ запутаешься. Эка деревня, Господи, и не видывалъ!

III.

Артель.

Семенъ Торинской — въ настоящее время вся надежда Петрухи и семьи его, принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которые изъ бѣднаго простаго мужика-наемщика, благодаря своей русской сметкѣ и толковитости, мало-по-малу переходятъ въ завидное положеніе хозяина, когда они раздаютъ уже милости и ставятъ другихъ, себѣ подобныхъ, въ безусловную зависимость и подчиненіе. Пришолъ онъ (давно когда-то) въ Петербугъ такимъ же, какъ Петруха, и съ тою же положительною цѣлью, попытаться добиться въ столицѣ счастья. Счастье это сначала не находило его, и Семенъ Торинской былъ простымъ плотникомъ. Толкъ его вскорѣ замѣченъ былъ хозяиномъ-подрядчикомъ, и пріѣзжій плотникъ назначенъ уставщикомъ, и въ то же время, по общему согласію артели, выбранъ былъ въ артельные, и на честность его положились всѣ сотоварищи. Топоръ, съ этихъ-поръ, онъ уже рѣдко бралъ въ руки: его замѣнилъ аршинъ и кулечекъ, въ которой укладывалась артельная провизія. Семенъ имѣлъ дѣло съ мелочными торговцами и приблизился въ сношеніяхъ своихъ къ подрядчику. Подрядчикъ дѣлалъ распоряженія, Семенъ спѣшилъ приводить ихъ въ исполненіе, имѣя такимъ образомъ ежедневный, едва-ли не ежечасный, случай угодить хозяину, потрафить на его милость, говоря ихъ же собственнымъ выраженіемъ. Отъ хозяина-подрядчика зависитъ многое въ судьбѣ его подчиненныхъ, и особенно въ судьбѣ артельнаго. Счастье послѣдняго, если онъ попадаетъ къ богатому, довѣренному подрядчику, который снимаетъ подрядовъ много. Неудивительно, что одинъ изъ такихъ подрядовъ (поменьше и не такъ вы-

годный) онъ легко можетъ передать своему честному помощнику-артельному и уполномочить его на всѣ доходы и остатки. Отъ умѣнья, сметки и снаровки молодаго подрядчика зависитъ пробить себѣ трудную дорогу къ довѣрію и будущимъ работамъ на себя, независимо. И вотъ почему всякій молодой подрядчикъ льстивъ, угодливъ до послѣдней степени, низкопоклоненъ, даже велерѣчивъ и остроуменъ по-своему. Такихъ людей любятъ строители, и постоянное сниманье шапки чистенько-одѣтаго человѣка при всѣхъ, на улицѣ, считаютъ они за вѣжливость, должное уваженіе къ своей личности, и всегда помнятъ о нихъ при началѣ новыхъ построекъ, приглашаютъ ихъ, и во всемъ на нихъ полагаются. Отъ такого рода подрядчика зависитъ только спѣшить обставить себя поприличнѣе; бросить мужицкія деревенскія привычки и по маленьку привыкать къ обычаямъ торговцовъ средней руки, чтобъ и самому въ нѣкоторомъ родѣ разыгрывать роль купца съ капитальцомъ. Тогда со стороны подчиненныхъ, по непреложному закону природы, и довѣрія къ нимъ, и уваженія оказывается гораздо больше, и къ имени его, вмѣсто прозвища по деревнѣ или по какому-либо физическому недостатку, присоединяется, съ должнымъ уваженіемъ, величанье по-батюшкѣ.

То же самое случилось и съ Семеномъ Торинскимъ—толковымъ, сметливымъ, угодливымъ.

Онъ превратился въ Семена Ивановича, сшилъ себѣ до пятъ синюю суконную сибирку, завелъ пестрый бархатный жилетъ, шляпу, хотя и порыжелую, но все-таки пуховую и круглую, часы серебряные луковицей, при длинной бисерной цѣпочкѣ; на руки счолъ за нужное натягивать перчатки, сначала нитяныя, а потомъ и замшовыя. Бороду онъ оставилъ въ прежнемъ видѣ, и только круглилъ ее, подстригая снизу; волоса носилъ также по-русски, и до конца жизни рѣшился быть вѣрнымъ старымъ обычаямъ.

Квартиру изъ трехъ комнатъ снялъ онъ прямо отъ домоваго хозяина и убралъ приличною и прочною мебелью и, вслѣдъ же за этимъ, имѣлъ удовольствіе принимать въ новой квартирѣ свою сожительницу, которую поспѣшилъ выписать изъ деревни. Не безъ особенной досады и неудовольствія увидѣлъ онъ, что хозяйка его совсѣмъ болѣзная деревенская баба, которая далеко не умѣла соображаться со столичными обычаями: была болтлива, безтолкова, любила сбирать въ лавочкѣ всѣ квартирныя дрязги и приносить ему. несмотря на строгій приказъ оставлять про чебя и не безпокоить его. Вслѣдствіе недовольства женой и отсасти самимъ собой, Семенъ Ивановичъ разсчиталъ кухарку, которую принанялъ было для того, чтобы сожительница понѣжилась вдоволь и отдохнула бы отъ деревенскихъ работъ, какъ подрядчица. Разузнавши же теперь, что она не рождена для столицы, низвелъ едва ли не до простаго званія кухарки, подчинивъ ея досужеству всю кухню: ухватъ и вѣникъ, горшокъ и ведра. Заклявшись держать ее внѣ своихъ интересовъ, онъ не дѣлился съ нею никакими секретными планами и предположеніями. Только по праздникамъ наряжалъ онъ ее въ нѣмецкое платье, съ трудомъ отучивъ отъ сарафана и повойника. Послѣдній замѣнила баба шолковою зеленою косынкою, которая обматывалась кругомъ головы, на подобіе колпака, и на самомъ лбу завязывалась маленькимъ узелкомъ, изъ котораго торчали коротенькія кончики. Въ ушахъ у ней всегда были серги, по праздникамъ съ жемчужными подвѣсками; на рукахъ серебряныя кольца, которыхъ у самаго Семена Ивановича было на пальцахъ едва-ли не больше десятка.

Вырядившись чистенько и прилично, подрядчикъ съ подрядчицею любилъ пройдтись въ церковь, оттуда зайдти къ доброму земляку одинаковаго съ нимъ вѣса и значенія, гдѣ неимовѣрно много выпивалось кофею, еще больше того рѣшалось коммерче-

скихъ вопросовъ. Составлялась закуска, приносился праздничный пирогъ, даже кильки и бутылка дешовенькаго шиттовскаго хересу. Любилъ тѣмъ же поклониться и поважить земляка и самъ Семенъ Ивановичъ въ другое время, на слѣдующій праздникъ, и на самомъ дѣлѣ приводилъ въ исполненіе извѣстную поговорку: „костромици въ куцу, галицане въ куцу, ярославцы проць!“ На основаніи этаго правила и Петруха отыскивалъ его, и отыскали и не ошиблись, еще прежде Петрухи, не одинъ десятокъ земляковъ Семена Ивановича, Герасима Степаныча, Ивана Парамоныча. Здѣсь всегда рука руку моетъ — и въ трактирѣ, гдѣ если одинъ романовецъ, то уже и всѣ романовцы, въ калбасной лавкѣ хозяинъ изъ Углича, то и поваръ его и прикащики и мальчишки углицкіе. Въ галицкой же плотничьей артели перепутались и галицкіе, и костромскіе, и кологривскіе, и чухломскіе, и галицкая эта артель потому только, что галицкихъ плотниковъ больше числомъ.

Семенъ Ивановичъ сидѣлъ и писалъ обглоданнымъ перомъ изъ заплесневѣлой чернильницы на клочкѣ порядочно засаленной бумаги (будучи плохимъ грамотѣемъ, чуть ли даже не самоучкой, онъ любилъ и обстановку подобнаго же рода, и нѣкоторую чистоту и опрятность не считалъ дѣломъ важнымъ, имѣющимъ какой-либо смыслъ и значеніе). Комната, въ которой сидѣлъ Семенъ Ивановичъ и которая на языкѣ его жены имѣла названіе „хозяйской“ въ отличіе отъ другой, отдѣленной перегородкой и называвшейся просто спальной, вся до послѣдняго нельзя набита была мебелью, сдѣланной хотя и аляповато, но прочно и плотно. Подушки на диванѣ и стульяхъ были набиты едва ли не булыжникомъ и обтянуты клеенкой, во многихъ мѣстахъ уже обтершейся. Надъ диваномъ висѣли два портрета, писанные масляными красками и принадлежавшіе къ числу тѣхъ портретовъ, которые имѣютъ поползновеніе быть рѣшительно не

похожими на тѣхъ, кого хотѣлъ изобразить самоучка-маляръ чухломецъ. По обилію перстней на рукахъ, по сибиркѣ и пестрому жилету, наконецъ по бородѣ, еще можно было заподозрить, что одинъ портретъ былъ писанъ съ Семена Ивановича, и другой съ жены его, на которомъ торчало криворотое, кривоглазое лицо безъ малѣйшаго намека на что-либо человѣческое, увѣнчанное косынкой съ завѣтнымъ узелкомъ на лбу. У Семена Ивановича въ рукахъ былъ розанъ, жена его просто подобрала свои руки, сложила ихъ на грудь и съежила губы, какъ бы давая зарокъ хранить вѣчное гробовое молчаніе.

Остальная комнатная мебель была обыкновенная: зеркало, втрое и въ ширину увеличивающее лицо, высокій комодъ, бѣдно покрашенный красной краской, сложенный ломберный столъ съ выгнившимъ сукномъ, и покоробившейся половинкой крышки и съ поломанными двумя задними ножками. Вообще комнату подрядчика съ перваго раза можно бы назвать квартирою какого-нибудь переписчика-труженика, по двугривенному за листъ перебѣляющаго всякое писанье, самое неразборчивое и самое безграмотное, переписчика, просиживающаго за своей работой всегда далеко за полночь, робкаго, стыдливаго и почти всегда презираемаго своимъ давальщикомъ: наконецъ, даже можно назвать квартирою стараго, опытнаго, закаленнаго въ своемъ дѣлѣ журнальнаго корректора, сквозь голову котораго прошла бездна живыхъ, свѣжихъ мыслей, не оставившихъ ни малѣйшаго слѣда, кромѣ твердаго машинальнаго знанія корректурныхъ знаковъ и привычки сейчасъ же приниматься за корректурный листъ и кончать и отсылать его въ типографію. Только рубанокъ подъ диваномъ, пила и даже, можетъ быть, топоръ обличаютъ въ хозяинѣ скромной, но чистенькой квартирки, плотничьяго подрядчика, который — надо сказать кстати и къ чести его — не брезгаетъ и умственными занятіями: подъ рѣзною позлащоною кіотою съ об-

разомъ Воскресенія и другими маленькими на маленькомъ кругломъ столѣ, рядомъ съ вербой, лежатъ три-четыре книги духовнаго содержанія въ кожаномъ переплетѣ и въ папкѣ — толстые московскіе святцы съ исторіею объ Артамонѣ Сергѣевичѣ Матвѣевѣ и описаніями всѣхъ всероссійскихъ монастырей и пустынь. На комодѣ валялась даже „свѣтская книга“: „Похожденія прекрасной Анжелики съ двумя удальцами, переводъ съ французскаго.“

Семенъ Ивановичъ сидѣлъ за счотами въ халатѣ, съ дешовенькой сигаркой во рту, сигаркой сомнительнаго цвѣта и удушающаго запаха (а нельзя подрядчику безъ сигарки — таковъ законъ и обычай), когда въ комнату вошла его жена, сейчасъ только бросившая стряпню:

— Сколько разъ я вамъ говорилъ, Окулина Артамоновна, чтобы обряжались вы по христіански; фартукъ бы надѣли, а то что, съ позволенія сказать, этакимъ-то неряшествомъ украшаешься?....

— Ну, вотъ, батько, опять облаялъ, и забыла зачѣмъ пришла-то:—словно пришибъ кто, запамятовала.

— Да вы бы лучше мнѣ въ такомъ разрушеніи и не казались. Вѣдь здѣсь, мать моя, столиція, государство,—не деревня какая.

— Ладно — ну ладно, батько, которой разъ слышу?.... а дачѣмъ пришла-то — забыла: убей—не вспомню.

— Ступай, опомнись: приди въ забвеніе.

И Семенъ Ивановичъ, тѣмъ досадно-насмѣшливымъ взглядомъ, которымъ только и смотрятъ взадъ человѣка непріятнаго, посмотрѣлъ на удалявшуюся въ кухню сожительницу.

Кстати сказать, что Семенъ Ивановичъ, какъ обжившійся питерщикъ, и къ тому же ломавшій изъ себя купца, любилъ ввернуть въ обыденную, простую рѣчь книжныя и даже иностран-

ныя слова, вовсе не понимая ихъ настоящаго смысла, но самодовольно гордясь завиднымъ преимуществомъ столичнаго человѣка и притомъ грамотнаго. До изумительнаго правдоподобія справедливъ тотъ анекдотъ, въ которомъ пьянаго „кавалера службы военной“, выпившаго на-счотъ гулявшихъ въ трактирѣ и за спасибо ударившаго, безъ видимой причины, по лицу одного изъ нихъ, хозяева просили „отставить эфти куплеты и быть безъ консисторій“. Особенно рѣзко щеголяютъ этимъ недостаткомъ петербургскіе люди средней руки, въ родѣ Семеновъ Ивановичей— подрядчиковъ, мелочныхъ лавочниковъ, апраксинцовъ, артельщиковъ и проч.

Хозяйка Семена Ивановича не оставила-таки его въ покоѣ, и вошла опять, но все-же по-прежнему, безъ фартука и въ томъ же растрепанномъ видѣ:

— Что еще? спросилъ онъ ее.

— Да вспомнила, батько! переварки-то у меня готовы— велишь что-ли кофею-то засыпать?

— Законное дѣло! а сливокъ-то пріобрѣла?

— Ну, батько, когда еще? Не успѣла сбѣгать. Давѣ ходила два раза—запамятовала... Да тамъ тебя какой-то молодецъ еще спрашиваетъ.

— Какой-такой?

— Сказываетъ: съ письмомъ; изъ деревни-молъ, — изъ сосѣдскихъ.

— Позови сюда, что ему надо? Да тамъ есть ли обо-что обтереть ему ноги-то, а то нагрязнитъ — а на тебя плохая надежда, все въ безпамятствѣ. Есть ли рогожка-то?

— Съ коихъ поръ лежитъ, какъ не быть?—и не трогивала, цѣлехонька.

— Ну, позови. Да спроси, какъ зовутъ.

Вскорѣ за тѣмъ тихонько отворилась дверь въ „хозяйскую“ Семена Ивановича, и изъ кухни вылѣзъ въ нее Петруха, который, робко взглянувъ на подрядчика, низко, въ поясъ, поклонился ему:

— Здорово, молодецъ!—сказалъ Семенъ Ивановичъ.

Парень подвинулся-было впередъ, вѣроятно съ намѣреніемъ поцѣловаться, но хозяинъ сдѣлалъ движеніе рукой, примолвивъ: „не надо!... и такъ хороши!“

Парень остался на прежномъ мѣстѣ и опять робко, но все-таки въ поясъ, поклонился.

— Ты отъ кого? неласково спросилъ опять подрядчикъ.

— Да все изъ вашихъ же, изъ галицкихъ... изъ Судомойки. Коли зналъ Артемья—Совой зовутъ—сынокъ я его, дядя Семенъ!

— Что жъ тебѣ надо?

— Письмо тебѣ привезъ отъ вашихъ; крѣпко-на-крѣпко наказывали самому тебѣ отдать въ руки: вишь, ты имъ вольную обѣщалъ справить, ждутъ, такъ...

— Ну, хорошо, хорошо, знаемъ! — перебилъ Семенъ Ивановичъ парня.

Но тотъ, видимо собравшись съ духомъ и сдѣлавшись похрабрѣе и пооглядѣвшись, продолжалъ передавать наказы:

— Домашніе тебѣ поклонъ велѣли, низкой, справить. Да тетка Лукерья попенять велѣла, что ты съ лѣта ни едного письма не написалъ. Больно, вишь, они маются-то.

— Знаю, знаю! перебивалъ было Семенъ Ивановичъ, но парень стоялъ на своемъ:

— Вишь, овинъ новой къ лѣту-то ставить хотятъ,—навѣсъ на дворѣ перестилаютъ; полы, слышь, погнили; да и избу-то, молъ, новую заурядъ перестроить: ты, слышь, подрядчикъ.

— Все это такъ, братецъ ты мой! опять перебилъ его подрядчикъ. Что-же тебѣ-то надо?

— Да, вишь, поклонъ велѣли справить, письмо тебѣ крѣпко-на-крѣпко въ руки отдать, — да поклониться: не надобенъ ли?

Малому поперхнулось, онъ закашлялъ въ рукавъ и въ тоже время, неловко, но опять поклонился въ поясъ.

Хозяинъ въ это время кликнулъ жену; спросилъ, готово ли у ней все, и велѣлъ тотчасъ же накормить парня, а самъ занялся въ это время чтеніемъ письма и соображеніями.

— Поѣшь-ко вотъ, кормилецъ, похлебочки-то: вечоръ съ говядиной была. Самъ-отъ велитъ супомъ звать, а по мнѣ похлебка она, такъ похлебка и есть. Да какъ тебя звать-то? что-то я тебя ровно бы совсѣмъ не знаю....

— Петромъ зовутъ, да какъ, чай, не знать, тетка Онисья? судомойковскіе вѣдь... Есть ли, полно, до вашей-то версты четыре?

— Чай же ты—судомойковской?

— А Сычовъ.

— Ну, да какъ, батько, не знать? Съ матерью-то твоей въ сватовствѣ еще, по покойнику, по Демиду Калистратычу. Онъ-то вѣдь мнѣ деверь былъ, а у матери-то твоей сватомъ шолъ, за батькой-то за твоимъ. Артемьемъ, кажись, и звать-батьку-то твоего.

Петруха ожилъ. Словно въ деревенекую семью попалъ. Онъ и ѣлъ, противъ ожиданія съ охотой, и словоохотливо удовлетворялъ вопросамъ тетки Онисьи:

— Всѣ ли здоровы, наши-то, Петрованушко? Чай, бабушка Ѳедосья, куды-плоха стала?

— Одно только толокно и ѣстъ и съ печи не слѣзаетъ.

— Такъ, батюшко, такъ; завсегда хворая и запрежъ была. Овинъ-то новый у нихъ?

— Все тотъ же. Наказывали дядѣ-то Семену поклониться— не пришлетъ ли, молъ, пособьица?

— Ну, отъ него не дождешься, батько! Такой-то сталъ крутой!—И все лается ни зря—ни походя! Совсѣмъ сталъ чуфарой.

Это немного озадачило парня.

— Да ты зачѣмъ къ нему-то, мѣста что-ли просишь?

— Это бы дѣло-то, правду сказать, да не знаю возметъ ли? Вишь онъ...

— Возметъ, батько, для-ча не взять? Нашихъ галицкихъ пытаетъ ходить къ нему: всѣхъ беретъ.

— То-то кабы взялъ, я бы за него вѣчно Бога молилъ.

— Возьметъ, для-ча?...

— Войди, молодецъ!—раздался хозяйскій голосъ изъ сосѣдней комнаты. Вотъ, вишь, парень, какая канитель идетъ: пишутъ взять тебя...

— Возьми, дядя Семенъ, яви божескую милость...

— Такъ опять-таки обряды-то наши такіе: мѣстовъ-то, молодецъ, нѣтъ.

— Найди, дядя Семенъ, яви ты... Христа ради!...

Парень хоть бы въ ноги, готовъ былъ поклониться: — у него уже опять заскребло на сердцѣ, и опять увязалось чувство безнадежности.

— Народу-то, вишь, молодецъ, нашло много, а работа-то наша плотницкая совсѣмъ плоха: дома-то, вишь, все каменные— такъ только полы, да потолки и настилаемъ нынѣшнымъ временемъ. Вонъ одна у меня артель заборъ около казеннаго дома ушла строить, а другая на Невѣ сваи вколачиваетъ, — тамъ я въ паю,—не одинъ.

Петруха не нашолся что̀ отвѣчать на это и только безсознательно поклонился.

Хозяинъ опять началъ:

— Да тебѣ во вразумленіе ли эта работа-то? не зря ли

пришолъ, какъ много вашихъ ходитъ? Умѣешь ли ты плотничать-то?

— Какъ не умѣть, дядя Семенъ: не пришолъ бы.

— А строилъ-ли что?

— Ну, да какъ не строить: въ Вихляевѣ три овина сколотили, баню вашему,—торинскому,—соцкому. Хотѣлъ къ твоимъ подрядиться и—брали, да, вишь, ждутъ твоей милости.

— Въ чьей же ты артели ходилъ?

— Да съ Максимомъ Матвѣевскимъ: зимусь съ нимъ у испидитора цѣлый домъ и со службами поставили. Славной такой домъ-отъ вышолъ: лѣсъ хрушкой, не нахвалится.

— Твоя-то работа какая же была?

— Да всякая, какую укажутъ. Я, признательно сказать, все больше коло косяковъ, да дверей; и рамы сколачивалъ и чисто производилъ...

— Здѣсь, братъ, и двери, и косяки: все столярной работы; наша плотничья совсѣмъ, говорю тебѣ, плохо идетъ.

— Такъ!—только и нашолся отвѣтить Петруха.

Хозяинъ подумалъ немного, пристально посмотрѣвъ на парня:

— Ладно! говоритъ. Зайди завтра эдакъ въ вечерни... али по утру пораньше—тогда ужъ и порѣшимъ. Я похлопочу, постараюсь, сдѣлаю, что во власти.

— Какъ тебѣ не во власти, дядя Семенъ? яви ты божескую милость!—Не въ деревню же опять, Христовымъ именемъ. Я тебѣ по гробъ плательщикъ.

По уходѣ земляка и сосѣда, котораго и узналъ Семенъ Ивановичъ, но по чему-то не соблаговолилъ признаться и приласкать его, онъ въ тотъ же вечеръ однако собрался и ушолъ куда-то надолго. Чаю онъ дома не пилъ, а пилъ его въ одномъ изъ множества столичныхъ „заведеній“, съ двумя другими подрядчиками.

Началось дѣло съ того, что потребовали газету, потолковали. но Семенъ Ивановичъ. разливавшій чай, какъ хозяинъ и пригласившій другихъ, мало вмѣшивался въ разговоръ и отвѣчалъ односложно и не съ такою толковитостью, какъ всегда дѣлалъ прежде. Одинъ изъ гостей началъ-было интересный разсказъ, чтобы поддержать бесѣду:

— Тепереча будемъ говорить вотъ какими резонами: сколько, значитъ, разъ Касьянъ въ году бываетъ, по святцамъ?

Отвѣту на вопросъ, нѣсколько щекотливый, со стороны двухъ другихъ собесѣдниковъ. не послѣдовало. За нихъ отвѣтилъ самъ спрашивающій:

— Касьянъ этотъ самый бываетъ, черезъ три года на четвертой, одинъ разъ. И этотъ самый годъ теперича Касьяновъ бываетъ что ни па есть самый тяжолой: на хлѣбъ червь нападаетъ; этотъ теперича самый червь и деревья гложетъ и весь листъ точитъ. На скотину идетъ Божіе попущеніе—падежъ, выходитъ. На небеси знаменія: это Каинъ и Авель. И каково есть большая эта самая планида—луна, то вся она обливается кровью. Лѣса горятъ, бури это...

Разговоръ на томъ и кончился, и привелъ Семена Ивановича къ тому заключенію, что пора уже и приступить къ дѣлу: онъ налилъ пустыя чашечки чаемъ; опять потребовалъ меду и изюму (подрядчики не пьютъ съ сахаромъ въ Великой постъ); крякнулъ Семенъ Ивановичъ, оправился и началъ безъ обиняковъ, прямо:

— Не надо ли, братцы молодца кому? А у меня есть важный и къ плотницкому дѣлу приспособленъ — сосѣдскій еще въ добавокъ, и деревни наши почесть съ поля на поле. Чистую работу знаетъ. Пришолъ ко мнѣ прямо и всплакался: „помоги-де!“ Ну, отчего, молъ, не помочь? Ступай, молъ, молись Богу, а я скажу благопріятелямъ, припрошу ихъ за тебя. Тебѣ Евдокимъ Спиридонычъ?

— Песокъ пересыпать—у меня больше работъ въ навидности никакихъ нѣтъ, да и та поденная.

— Зачѣмъ опять же поденная? Этому парню такую не надо, такая-то и у меня есть въ пильщикахъ, да что?... это не такой: свои просили, ну, и самъ такой толковитой. Прямо, братецъ, ко мнѣ пришолъ.

— Нѣтъ, благодаримъ. Семенъ Иванычъ, и радъ бы, не надо.

— А тебѣ, Трифонъ Еремѣичъ?

— Да молодой?

— Слышь—только въ силу вошолъ: укладистой такой, навотъ! Сыромятной ремень перерветъ, кажись.

— Такъ. Холостой али женатой?

— Тебѣ-то больно что:—не все-то едино?

— Ну, да какъ тебѣ сказать, Семенъ Иванычъ, не все-то едино, что хлѣбъ, что мякина. Женатой-то, не что холостой,—дороже стоитъ.

— Я это, Трифонъ Еремѣичъ, не разсуждаю.

— Надо. И тутъ имѣй, значитъ, сообразность, а потому и для тебя резоновъ изъ того выходитъ больше.

— Воля твоя... (Семенъ Иванычъ, при этомъ, покрутилъ головой), а я этого самаго не понимаю.

— Надо. И малая рыбка завсегда лучше большаго таракана—не нами сказано. Ты коли норовишь по закону, ты и должонъ брать больше всѣхъ. Такъ ли, небось?

— Это не въ сумнѣніи; это сущее, значитъ, обстоятельство...

— То-то. Такъ женатой?

— Нѣтъ, холостой.

— Что же ты-то, входилъ ужъ съ нимъ въ урядъ: уступочка мнѣ будетъ?

— Въ урядъ-то я не входилъ, а распросилъ только...

— Такъ стало, мнѣ придется? Дѣло! Что жъ онъ къ тебѣ зайдетъ, чтоли?

— Къ себѣ велѣлъ.

— Присылай! Работнику рады... ну, да нѣтъ: я лучше забреду къ тебѣ самъ. Въ вечерни, что ли?

— Можетъ, утромъ...

— Ну, да ладно; какъ самъ знаешь—такъ и дѣлай!—присылай, присылай.

Трифонъ Еремѣичъ нетерпѣливо заворочался на стулѣ, выглядывая глазами половаго.

— Молодецъ, вы, почтенной! какъ тебя звать-то?

— Васильемъ.

— Такъ, братъ ты мой, Василій, вели саляночки рыбной, съ осетринкой.

— Слушаю-съ.

— Да, постой, постой!

— Еще что не прикажете-ли?

— Дай горькой графинчикъ, да побольше; закусочки сухариковъ, али—ужъ что тутъ!—давай пироговъ маленькихъ.

Какъ бы то ни было, но участь Петра Артемьева рѣшена; онъ не уйдетъ обратно въ деревню. Завтра же его запишутъ въ артель, отберутъ пашпортъ для прописки въ кварталѣ, дадутъ топоръ, долото, сапоги, если захочетъ—все на артельныя деньги, которыя вычтутся при мѣсячной уплатѣ. Если у него остались деньги отъ дороги, то онъ обязанъ отдать ихъ въ артельную, если не всѣ, то возможную часть, потому что артель будетъ кормить его завтракомъ, обѣдомъ и ужиномъ на другой же день.

Артель для него теперь замѣняетъ родную деревню и напоминаетъ ее живо, потому-что въ это общество не заползаютъ столичные обычаи. По деревенскому: артель спитъ немного, но за то крѣпко и въ сытость; артель ѣстъ часто и много и—нужно

отдать ей справедливость—всегда хорошо и чисто приготовленное: говядина у ней недавняго боя, пшено не затхлое, хлѣбъ отъ хлѣбника по заказу, и слѣдовательно всегда изъ свѣжей муки. Артель дружна и крѣпка; обидѣть одного—заставить мстить всѣхъ; тайнъ здѣсь ни у кого нѣтъ—всѣ по-деревенски, по-просту, на распашку: домашнія письма читаются вслухъ, при всѣхъ, и желающіе могутъ приходить, слушать, давать совѣты. Захвораетъ кто—артельный объявляетъ хозяину, и артель везетъ больнаго на общія деньги, въ больницу; умретъ больной—и въ могилу провожаютъ его на артельныя же деньги, и на нихъ же одинъ разъ совершаютъ панихиду. Въ большіе праздники, а не рѣдко и по воскресеньямъ, у порядочной артели на столѣ—ведро или полведра вина, смотря по количеству паевщиковъ. Въ нѣкоторыхъ даже бывали трубки артельныя, но всегда и во всѣхъ собака и котъ, вѣчно сытыя и раскормленыя до послѣднихъ предѣловъ.

Съ раннимъ свѣтомъ дня, съ топорами за поясомъ, пилами, рубанками, скребками бурачками, плотники плетутся на урокъ. При спѣшной работѣ, завтракаютъ тамъ, но всегда обѣдаютъ въ квартирѣ въ ранній полдень. Шабашное время отдыха у нихъ коротко: плотникъ отдыхаетъ на переходахъ; вечерняя работа продолжается до сумерекъ, когда всякій петербургскій житель можетъ встрѣтить около Сѣнной (плотники почему-то особенно полюбили это мѣсто) цѣлую араву такихъ молодцовъ, крайне разговорчивыхъ на своемъ такъ-называемомъ суздальскомъ нарѣчіи (плотникъ изъ губерній къ югу отъ Москвы замѣчательная рѣдкость). У всѣхъ подъ мышками щепы: у однихъ побольше, у другихъ поменьше; бойкой и загребистой непрочь захватить цѣлый кряжъ, если только подъ силу дотащить его до квартиры. Щепы эти важны въ домашной экономіи плотничьей артели, которая никогда не покупаетъ дровъ. Щепами отопляетъ она квартиру, на щепахъ же готовится артельная пища, для чего всегда

бываетъ нанята кухарка на артельныя деньги. На обязанности дневальнаго-чередоваго — сходить въ лавочку за квасомъ, зайдти по пути къ хлѣбопеку; потому-то дневальной въ свой день не беретъ топора въ руки, прибирая квартиру, нары и проч. Онъ же носитъ и завтракъ на работу, когда потребуютъ того обстоятельства.

Работаютъ плотники весело, посреди шутокъ и доморощенныхъ остротъ, въ родѣ слѣдующихъ:

— Кто это косяки-то прилаживалъ? спроситъ одинъ.

— Кологривскихъ два парня! отвѣчаютъ.

— То-то, гляжу, работа дворянская — завсегда поправлять послѣ нихъ надо.

— Ты что это больно распѣлся, парень?

— Да, вишь, бабушка померла, такъ выть до смерти наказала ему.

— Петруха—подпояшься, а то вишь и рубанокъ что-то не скоро ходитъ.

— Эхъ, кабы сковороду яишницы мнѣ теперь, да водки: выпилъ бы и закусилъ.

— Ну, выпей кваску, да закуси бородой! и т. д. и т. под.

А между-тѣмъ работа подвигается впередъ. Приносятъ завтракъ, и за завтракомъ тѣ же остроты и прибаутки, до тѣхъ поръ, пока не крикнетъ урядникъ:

— Ну, баста!... Будетъ съ семиовчиннымъ-то возиться, пора и за работу приниматься!...

Опять начинается стукъ топора, свистъ пилы, визгъ рубанка въ перемежку съ пѣсней, затянутой гдѣ-нибудь вверху, на стропилахъ, и подхваченной и подъ поломъ, и во всѣхъ четырехъ углахъ новаго дома.

Артельный—атаманъ, глава артели, выборный по общему согласію; онъ на работѣ уставщикъ, и указчикъ, дома — экономъ, заку-

пающій провизію; слѣдовательно ему за топоръ и рубанокъ браться уже рѣшительно некогда, если только не приспичитъ задоръ и похвальба передъ насмѣшками бойкихъ паевщиковъ. Онъ ставитъ треугольникъ, прилаживаетъ равновѣсокъ—гирьку, щолкаетъ намѣленной ниткой, и отвѣчаетъ передъ подрядчикомъ за всякой кривой косякъ, за всякую выпятившуюся половицу, за неровный бутъ и настилку. Въ праздникъ плотники, сверхъ артельной водки, любятъ побаловать себя и наверхъ сыта: день гулевой, и залишнія деньги случаются, а добрый благопріятель всегда подъ рукой. Плотники никогда не напиваются въ одиночку, но опять-таки всегда артелью, хотя иногда меньшей числомъ и объемомъ. И потому куча пьяныхъ, ругающихся передъ кабакомъ мужиковъ всегда и непремѣнно изъ одной какой-нибудь ближной артели плотниковъ. Они всегда толкутся и считаются между собой, упрекая себя только въ томъ развѣ, что одинъ отказался разъ распить съ нимъ косушку, другой—хотѣлъ его обидѣть, но когда и за что?—неизвѣстно.

Отъ нихъ не услышите брани на хозяевъ, безъ чего ни за что не обойдется пьяный маляръ, портной, сапожникъ... Эти не прочь задѣть и обидѣть встрѣчнаго; плотникъ никогда не рѣшится на это: онъ или оретъ въ полпивной, или, налаживая нескладную пѣсню, ковыляетъ по панелѣ на свои нары, и такимъ-образомъ спитъ всегда дома, и никогда не ночуетъ въ части. Если бы и случился такой грѣхъ, что одинъ, отшатнувшись отъ компаніи, попалъ въ ночлегъ на съѣзжую, то артель не замедлитъ отрядить на хлопоты... Артель этого не терпитъ, въ артели каждый работникъ дорогъ, и въ рабочую пору ежечасно нуженъ.

Каждый почти годъ артель принимаетъ новыхъ паевщиковъ, отпускаетъ старыхъ, но всегда, вѣрная старинѣ, живетъ однимъ толкомъ, тѣсно и неразрывно. Не рѣдко случались такіе годы, что подрядчики не нуждались въ цѣлой артели и хотѣли брать

по одиночкѣ: артель не соглашалась, приходила на биржу, рѣшаясь даже на поденную, ломовую работу, но и тутъ: „бери ихъ всѣхъ, порознь не пойдутъ—не рука!“ Бывало и такъ, что цѣлая артель сговаривалась, садилась на чугунку и брела въ разныя стороны, на родныя полати и въ закутье, если не спорилась имъ работа въ столицѣ цѣлой артелью. Однимъ словомъ, артель крѣпко держится и старается быть вѣрною роднымъ, завѣтнымъ поговоркамъ, что „одинъ и въ домѣ бѣдуетъ, а семеро и въ полѣ воюютъ“, „двѣ головни и въ полѣ курятся, а одна и на шесткѣ гаснетъ“—да, вѣроятно, и самыя поговорки эти родились въ артелѣ, хотя, можетъ-статься, и не плотничьей.

Петра Артемьева, записавшагося въ галицкую артель, теперь уже трудно отличить въ ряду остальныхъ рабочихъ: онъ или засѣлъ, внутри дома, на потолочной брусъ; и, мурлыкая себѣ подъ носъ деревенскую пѣсню, тяпаетъ топоромъ по брусу или прилаживаетъ доску къ забору и сглаживаетъ ее рубанкомъ, если доска эта приходится клиномъ и заборъ просвѣчиваетъ. Петръ Артемьевъ еще добросовѣстенъ въ работѣ, по деревенскимъ обычаямъ, гдѣ любятъ тепло и плотно, и непривыкъ (но скоро привыкнетъ, по неизмѣнному закону природы) къ петербургскимъ работамъ на „авось, небось, да какъ-нибудь“. Можетъ быть, даже онъ посланъ подрядчикомъ и на Неву—сваи вбивать, и все-таки его трудно отличить въ той толпѣ, которую не врѣдкость видѣть петербургскому жителю, гуляющему по набережнымъ.

Толпа этихъ рабочихъ мужиковъ ухватилась дружно за длинные концы веревокъ, привязанныхъ къ огромному рычагу. Толпа эта нѣсколько времени стоитъ молча, какъ бы собираясь съ духомъ и выжидая сигнала—и вотъ изъ средины ея раздался бойкой, звонкой голосъ запѣвалы, и вся рабочая сила, дружно под-

хвативъ на первомъ же почти словѣ слѣдующій громкій припѣвокъ, оглашаетъ широкую, чорную поверхность Невы:

«Чтой-то свая наша стала?
—Закоперщика не стало.
Эхъ, ребята, собирайся,
За веревочку хватайся!
Ой, дубинушка, охнемъ!
Ой, зеленая, сама пойдетъ,
Ухнемъ!!!
Ухъ! ухъ! ухъ!»

Немедленно, вслѣдъ за пѣсней, раздается звяканье толстой цѣпи, и огромный молотъ падаетъ нѣсколько разъ на сваю, далеко углубляя ее въ рыхлую болотистую землю.

Стоитъ только прислушаться къ переливамъ этой пѣсни, чтобъ безошибно рѣшить, что пѣсня эта принесена сюда съ Волги, что она съ-родни съ „Внизъ по матушкѣ по Волгѣ", но далеко не имѣетъ ничего общаго съ плаксивой петербургской пѣсней:

Какъ на матушкѣ, на Невѣ-рѣкѣ,
На Васильевскомъ славномъ островѣ, и проч.

Особенно доказываютъ это смѣлые переливы пѣсни, разсчитывающіе на громкое вторенье эха, которымъ такъ богаты гористые берега рѣки-кормилицы. Наконецъ, наглядное доказательство тутъ-же, на лицо: стòитъ только выждать, когда заговорятъ между собою работники, нарѣчіе которыхъ любитъ букву *о*, переходящую даже на букву *у*, и, наконецъ, эта пѣвучесть со страннымъ переносомъ удареній, всегда ясно отличаетъ говоръ костромича отъ говора другихъ соотечественниковъ. При томъ же костромичъ не словоохотенъ, какъ будто грубъ въ отвѣтахъ съ перваго взгляда, но, затронутый — разговорчивъ и откровененъ. Въ этомъ онъ далеко перещеголяетъ бѣлотѣльца-ярославца.

Нѣсколько исключительное значеніе Петра Артемьева въ артели объяснилось вскорѣ. Случай къ тому былъ весьма простъ и

немногосложенъ: одному плотнику понадобилось написать письмо въ деревню, а идти въ полпивную, гдѣ уже почти всегда сидѣлъ присяжный писака, не хотѣлось:

— Да и рожонъ бы ему острый! — говоритъ плотникъ: безъ пары пива не садится, да еще гривенникъ дай, а то не запечатаетъ и не напишетъ куды письму идти слѣдно.

Петръ Артемьевъ вызвался помочь горю.

— И впрямъ, Петруха, садись-ко! Эдакъ-то мы къ тому чихирнику-то и ходить не станемъ. Садись: я тебѣ пятачокъ дамъ.

— За что пятачокъ? — я и такъ, даромъ.

— За что даромъ: — даромъ-то, самъ братъ Петруха, знаешь: — и чирей, слышь, не садится.

Представилось маленькое затрудненіе: у писца не было ни чернилъ, ни пера, ни бумаги, но проситель нашолся лучше его: доставши шапку, онъ пошолъ по всѣмъ собирать на артельныя чернила и чернильницу, перья и бумагу. Складчина по копѣйкѣ серебромъ съ брата — матеріялъ готовъ, и къ тому же артельной.

Съ-этихъ-поръ у Петрухи нежданно-негаданно явилась другая работа и лишная копѣйка, которою онъ успѣлъ разсчитаться начисто долгами съ артельнымъ. Всѣ потянулись къ нему съ просьбами, до безконечности разнообразными и оригинальными.

Одинъ пришолъ къ нему и бойко началъ:

— Ну-ко, Петруха, садись! и напиши ты мнѣ, братецъ ты мой, — такую грамотку, чтобы затылки всѣ въ кровь расчесали...

— Что же такъ больно страшно?

— А вотъ видишь ты, разумный человѣкъ: хозяйка у меня молодая, дома-то двѣ зимы не былъ — обрадовалась, и дошли до меня, къ примѣру, эти самые слухи, что она, примѣрно, баловать стала. Накажи, Петруха, обругай ее: я молъ, крѣпко серчаю и такъ, молъ, что приду на зиму — домъ верхъ ногами поставлю. Вишь, тамъ на станціяхъ нынче писарей завели, а дорога-то по

нашей деревнѣ на прорѣзъ пошла, а ребята-то все холостежъ,— что волки, значитъ.

Петруха, сколько могъ, удовлетворилъ желанію.

— Да ты бы завертки-то по-крѣпче... эдакъ, чтобы жарко было, чтобы такъ всѣхъ въ слезы и положить: пусть измываются.

— Нельзя же вѣдь такъ въ письмѣ-то, какъ говоришь: такъ вѣдь не напишешь, не выйдетъ...

— Ну, ты лучше знаешь: твое дѣло грамотное, а мы вахлаки: — всяко-то по твоему не разумѣемъ. Слышь!... хошь напою пивомъ, али-бо водки куплю?

— Нѣтъ, спасибо: знаешь — не принимаю.

— То-то, паря, дуришь! Не по нашему, не подходяще ты дѣлаешь. Ну, такъ считай за мной гривенникъ; грамотку-то ловко настрочилъ. Молодецъ ты, братъ, у насъ, Петруха! золото, серебро. Братцы, кто хочетъ письма писать, ступайте: Петруха съ перомъ сидитъ.

— И впрямъ, Петруха, напиши-ко заурядъ ужъ и мнѣ.

— Сказывай, какъ надо.

Петруха, при послѣднихъ словахъ, обыкновенно насторживалъ уши, выслушивалъ безтолковую, отрывистую болтовню, изъ которой привыкъ составлять нѣчто толковое, знакомясь такимъ-образомъ съ семейными тайнами каждаго товарища, у которыхъ не было на это завѣту.

— Пиши по первоначалу поклоны: батюшкѣ, матери, дядѣ Демиду, теткѣ Офимьѣ, ребетенкамъ: Гришуткѣ, Паранькѣ...

— Ну, да какъ слѣдуетъ, вѣдь ужъ знамо. Сказывай имена-то только, да какая родня кто, потому и писать станемъ: коли теперича отецъ, либо братъ, то низкіе поклоны съ почтеніемъ, а ребетенкамъ и женѣ родительское благословеніе навѣки нерушимо, и опять — низко кланяюсь.

— Ну, ну, ну-такъ-такъ! Экой, свѣтъ, толковой! А потомъ пиши, братецъ ты мой, что вотъ, молъ, посылаю деньги моѣ посылаю... на оброшное. А останки подѣлите: рубль женѣ на платки, да батюшкѣ съ матушкой; а повремените маленько время спустя — еще вышлю.

Петруха, уже давно писалъ, до подробности зная остальную исторію на подобныя письма. У него въ головѣ давно уже сложилась форма и не осмѣлится онъ измѣнить ее до конца жизни, какъ не измѣнили и прежде бывшіе писцы, отъ которыхъ досталась она ему по-наслѣдству, вмѣстѣ съ грамотностью. Нѣсколько затрудняли его на первыхъ порахъ неожиданности, въ родѣ первой, но и къ тѣмъ онъ привыкъ, стараясь передавать ихъ прямо цѣликомъ, со словъ, для большаго вразумленія домашнымъ.

Скоро по всему дому разнесся слухъ, что въ плотницкой артели завелся писарь, что всякія письма пишетъ и дешево беретъ, а въ добрый часъ попадешь — и даромъ настрочитъ. Къ Петрухѣ съ просьбами о письмахъ стали ходить и постороннія лица. Приходила кухарка:

— Пиши въ деревню, къ моему соколу ясному—Кузѣ, что, молъ, крѣпко люблю и обнимаю и по гробъ въ вѣрности нелицемѣрной пребуду, а мнѣ здѣсь по тебѣ больно тошно. Да пожалоснѣй, голубчикъ, напиши.

И кухарка пропѣла ему послѣднюю фразу. Но не угодилъ писецъ закащицѣ, прочитавши своимъ обыкновеннымъ тономъ...

— Пожалоснѣй бы ты: эдакъ неладно! — толковала безтолковая баба. Пожалоснѣй-то, какъ я говорила...

— Ну, да такъ и выйдетъ! инако нельзя... перомъ-то... вразумлялъ онъ безтолковую.

— Ладно, ужъ коли и такъ запечатай. А я тебѣ ужо пирогъ занесу.

Приходила и горничная, — и, стыдясь компаніи, закрывалась

рукавомъ подъ градомъ доморощенныхъ остротъ, и убѣгала, и опять приходила, чтобъ вызвать грамотѣя на лѣстницу.

— Ваши-то улягутся, напиши мнѣ, да не смѣйся, не стыди при всѣхъ, не показывай.

— Вамъ какъ, по какому?

— Да по такому, что... да ты смѣяться будешь, я убѣгу!

— Зачѣмъ бѣжать? сказывайте — всяко, значится, можемъ.

— Мнѣ вотъ какъ... Да нѣтъ, не скажу: смѣяться станете — стыдно! Я ужъ изъ полпивной вызову: тотъ мнѣ всегда писалъ — знаетъ.

— Сказывайте, какъ надо, по тому и напишемъ, а зачѣмъ смѣяться?—не краденые съ вами. А наши ребята такъ только... съ полудурья. Вишь, дѣлать-то нечего — ну, и ржутъ.

— Вы напишите, что такъ какъ, молъ, кіятръ сегодня, представленія, то господа ѣдутъ, а мы дома съ Глашей. Выходите—подъ воротами будемъ въ ожиданіи зрѣнія: ну, какъ тамъ самъ знаешь.

— То-ись это приходи, значитъ, а мы тутъ. Такъ, ничего могимъ!... а какъ зовутъ?

— Нѣтъ, ужъ этого не скажу.

— Да вѣдь такъ-то нельзя. Кому пишешь — не знаешь. Эдакъ не толкъ: безъ имени, по нашему, — по деревенскому, и овца баранъ.

— Я сама знаю и тамъ знаютъ. Отдадимъ.

— Ну, ладно — пожалуй и безъ имя.

— Я черезъ часокъ зайду, постучу въ дверь, а вы и выходите.

— Да коли услышу. Вы ужъ такъ бы вошли: ребята наши смирные — ничего... ладно, приходи!

Петруха сѣлъ къ столу и принялся за писанье.

— Что, али востроглазой-то той строчишь? Что̀ велѣла?

— Приходи-слышь подъ ворота. А кому писать не сказала?

— Ишь ты! ну, да не сказала — тебя испугалась.

— Чего меня пугаться-то?

— Ну, чего: можетъ прибить захочешь того-то?

— За что прибить? — не за что.

— Ну, да вѣдь, братъ, дѣвка-то и!... огонь! Экихъ-то, братъ, въ нашемъ домѣ мало. Холостой, вѣдь, ты, чортъ! что козлы-то ставишь, безъ пути-то?

— Я не такой: я смирной.

— Ну, да ври — ври: пальца-то не клади тебѣ въ ротъ. Знаемъ, вѣдь, какъ ты козыряешь.

— Нѣту, я смирной.

— Какъ, паря, не смирной! Пиши-ко, пиши: зайдетъ, вѣдь, поцѣлуетъ.

Дѣйствительно, вмѣсто поцѣлуя, Петруха получилъ какую-то серебряную монету, которую не разглядѣлъ въ потьмахъ. При расплатѣ, дѣвушка прибавила однако: „Примите отъ моихъ трудовъ: сколько могу.“ Петруха отвалилъ грубое, неизмѣнное: „спасибо“ своимъ рѣзкимъ, топорнымъ голосомъ, который былъ вездѣ кстати, но тутъ, что тупой звукъ въ пустой бочкѣ.

Между тѣмъ, новое ремесло его получало широкіе размѣры и дальнѣйшій ходъ, породивъ даже нѣкоторое количество враговъ, въ лицѣ домоваго лавочника и завсегдатая полпивной.

Лавочникъ, впрочемъ, скоро успокоился, утѣшивъ себя тѣмъ, что не всегда имѣлъ для того свободное время, но завсегдатай — сказывали плотники, навѣдывавшіеся въ полпивную — хотѣлъ поколотить Петруху, и только откладывалъ: изъ боязни ли мщенія артели, или выжидалъ явленія врага въ мѣстѣ его ежедневныхъ засѣданій, гдѣ предоставлялось болѣе удобствъ. Но, къ несчастію его, Петръ Артемьевъ еще долго не ходилъ въ полпивную, но

ходилъ до-тѣхъ-поръ, пока въ жизни его не совершился крутой и неожиданный переворотъ.

IV.

Столица.

Петруха, по-праздникамъ, писалъ письма; по-буднямъ ходилъ на работы тяпать топоромъ и строгать рубанкомъ; въ свободныя минуты выходилъ зѣвать на диковинный городъ, присоединяя свои остроты къ замѣчаніямъ другихъ зѣвакъ. Товарищи его, вѣрные зароку и нелюбознательные, выходили только въ ближайшій питейной. Все, однимъ словомъ, шло тѣмъ же порядкомъ, какъ и прежде, въ теченіе всего лѣта. Наступала осень: Петрухѣ мечталась уже родная деревня, куда онъ въѣдетъ питерщикомъ, съ громомъ бубенцовъ и съ неистовыми криками Никиты, присяжнаго ямщика ближняго села, который уже всегда принималъ пѣшихъ питерщиковъ на свою тройку и бойко разносилъ ихъ по окрестнымъ деревнямъ.

Мечталась Петрухѣ радость болѣзной матери, оханье и хлопанье по бедрамъ обрадованнаго старика отца: молчаливаго, тихаго, но сильно чувствующаго и всѣми помыслами привязаннаго къ родной семьѣ.

Петруха снимаетъ бараній тулупъ, синюю праздничную сибирку, которую только-что сшилъ передъ отъѣздомъ и очутился въ красной рубахѣ, астраханкѣ, и плисовыхъ шароварахъ. Родные охаютъ, бабы начинаютъ ощупывать и смекать доброту и плиса и астраханки.

Петруха торжествуетъ, весело ухмыляется и отставляетъ ногу. Отецъ гладитъ его вдоль спины и называетъ кормильцомъ, радѣльникомъ, сердцомъ. Питерщику любо, такъ любо, какъ еще никогда

въ жизни не удавалось испытывать. По сердцу масло плыветъ, тѣло щекотятъ мурашки; глаза чуть не подъ лобъ закатываются. Онъ не знаетъ кого обнять прежде, кого приласкать: отца или мать. И медлитъ, и все ухмыляется.

Полѣзъ онъ за пазуху.—и медленно вынимаетъ оттуда новый коженный кошелекъ съ изображеніемъ, которое объясняется нижнею подписью такъ: „Наварицкая огненная баталія и корабли горятъ.“ Петруха развязываетъ кошелекъ, при общемъ молчаніи подхватившихся локоткомъ бабъ и отца, и вынимаетъ оттуда ровно двѣ красненькихъ, которыя уберегъ посреди всѣхъ соблазновъ столичной жизни. Вручаетъ ихъ отцу молча, съ низкимъ поклономъ: „Тутъ говоритъ и оброшное и государево, за васъ и за тебя... и за всѣхъ!..“ и видитъ опять слезы и слышитъ оханье, и опять его гладятъ и вдоль спины, и по головѣ, и по плечамъ.

— Спасибо, говорятъ родные, спасибо, радѣльникъ! отецъ ты нашъ родной. По твоей милости и на твои кровныя денежки мы и баню новую выстроили, и на повѣтѣ накатъ новой наслали, и за твое доброе здоровьице два молебна, кормилецъ нашъ Петрушенька, отпѣли.

— Вамъ спасибо! — говоритъ Петруха: а я, вѣдь сынъ.

— Да ужь и сынъ-то какой, кормилецъ ты нашъ, на рѣдкость. Экова-то у насъ и отродясь не бывало. Пошли-ко тебѣ, Господи, милости Божьей, да Казанская Матушка.

Парень кланяется въ поясъ и садится за столъ, съ приговорами матери:

— Не ждали мы экой радости сегодня, не чаяли. Ты ужъ, серцонько, не обезсудь: мы тебѣ и не состряпали ничего: почечекъ-то твоихъ любимыхъ. — Яишеньку глазунью — коли хошь — такъ сейчасъ бабы справятъ.

— Благодаримъ на угощеньи, благодаримъ! Признательно,

и ѣда-то въ голову нейдетъ — ни къ чему бы и не прикладывался: больно, вишь, радостно, любо таково!

— Ну, да какъ, пѣтушокъ ты нашъ, не радостно: вѣдь отца съ матерью увидалъ.

Петруха сталъ подарки раздавать: отцу шапку теплую; матери—платокъ шолковой: бабамъ—которой колечко, которой бусы. Не забылъ даже и племянниковъ: и имъ привезъ по свистулькѣ.

— Ну, а Паранюшкѣ привезъ ли что?—спрашивала мать.

— Кажинный день, кормилецъ мой, шастаетъ въ избу. Когда, слышь, вашъ-отъ пріѣдетъ, обручельникъ-то мой, и колечко твое показывала, что изъ Питера-то ей выслалъ.

— Не высылалъ я ей никакаго колечка изъ Питера.

— Ну, да что маяться-то, Петрованушко?-заговорилъ самъ отецъ; коли есть любовь — такъ по миру, да по согласію, — съ Богомъ, да со Христомъ. Я самъ, коли хошь, и сватомъ пойду: дядю въ отцы посажоные попросимъ.

— Хорошо, батюшко, хорошо. Ладно бы, больно бы ладно: затѣмъ почесть и пріѣхалъ-то.

Въ воображеніи Петра Артемьева сначала все перепуталось, но опять замелькали новые образы съ другой обстановкой:

Стоитъ онъ середи избы; мать съ гребнемъ стоитъ подлѣ; а обоихъ ихъ обступили дѣвки и поютъ знакомую пѣсню: „какъ Петрунѣ мати голову чесала, подъ вѣнецъ свово милова снаряжала“. Одѣваетъ его дружка въ ту же сибирку, какую привезъ изъ Питера, и творитъ приговоры по своему. Снарядивши парня, благословляютъ его образомъ и сажаютъ въ сани; отецъ и мать остаются дома; съ женихомъ ѣдутъ отецъ и мать посажоные и ѣдутъ прямо въ село, и шибко ѣдутъ: колокольцы и шоркунцы стонъ поднимаютъ. Сторонятся прохожіе и кланяются, — желаютъ: „счастливаго пути, законнаго брака!“ Дружка творитъ свое дѣло: останавливаетъ поѣздъ чуть не на каждомъ перекресткѣ: то у

него постромки оборвались, гужи перетерло, связать надо. И поитъ всѣхъ поѣзжанъ виномъ и глумится надъ женихомъ; „Что и близокъ-де локоть, да не укусишь!“ и несетъ чарку мимо, другимъ поѣзжанамъ. То у дружки подъ ложечкой закололо — связать надо, то у одного изъ поѣзжанъ бородища съ чего-то загорѣлась — тушить надо, то между встрѣчными прохожими колдунъ идетъ и оговоры нашоптываетъ, а тогда совсѣмъ будетъ худо: и вмѣсто лошадей на медвѣдяхъ поѣдутъ, да и не на село, а въ лѣсъ, и изба повернется задомъ — воротъ не найдешь, и вмѣсто яствъ всякихъ одни черепья, да уголья каленые будутъ: опять надо остановить поѣздъ и кланяться встрѣчнымъ, подчивать ихъ виномъ, чтобы не кляли поѣздъ, а желали бы молодымъ миру, да согласья.

Но вотъ Петруха въ церкви, рядомъ съ молодой, вырядившейся въ штофную, на заячьемъ мѣху, душегрѣйку, съ синимъ платкомъ, вышитымъ золотомъ, что привезъ онъ ей изъ Питера. Петруха съ Паранькой уже за столомъ сидятъ, какъ бы и мужъ съ женой, новобрачные, и подслащиваютъ своими частыми поцѣлуями горечъ водки.

Дружкѣ въ складныхъ приговорахъ горло захватываетъ, сваха такъ и носится съ подносомъ, и сшибаетъ съ ногъ всякаго встрѣчнаго: свадьба идетъ на славу. Поѣзжане не нахвалятся: и угощеніемъ, и виномъ, и молодыми. Все идетъ по чину, весело, шумно...

Молодыхъ выводятъ изъ-за стола и велятъ по три раза кланяться въ ноги родителямъ, просить ихъ благословенія на начинъ, а поѣзжанъ велятъ благодарить за почотъ,-за вниманіе. Сваха ухватила молодыхъ подъ руки, помѣстившись сама въ серединку и повела ихъ въ клѣть... Петрухѣ любо...

— Ты, что ли, Петръ Артемьевъ Сычовъ? Эй!—раздался надъ ухомъ мечтателя рѣзкій и грубой голосъ.

Петруха опомнился. Передъ нимъ человѣкъ въ свѣтломъ колпакѣ съ сумкой на боку, а самъ онъ въ нарахъ, въ артельной, и началъ-ло призабываться, дремать.

Съ трудомъ онъ оправился, протеръ глаза: опять взглянулъ ı почтальона, — и увидалъ усы, колпакъ, сумку, письмо.

Почтальонъ повторилъ вопросъ.

— Я Петръ Артемьевъ Сычовъ! — отозвался Петруха.

— Тебѣ письмо изъ деревни, давай скорѣй три копѣйки; гѣ вѣдь тутъ разтабарывать-то некогда.

Петруха поспѣшилъ исполнить приказаніе.

Почтальонъ обратился уже не прямо къ нему, а ко всей артели:

— Вашего брата, плотника, всего хуже отыскивать: въ од-омъ домѣ живетъ три артели. Пришолъ въ одну: „Здѣсь, молъ, етръ Артемьевъ Сычовъ?“ — Нѣтъ, говорятъ, не слыхать та-ого. У насъ, говорятъ, тверская артель: вонъ не въ той ли? въ ту пришолъ—такъ нѣтъ вишь: мышкинская, ярославская. тутъ нѣтъ, кого мнѣ надо: насилу добрался...

— Наша костромская, галицкая...

— Теперь-то знаю, буду помнить: я вѣдь недавно еще въ ıшихъ мѣстахъ.

— Такъ. Приходи, приноси прямо! Мы всѣ здѣсь костром-іе, — другихъ не пущаемъ.

— Да и адресъ-то пишутъ грамотѣи ваши.

— Захотѣлъ ты отъ нашихъ грамотѣевъ!

— Разбираешь-разбираешь, не найдешь толку, такъ и осаешь.

— Зачѣмъ бросать, не надо бросать!... дляча бросать?...

Во время этихъ растобарываній, Петръ Артемьевъ успѣлъ ıотрѣть письмо со всѣхъ сторонъ и нашолъ въ немъ все въ рядкѣ: по обыкновенію всѣхъ деревенскихъ писемъ: оно было рашно засалено; адресъ написанъ слѣпо: „отдать сіе письмо въ

Санъ-Питербухъ галецкому плотнику Петру Артемьичу по батюшкину отзыву Сычову; весьма нужное изъ деревни Судомойки". Запечатано было письмо, также по обыкновенію, кабацкимъ сургучомъ, который отсталъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и вообще плохо прилипъ къ бумагѣ. Вмѣсто печати оттиснутъ былъ мѣдный грошъ, орломъ.

Петръ Артемьевъ открылъ, началъ читать, по обыкновенію, вслухъ, потому-что нашлось нѣсколько слушателей и все нашолъ по обыкновенію исправно: письмо начиналось поклонами отъ родныхъ. Отецъ только не посылалъ своего родительскаго благословенія на вѣки нерушимаго.

— Опять, стало, дьячокъ Изосимъ писалъ: завсегда, шальной, кого-нибудь пропуститъ. Така шабала!—рѣшилъ Петруха и продолжалъ читать дальше.

На цѣломъ полулистѣ рябили имена и низкіе, земные поклоны съ почтеніемъ и желаніями на многія лѣта здраствовать. Но вотъ пошла и настоящая суть: „При семъ письмѣ увѣдомляю я тебя, сынъ мой, любезной Петрованушко, что горе у насъ въ семьѣ: родитель вашъ на Оспожинъ-день, приказалъ долго жить, а мы и ума не приложимъ. Ходилъ по рѣкѣ, да въ прорубь прорвался во хмѣлю, и изломало всего, а передъ смертью тебѣ родительское благословеніе свое на вѣки нерушимое посылалъ и домой велѣлъ идти, а мнѣ сиротѣ даромъ по крестьянству жить не сходно, а съ бабами не сладишь и вы домой пріѣзжайте. А по сіе письмо остаемся" и проч.

— Эхъ, братъ Петруха, не было печали, да, знать, черти накачали!

— Худо дѣло по крестьянству, коли бабы домомъ править учнутъ...

— Иди домой, Петруха: одна дорога!

— Вотъ поди ты тутъ: живешь—и ничего, а придетъ эко мѣсто, что съ дубу...

— Бабы весь домъ разнесутъ, по вѣтру развѣютъ.

— Иди, Петруха, домой: артельный пособитъ.

— Иди домой, не откладывай!—сыпались совѣты на оторопѣвшаго, обезумѣвшаго парня.

— А старъ отецъ-отъ былъ? Петруха, а Петруха! старъ батько-то былъ?

— Какое старъ? Пожилъ бы, кабы Божья власть.

— Эка, братцы мои, притчина.

— Петруха, слышь-ко! а братья-то есть у тебя?

— Какое братья? — Одинъ какъ перстъ.

— Эка, братцы мои, какое попущеніе! Эка, братцы мои, какое горе!

— Господскіе, али осударственные?

— Господскіе!... барина Бардадымова.

— Эка, братцы мои, горе: не слыхали бы уши!...

— Деньги-то есть ли у тебя зарушные-то: не давали впередъ-отъ?

— Кажись, ровно бы есть...

— А колькой тебѣ годъ?

— Жена-то есть, али холостяга?

— Ребятишекъ-то возвелъ, аль еще не успѣлъ?

— Отстаньте, ребята, тошно: не слыхалъ бы! Такая-то дурь въ голову полѣзла—утопился бы!—могъ только вскричать Петруха тѣмъ отчаяннымъ голосомъ, который озадачиваетъ толпу, приводитъ ее въ содроганіе, жалость и мгновенно разгоняетъ по сторонамъ.

Это—крикъ безнадежно утопающаго въ самой глубинѣ омута, когда несчастный въ послѣдній разъ высовывается изъ воды, собирая оставшіяся силы, какъ-бы для того только, чтобы крик-

нуть и замолчать навѣки. Крикъ этотъ заставитъ дрогнуть мимо идущаго путника, перекреститься,—и невольно толкаетъ его въ воду за дорогой, родной душой человѣка.

Крикъ, подобный этому слышится и на тѣхъ несчастныхъ пожарищахъ, гдѣ горятъ доспавшіеся до роковой минуты погибели. Опомнившись, съ ужасомъ видятъ они рѣки пламени: и нѣтъ другаго выхода, кромѣ огня, кругомъ огня. Кричатъ несчастные: оторопѣлые, растерявшіеся—и благоговѣйно крестятся всѣ живые, слышавшіе этотъ крикъ и едва ли не у всѣхъ проступаютъ слезы, и едва ли не всѣ безсознательно, какъ-бы толкнутые кѣмъ-то сзади, бѣгутъ ближе къ пламени. Но въ это время рушатся обгорѣлыя стропила, за ними потолокъ и крыша, а съ ними и всѣ надежды на спасеніе. Толпа отскакиваетъ назадъ, сторонится, какъ бы еще выжидая въ среду себя погорѣвшихъ. Нѣкоторые бросаются къ водѣ, другіе снимаютъ армяки и держатъ ихъ на готовѣ,—но нѣтъ несчастной жертвы — она сгорѣла!

— Господи!... святые отцы!... мать—Пресвятая Богородица!.. упокой ихъ въ царствіи своемъ!..

— Кузнецова старуха — болѣзная, хворая — семой десятокъ доживала...

— Кричите соцкаго!... бѣгите къ становому!—раздаются новые крики, но имѣющіе уже не тотъ смыслъ и силу, какъ прежній.

Не спитъ человѣкъ, отбивается отъ ѣды, отъ работы, отъ веселаго ласковаго слова при подобныхъ извѣстіяхъ, и самъ не свой, и люди не тѣ, и все какъ будто новое: такое спокойное, безмятежное, на пущую горесть и даже досаду.

Петръ Артемьевъ и письма отказался писать, и пересталъ шутить (даже говорилъ рѣдко). Работу обязательную и подневольную исполнялъ вовсе вяло, и замѣтили это товарищи.

— Ишь, маешься-то: полно, брось! Ложись-ко вотъ тутъ въ уголокъ, я тебѣ армякъ подстелю, а свой-то въ голову положи. Сосни часомъ — полегчѣетъ. Полно!

— А шолъ бы ты, Петруха, по мнѣ въ деревню: все бы, кажись, лучше.

— Что мнѣ деревня?—думалъ и говорилъ Петруха товарищамъ. Не пойду въ деревню: — не зачѣмъ. Мать въ горѣ, невѣстка — чужой человѣкъ, съ вѣтру; дядя толковымъ такимъ смотритъ—не уважитъ... Не пойду я въ деревню! да и съ чѣмъ?— деньги-то всѣ выбралъ, да домой переслалъ, а на пятачки-то съ писемъ не разгуляешься—дорога дюжо далека: не осилишь сиротствомъ-то. Не пойду въ деревню, хоть колья берите.

— Да больно вѣдь тебя, парень, перекосило-то: на себя-то вѣдь ты, Петруха, не похожъ.

— Поогляди́тся—пройдетъ! И все вѣдь такъ по началу-то; я знаю... Эдакъ-то тоже у меня отецъ-отъ померъ; и на глазахъ еще, братцы! Ну, и давай съ бабами заурядъ ревѣть. А на другой день всталъ: „да что, молъ, это я: подрядъ что ли снялъ? почемъ, молъ, съ пуда... слезы-то? борода-то, молъ, съ ворота, а ума съ накопыльникъ не вынесла!“ Право, братцы, такъ: застыдился и пересталъ ревѣть. Заберетъ эдакъ при бабахъ-то — и побѣжишь на повить, али-бо въ сѣни и ничего, — и опять въ избу лѣзешь. А тамъ гробъ сталъ сколачивать, на саванъ холста отмѣрилъ и въ гробъ уложилъ, и омыли, а не ревѣлъ — право слово! Да вотъ ужъ когда больно жутко подошло: какъ спустили мы это гробъ съ батюшкой; попъ Иванъ съ дьячкомъ землицы кинули, и я сгребъ въ кулакъ... Тутъ перво-на-перво защемило. Ухватилъ я лопату-то (самъ и могилу, братцы, копалъ): дай-ко, молъ, загребать стану. Тутъ вдругорядь, братцы, защемило и таково-то больно: такъ кровью и обдастъ и обольетъ разомъ, да опять—слышьте—да опять, знаешь обольетъ... сердце-то: „отца

вѣдь, молъ, роднаго засыпаешь, родимаго; вспоилъ онъ тебя, вскормилъ, на разумъ направилъ...“ А сердце-то такъ обольетъ, такъ и ошпаритъ горячимъ. — Держусь, крѣплюсь: голова въ круги пошла, а тутъ какъ звякнутъ бабы, да всѣмъ миромъ, да всей деревней, да на уносъ, да на разные лады... и, Господи!... Какъ стоялъ: бросилъ лопату, да за бабами въ слезы, ручьемъ. Пришла было блажъ: дай-ко, молъ, лягу на земь, да покатаюсь; народъ подсобитъ — подыметъ. И хотѣлъ-было: да нѣтъ, молъ, осмѣютъ холостые ребята: скажутъ послѣ, что Мартынъ-де словно жеребецъ сначала ржалъ-ржалъ, да какъ хватится о земь и учалъ кататься и учалъ... и ногами дрягаетъ... Такъ и не легъ, а проплакался, да и съ кону долой! Вотъ я какъ! Да и на глазахъ померъ отецъ-отъ, а то за глазами!... Да за глазами-то бы я, кажись, не то что, — а...

— Ну, не говори, Мартынъ, что дурости-то плетешь? не путемъ. Не какъ ты... смѣхомъ, вѣдь... сынъ да отецъ одна полоса мяса. Что Бога-то гнѣвить? самъ-вѣдь сказывалъ. что ревѣлъ, ну? Эка-вѣдь у насъ языкъ-то мелетъ. что не разумѣетъ; а замковъ-то не догадались привѣсить. Отстань!... Не люблю я тебя за это. Шутилъ бы ты, зналъ, другія какія шутки, да не такія...

Къ зимѣ — поздней осенью — галицкая артель вся разбрелась по домамъ, чтобъ къ веснѣ опять сойтись вмѣстѣ, на лѣтнихъ работахъ.

Петръ Артемьевъ не пошолъ въ свою деревню, какъ ни уговаривали товарищи. Домашнымъ наказалъ сказать, „что не пошолъ-де оттого, что не на что; деньги всѣ повысылалъ въ деревню, а ищетъ мѣста теперь — и, если поправится, — придти не приминетъ: ждали бы.“

Оставшись безъ артели, Петръ Артемьевъ, окончательно упалъ духомъ; у него еще больше захолонуло сердце: какъ быть и чѣмъ

ить?—брюхо—злодѣй стараго добра не помнитъ, а Петербургъ ькой городъ, гдѣ не дадутъ даромъ куска хлѣба. Всюду народъ рудящійся, всюду зашибающій копѣйку, и весь городъ, кажется, ъ томъ стоитъ, чтобы зашибать эту трудовую копѣйку, прожи-ать ее и съ усиленнымъ трудомъ сберегать на чорный день одни олько остатки, поскорбыши. Рабочаго народа много въ столицѣ, акъ много, что и приткнуться негдѣ, особенно отбившемуся отъ воего ремесла, и отыскивающаго такого, гдѣ бы немного нужно ыло толку: было бы только терпѣніе и маленькая снаровка. Та-ихъ мѣстъ, и для простаго человѣка, много найдется въ сто-ицѣ, но вездѣ и всегда—неизбѣжно нужны знакомства, своего ода протекція и покровительство, а гдѣ найдти послѣднія Петру ртемьеву—плотнику, для котораго до сихъ-поръ весь міръ схо-ился клиномъ въ его артельной квартирѣ и на работѣ. Раньше заботиться пристроить себя, онъ, по общему русскому толку, догадался. Хлопалъ себя по бокамъ и крутилъ головою въ знадежности, уже въ то время, когда бѣдность, вопіющая бѣд-ость, повисла на вороту и грозила еще горшымъ горемъ.

Сунулся бы онъ и къ тому и другому, ухватился бы и за сподручное ремесло, но кругомъ холодно, непривѣтливо, тоска, опять безнадежность. А между-тѣмъ деревенскія сцены, одна угой сумрачнѣе и неутѣшительнѣе, мелькали въ его воображе-и, не давая почти покою: мать его бранитъ, корятъ невѣстки, на чуть не кидается драться... Племянники — мелкота, нера-мны, баловливы, сердятъ бабушку и та встаетъ по утру, обли-ясь слезами и ложится спать съ тѣми же горькими рыданіями, торыя такъ знакомы и такъ давно возмущаютъ сына. А тамъ дходитъ подушное, оброкъ, починки, перестройки... Денегъ нѣтъ, матери хочется и крестовъ на средокрестной недѣлѣ напечь и воронковъ, изъ тѣста же, поѣсть въ день Сорока Мучениковъ.

Слѣдомъ уже за этими воспоминаніями проходятъ такія ми-

нуты, когда Петръ Артемьевъ бѣжалъ бы, летѣлъ бы по вѣтру на родныя мѣста и выплакалъ бы тамъ свое горе; но минуты эти разлетались быстро передъ сухой, голой дѣйствительностью. У Петра Артемьева въ карманѣ остался одинъ какой-нибудь полтинникъ, но нужда ужъ и его высасывала по копѣйкамъ.

Во всякомъ дѣлѣ важенъ случай, этотъ толчокъ, который иногда бываетъ спасителенъ; случайно попадаются въ бѣду— случаемъ же и искупаются отъ нея. Между тѣмъ давно уже ходятъ по свѣту двѣ пословки, едва ли не болѣе всѣхъ другихъ разумныя и справедливыя: по одной утѣшаются горемыки тѣмъ, что міръ не безъ добрыхъ людей, а по другой, не было примѣру, чтобъ на нашей землѣ кто-либо и когда либо умиралъ съ голоду.

Дворникъ того дома, гдѣ жила галицкая артель—и котораго Петръ Артемьевъ разъ одолжалъ письмецомъ, однажды какъ-то къ слову и безъ умыслу сообщилъ интересную новость, что вчера вечеромъ дворники сосѣдняго дома сотворили такой запой на цѣлой день, что всѣ квартиры оставили безъ дровъ и воды.

— Управляющій сбѣленился (прибавилъ дворникъ,) пыталъ ругать,—отобралъ хозяйскіе сапоги и рукавицы у всѣхъ и велѣлъ пріискивать новое мѣсто.

— Не пойти ли мнѣ? — думалъ Петруха. Рукавицы-то да сапоги я, пожалуй, и свои буду носить! — сказалъ онъ, и сдѣлалъ.

Его приняли, и черезъ недѣлю дали подручнаго, самаго его назвавъ старшимъ дворникомъ, потому-что былъ грамотный и на первыхъ же порахъ показалъ изумительное прилежаніе: въ конуру свою заходилъ только спать. На лѣстницахъ подымалъ пыль столбомъ и не только обметалъ тротуары, но даже и улицу каждый день, раза по три.

Стараніе его обратило даже на себя вниманіе мѣстнаго горо-

который вытребовалъ къ себѣ Петра Артемьева, похва-
зналъ его имя, число лѣтъ и попросилъ понюхать та-
Однимъ словомъ, дѣла новаго дворника шли блистательно:
а по четыре на день надоѣдалъ переѣхавшему жильцу,
контромарки и говоря, что господину ничего, но что онъ
а это отвѣтчикъ.

ирая ворота ночью жильцамъ, приходившимъ поздно, онъ
ся, не ворчалъ имъ вслѣдъ, даже не просилъ на другой
водку и, только побрякивая и гремя ключами, смирно проби-
ь конуру свою, гдѣ снова ложился на нару и засыпалъ
ке минуту до новаго звонка. Жильцы уже никогда не
сь безъ дровъ и воды. Еще съ самаго ранняго утра онъ
ь лазить по чорнымъ лѣстницамъ, громко стучалъ въ
бѣшено звонилъ въ колокольчики, на досаду кухарокъ
чныхъ, которыя не упускали въ другой разъ случая
ему, заставляя дожидаться. Но неугомонный Дворникъ
и стучалъ опять, и гораздо сильнѣе прежняго: кухарки
его въ глаза чортомъ, мужикомъ, прорвой. Дворникъ
и съ ужаснымъ громомъ валилъ на полъ охапку дровъ,
ведромъ объ ведро; получалъ за это уже толчки въ бокъ
ки оставался вѣренъ своему долгу, который считалъ прежде
мыхъ сердитыхъ кухарокъ онъ, въ свою очередь, наказывалъ
то лазилъ и стучалъ къ нимъ прежде всѣхъ — и все
имъ чередомъ. Петръ Артемьевъ, казалось даже, и душевно
ся: онъ шутилъ острилъ, калякалъ съ новыми знакомыми,
оторыхъ съ каждымъ днемъ расширялся все больше и
Съ однимъ изъ сосѣднихъ дворниковъ у него даже заве-
тимныя отношенія, нѣчто похожее на дружбу: пріятели
сь въ своихъ конурахъ. Другой дворникъ закуривалъ
у, которая вскорѣ соблазнила и Петруху. Онъ сначала
ъ дать попробовать, закашлялся, назвалъ зельемъ, потомъ

попросилъ другой разъ попробовать и вскорѣ самъ завелся этимъ инструментомъ и угощалъ пріятеля уже своимъ табакомъ. Къ услугамъ послѣдняго была во всякое время готова балалайка, слабость и пристрастіе къ которой Петруха привезъ еще изъ деревни, и лелѣялъ ее даже въ плотничьей артели. Пріятели сходились каждый день раза по два, по три; наслаждались поочередно трубочкой, тринкали на балалайкѣ, кое-о чемъ молчали и расходились до новаго и скораго свиданія.

Петруха разъ попробовалъ сообщить пріятелю о своемъ несчастіи и нашолъ въ послѣднемъ человѣка не только понимающаго это, но готоваго страдать вмѣстѣ съ нимъ: пріятель даже, во время этихъ разговоровъ, и за балалайку не брался, а съ какимъ-то остервенѣніемъ начиналъ курить табакъ, такъ-что самъ же спѣшилъ встать и отворить дверь въ подворота.

По праздникамъ случалось такъ, что пріятели складывались по четыре копѣйки и шли въ ближайшую бѣлую харчевню чай пить, иногда покупали при этомъ, у входа, сайку, и ѣли ее, размявши на блюдечкѣ въ тюрю.

Дружба обоихъ сосѣдей скрѣплялась все болѣе и болѣе, и стала замѣтна глазамъ постороннихъ, которые часто выговаривали имъ такимъ-образомъ:

— Эка, посмотрить, у васъ сожительство какое, словно собаки... али-бо братья-двойни: завсегда вмѣстѣ, ровно колдунъ васъ какой обошолъ наговорами.

Петръ Артемьевъ былъ правъ въ этомъ дѣлѣ: ему нужно было такого слушателя, которому онъ бы могъ выплакивать свое горе и бездѣлье, а тотъ, вѣроятно, любилъ послушать, уважалъ компанство и самъ былъ не прочъ тоже поклакаться на свое горе.

Безъ горя русскій человѣкъ не обходится, онъ рѣдко когда-либо чемъ бываетъ доволенъ. Такъ и у этихъ друзей: то собаку изъ дворецкой сманили и убили фурманщики, то топоръ соско-

лъ съ топорища, и хорошо еще, что не попалъ по ногѣ, то но ведро расплескалось до половины на самомъ верхнемъ пятомъ ажѣ,—то вотъ табаку бы купить надо, такъ-вишь посулилъ плецъ на водку, да не далъ, а напомнить не соберешься съ хомъ, и проч. и проч.

Разъ толковали такимъ образомъ пріятели въ Петровой коркѣ, по обыкновенію скромно, изрѣдка потрынкивая на балайкѣ. Отворилась дверь. Въ нее быстро прорвался дымъ табачій и духота, изъ мрака которыхъ на лѣсенкѣ показалась неклюжая фигура деревенскаго парня. Петръ Артемьевъ быстро ватился съ своего мѣста и, по долгу, спросилъ:

— Кого надо?

— Али не призналъ, Петруха: вглядись-ко!..

— Батюшки! Луканька Кузнецовъ... Здоровъ ли?

Земляки крѣпко и радушно поцѣловались.

— А я, Петруха, отъ твоихъ, по наказу: велѣли кланяться...

— Спасибо, родной, спасибо. Садись-ко!...

Петруха засуетился; радъ былъ земляку и сосѣду по избамъ.

— На-ко: поѣшь пирога, — давѣ управляющаго кухарка, рина, дала. Самъ-то ужъ я и не пеку: она завсегда все даетъ... у, что, родной, какъ тамъ мои-то?

— Ничего—живутъ! отвѣчалъ пріѣзжій, съ жадностью глоя пирогъ.

— Мать-то что?

— Да по міру хотѣла идти, и избу надумала запереть: у тьки замокъ просила — далъ. Невѣстки-то больно измывались дъ ней, да обѣ и ушли въ одно утро, и ребятенковъ забрали оихъ, племянниковъ-то твоихъ.

— Такъ, родной, такъ и ждалъ!

Петруха всплеснулъ руками; сѣлъ рядомъ съ землякомъ на

лавку, покраснѣвъ до ушей, чувствовалъ, что опять все тѣло наполнилось жаромъ, который былъ знакомъ ему съ роковаго письма о смерти родителя.

Словоохотливый пріѣзжій продолжалъ разсказы:

— Вотъ какъ это оставили бабы-те: матка-то твоя къ дядѣ: „живи (говоритъ тотъ-отъ) у меня!“ И жила, да знать надоѣла, что-ли?—кто ее знаетъ: ушла опять въ свою избу. А какъ стали меня обряжать-то путиной — пришла къ намъ, да и выпросила замокъ:—иду—говоритъ—на всѣ четыре стороны, и взвыла. Къ дядѣ-то твоему и не ходила, а пытали наши посылать: навѣдайся, молъ, мужикъ хорошій, на чести... Стало на другой-то день, какъ я уѣхалъ, и матка-то твоя ушла въ побирайство, не то молиться въ Тотьму, али бо что... Прошли слухи, что дядя на тебя, молъ, серчалъ: за чѣмъ не пришолъ съ питерщиками, и крѣпко, слышь, ругался...

— Да за что, Луканюшка, скажи мнѣ; за что?...

— Знамо, не за что.

— Пошолъ бы, кабы деньги были.

— Знамо бы пошолъ.

— Вотъ и теперь пошолъ бы, да нельзя...

— Вижу, что нельзя, самъ вижу. Да ты бы, Петруха, денегъ-то послалъ.

— Да какихъ, Луканюшка, откуда деньги-то: изъ боку што-ли вырѣзать?

— Знамо не изъ боку. Ишь ты, братецъ мой!...

Пріѣзжій соболѣзновалъ сильно: крутилъ головой, жалъ плечами, разводилъ руками, чмокалъ языкомъ...

— А ты-то въ какіе сюда пришолъ? — счолъ за нужное спросить и нарушить воцарившееся молчаніе пріятель Петрухи.

— Да мы по письму; завтра приходить велѣли совсѣмъ: мы печники.

— Петрухѣ-то родня, али нѣтъ?

— Нѣтъ, не родня, а изъ одной деревни: и избы-то накосъ.

— Эка, неладное дѣло какое: будь оно пусто! — разсудилъ ухъ Петруха, при общемъ молчаніи и довольно тихо, какъ бы бреду. Шубенку продать — не дадутъ много; управляющій не литъ впередъ — намнясь отказалъ. Эка, неладное дѣло какое! е красть же, не воровать. Грѣхъ воровать, лучше такъ обойсь. Эка неладно это все какъ пошло — словно ждали, словно льзя лучше-то! Хоть бы не сказывалъ...

— Да ужъ это дѣло, такое, Петруха! — утѣшалъ его пріаль. Накрыло тебя это горе самое шапкой что-ли, и пошло ать, шапку-то на плечи надвигать. Такъ все къ одному и пойтъ. И пойдетъ это горе-то самое, и начнетъ нажимать шапй-то...

Пріятель, при этомъ, счолъ за нужное, для большаго вразиленія, нажимать кулакъ и стучать имъ по столу.

— Завсегда такъ! — и отъ себя прибавилъ пріѣзжій.

— Да не надо! — закричалъ Петруха. Не надо нажимать-то: льно вѣдь. И такъ больно отъ прежняго осталось. Ишь ты, еладное дѣло какое! Хоть лобъ ты взрѣжь, ничего не придумаю — таковъ-то... Эко Божіе попущеніе какое! смерть...

— И то тебѣ сказать, Петруха — началъ опять утѣшитель. казано: тугой поля не изъѣздишь — нудой моря не переплышь, — сколько разъ говорилъ: „выпей!“

— Отстанъ ты — выпей!... Съ-чего стану — ни разу не пилъ, знаю, какъ и приступиться-то.

— Да ты только попробуй! Эдакъ-то и я — затащили: — пей, морщился: горько, а другую-то и самъ попросилъ. Въ водкѣ-то дь скусъ: легко таково. Ругай тебя — и не сердишься; еще ъ наровишь кого бы облаять. Выпей!...

Горько, чортъ! какъ выпьешь-то: не разу не пилъ.

— Выпей и есть, Петруха!—съ своей стороны присоединилъ пріѣзжій. Что ломаться-то? хуже, вѣдь, будетъ, все хуже; а выпьешь — лучше...

— Нѣтъ, не лучше: и такъ горько, а тутъ еще горечь..

— Сладко будетъ, Петруха, говорилъ вѣдь. Попробуй!

— Отстаньте, братцы, не стану.

Петръ Артемьевъ повалился на постель и не послушался на этотъ разъ пріятелей: все же мысль о винѣ, облегчающемъ горе, запала ему въ голову и навела на раздумье и постепенно наталкивала на рѣшимость.

Онъ уже вскорѣ разсуждалъ такъ:

— А что и есть,—отчего не попробовать? не съ-дуру же говорятъ ребята. Не какой грѣхъ вино — пьютъ же всяко и всѣ. Вонъ и въ артели всѣ пьютъ. Дома только не надо пить, а въ Питерѣ можно—отчего нельзя? При отцѣ нельзя, да при дядѣ, а тутъ можно—не кой грѣхъ: не съ-дуру же пристали ребята. Всѣ пьютъ. Только пьянымъ не напивайся, а ломовому человѣку, говорятъ, на здоровье: кровь крѣпитъ, сонъ слаще.

Петруха припоминалъ все, что когда-либо удавалось ему слыхать въ пользу вина и сильно поколебался въ своихъ убѣжденіяхъ: онъ даже сосчиталъ свои наличныя деньги, припомнилъ, что водки можно купить порядочное количество на трехгривенный съ пятакомъ, а на два двугривенныхъ и съ закуской даже. Онъ даже улыбнулся, провѣривъ свои деньги и найдя количество ихъ удовлетворительно-достаточнымъ, а когда увидѣлъ пріятеля, то самъ уже съ нимъ и началъ разговоръ:

— О винѣ ты вечоръ толковалъ: да боюсь — горько — опѣшитъ.

— Кое опѣшитъ? попробуй: на первую пору только горчитъ, а тамъ войдешь во скусъ.

— Эка неладное дѣло какое! — продолжалъ между тѣмъ опять разсуждать про себя Петръ Артемьевъ. Спишь — сны страшенные грезятся, одолѣли! Мать нищенкой ходитъ; батюшка померъ... опять же дядя. Пойдемъ, паря, поучи, — выпьемъ! — вскричалъ онъ, схватившись съ мѣста, и въ минуту собрался, — такъ что едва успѣлъ опомниться его пріятель-наставникъ, который могъ только сказать отъ себя одно:

— Что дѣло, то дѣло: люблю за это!

Онъ едва поспѣвалъ за Петрухой.

Передъ дверями питейнаго, послѣдній опять было поколебался:

— Али ужъ оставить? Неладно, кажись, не такъ.

— Ну, толковать еще сталъ!

Пріятель ухватилъ его подъ руки, въ намѣреніи тащить въ дверь...

— Ступайте, братцы, ступайте: внидите и угобзитесь: тамъ благо! Да скорѣе ступайте — не теряйте златаго времени! — замѣтилъ имъ оборванный господинъ, отправлявшійся по тому же направленію.

Пріятель Петрухи еще сильнѣе уцѣпился за друга и еще сильнѣе потянулъ его къ двери.

— Не такъ-ли, полно? продолжалъ все-таки разсуждать Петръ Артемьевъ, упираясь въ землю изо всѣхъ своихъ силъ. Нѣтъ, братъ, такъ лучше пройдетъ! пойди ты лучше выпей: на-вотъ!

Но послѣднія слова Петръ Артемьевъ произнесъ уже въ питейномъ — пріятель его дѣйствовалъ рѣшительно и блокъ съ визгомъ захлопнулъ за ними захватанную дверь кабака.

Петруха и тамъ-было вздумалъ оказывать нѣкоторое сопротивленіе, но убѣжденный просьбами и чуть не мольбами благопріятеля, отчаянно махнулъ рукой, толкнулъ кого-то подъ руку

(его обругали и даже ударили) и, подойдя къ стойкѣ, громко потребовалъ себѣ полштофа.

Ему не отвѣчали. Петруха изумился и повторилъ вопросъ.

— Порядковъ не знаешь! грубо обозвалъ его непривѣтливый Рязанецъ и повернулся спиной.

— Какихъ порядковъ? спросилъ недоумѣвающій парень.

Не зналъ объ нихъ или, лучше, не смекнулъ и его пріятель.

— Деньги впередъ! — опять глухо и отрывисто отозвался цѣловальникъ.

Тогда-то только нашолся благопріятель и замѣтилъ Петрухѣ:

— Здѣсь завсегда впередъ; безъ того и распечатывать не станутъ...

Дѣдновской макаръ сосчиталъ деньги, звякнулъ громко сдачей, снялъ съ полки требуемую посудину, сорвалъ крючкомъ пробку на бокъ, взболтнулъ полуштофъ, нагнавши на верхъ быстро мелькнувшую пѣну и, поднесъ, чуть не толкнувши въ самой носъ Петрухи, посуду; поставилъ ее на столъ; полѣзъ подъ стойку и такъ же ловко вышвырнулъ два стаканчика, какъ ловко дѣлалъ все предшествовавшее. Петруха слѣдилъ за всѣмъ этимъ и дивился порядкамъ.

— Наливай! подсказалъ пріятель.

— Пей! просилъ Петруха.

— И ты пей, безъ тебя не стану.

Петруха съ замираніемъ сердца выпилъ одну рюмку, ухнулъ, плюнулъ, покрутилъ головой; потомъ другую, третью и т. д. Вскорѣ благопріятель велъ его подъ руку; Петруха говорилъ громко и все почти одно и то же:

— А мнѣ чортъ-ли?... лѣшой... все ровно!... въ деревнѣ ли — въ Питерѣ ли. Мнѣ чортъ-ли?... — пфу!... другъ... другъ!... поцѣлуемся! Не ругай ты меня!... сдѣлай Божескую милость, не ругай, — и, не... бей... не бей!

— Да я тебя не ругаю. За что ругать? и не бью...

— Не ругай ты меня!... не ругай!... не бей — вотъ что, бредилъ Петруха, и упирался въ землю, опустивши внизъ голову, надъ которой постоянно махалъ правой рукой: лѣвая висѣла какъ плеть; пріятель держалъ его поперегъ.

Вино Петрухѣ понравилось: парень учащалъ пробы. Вскорѣ даже самъ назвался на угощеніе, взаимно угостилъ, опять просилъ угощенія и опять пилъ... пилъ... пилъ—и запилъ. Такова деревенская натура — ничего прѣснаго она не любитъ, мѣры она не знаетъ, о толкѣ и слышать не хочетъ, а указанія, наставленія считаетъ за упреки, брань, оскорбленія.

Мельничная плотина держится, крѣпится все лѣто, а разъ подточило ее порядочно — и скоро пойдетъ вода рвать все, разрушать, подмывать, и трудно, даже почти невозможно бываетъ остановить ее на пути разгула. Оборвался разъ русскій человѣкъ, живущій по себѣ и своимъ умомъ, и пойдетъ крутить, и нѣтъ для него уже ничего завѣтнаго: и армякъ новый долой, и недавно купленная шапка ни почемъ, и рукавицы прочь, и сапоги крѣпкіе долой—можно и въ старенькомъ щеголять, что тутъ ломаться, чваниться? что за щегольство! что за бахвальство! Куды тутъ лѣзть съ суконнымъ рыломъ да въ посконной рядъ?... мимо, все мимо, все долой и прочь! Пей, душа—веселись! Да балалаекъ давайте больше, да гармоній, да пѣсенъ, рому, коньяку попробуемъ, и что въ хересѣ за скусъ? и хересъ попробуемъ и... дѣвокъ давай. Приходите гости, да больше: на всѣхъ хватитъ, всѣмъ будетъ что выпить и гдѣ улечься, милости просимъ: у насъ и двери всегда настежъ и званымъ и незванымъ. Пейте всѣ и наше и ваше здоровье. Не сердитесь только: у насъ всѣ друзья и пріятели: душа на распашку и сердце за поясомъ! Вали народъ — будетъ и на похмѣлье!

Похмѣлье идетъ тѣмъ же порядкомъ: гудятъ по-прежнему

пѣсни, идетъ топанье на цѣлой домъ, внизу штукатурка съ потолка валится и не уйметъ никто и ничѣмъ разгулявшихся кутилъ... Все прочь, все мимо, знать никого не хотимъ!... сами большіе, и больше насъ нѣтъ! А тамъ еще горе незваное накачалось—долой и его: топи его глубже на самомъ донушкѣ и донушко опрокинь на лобъ! Давайте же пѣсенъ, пѣсенъ больше, да веселыхъ, да громкихъ, да красавицъ.

Петръ Артемьевъ сначала, какъ новичокъ и непривычный, выпивалъ немного и былъ уже пьянъ. Онъ учащалъ для того только, чтобы поддаваться обаянію той веселости, которая поразила его и привязала къ себѣ на первомъ еще днѣ запоя, и нечаянно дошолъ до того, что выпивалъ прежнюю порцію и былъ только, что называется, на куражѣ, когда все такъ отрадно и весело, самъ онъ въ задорѣ и готовъ спѣшно и толково сдѣлать все что̀ укажутъ.

Прежное дѣло дворницкое спорилось удачно; самъ онъ однако измѣнился, какъ измѣнился наружный видъ его конуры, которая украсилась лишнею мебелью, въ видѣ стеклянныхъ посудинъ, начиная отъ маленькой и постепенно доходя до большой бутыли. Его теперь не удивишь полштофомъ, а къ стклянкамъ маленькаго объема онъ прибѣгалъ только въ крайной бѣдности, при безденежьѣ. Привычка брала верхъ и сильно укрѣпила въ начинаніяхъ. Сдѣлать самое трудное дѣло для него было ни почемъ, лишь бы только обѣщана была дача „на выпивку.“ По буднямъ онъ чуть не съ утра былъ на-веселѣ, — по праздникамъ непремѣнно пьянъ, а къ позднему вечеру — мертвецки. Онъ готовъ даже быть такимъ и въ будни, если бы больше имѣлъ тароватыхъ и денежныхъ пріятелей, а самъ не былъ дворникомъ, у котораго лишная копѣйка — изумительная рѣдкость. Петруха и тутъ изловчался, стараясь придумывать разныя хитрости, до которыхъ достигъ своими непокупными толкомъ и сметкой.

Особенно помогало ему въ этомъ замѣчательное знаніе всего дома, сверху до низу, всѣхъ квартиръ съ ихъ жильцами, всѣхъ жильцовъ съ ихъ характеристикой, и физической и нравственной. Конечно, все это у Петра Артемьева дѣлалось на махъ,—спроста, но тѣмъ не менѣе всегда почти вѣрно и толково. Изо всего этого, онъ успѣлъ пріучить себя извлекать личную пользу, и не задумывался заходить въ 40-й номеръ къ чиновникамъ, которые, по его наблюденіямъ, всегда собирались по субботамъ играть въ карты. Отъ его вниманія не ускользала ихъ кухарка, чаще обыкновеннаго забѣгавшая въ лавочку за миногами, капустой, огурцами, и проч. Случалось, что она проносила бутылки изъ погреба и всегда непремѣнно имѣла въ рукахъ четвертную бутыль, которую привозила на извощикѣ. Петръ Артемьевъ запиралъ съ первымъ признакомъ ночи ворота, подпоясывалъ полушубокъ и отправлялся въ 40-й номеръ. Здѣсь онъ просилъ кухарку вызвать жильца-хозяина:

— Дворникъ, молъ, пришолъ, видѣть желаетъ.

Хозяинъ выходилъ, дворникъ кланялся и говорилъ:

— Ворота заперъ; спать сейчасъ лягу.

— Такъ мнѣ-то что за дѣло? зачѣмъ ты лазишь безъ спросу?

Дворникъ при этомъ указывалъ одной рукой на кухарку, какъ бы давая знать, что ей приказывалъ докладывать о себѣ, и не лѣзетъ безъ спросу; а другую руку засовывалъ въ волоса на затылкѣ и ухмылялся:

— Гости-то у васъ долго будутъ сидѣть?

Если хозяинъ догадывался, къ чему ведетъ свою рѣчь дворникъ, то спѣшилъ дать ему на водку и напередъ задобрить его. Если же—нѣтъ:—дворникъ, почесываясь, начиналъ опять приставать:

— Коли долго—такъ уйду: дома-то не буду ночевать сегодня; а хозяинъ велитъ запирать ворота на ночь и ключь съ собой брать.

— Во всякомъ случаѣ, ты долженъ оставить кого-нибудь вмѣсто себя?

— Кого оставить? оставить некого.—Надо ему на водку дать, кого оставишь-то: такъ-то не остаются, а намъ поздно не велятъ сидѣть.

— Кто это мнѣ не велитъ? спрашиваетъ разсерженный жилецъ.

— Хозяинъ домовой не велитъ, — спѣшитъ перебить его дворникъ. Намъ онъ говоритъ: — какъ-де ты, Петръ, сдѣлалъ все, до одинадцати часовъ калитку не запирай, а послѣ запри и ложись спать, долго-то не сиди.

Чиновникъ только при этомъ догадывался о томъ, отчего дворникъ не хочетъ ночевать дома, запираетъ ворота и ключи уноситъ съ собой—онъ называлъ дворника мошенникомъ, плутомъ, но все-таки давалъ ему гривенникъ или просто выносилъ водки и давалъ рюмку.

Петруха кланялся, благодарилъ и почесывался:

— Лѣстница-то высока, вишь,—не захромать бы, ваша милость?

Получалъ ли, не получалъ ли Петруха второй рюмки, онъ все-таки оставался доволенъ и собой, и жильцомъ 40-го номера и его гостями, которыхъ выпускалъ со двора самъ и не ворчалъ.

Если же жилецъ, по собственному выраженію дворника, не уважалъ его и не смотрѣлъ ни на какіе резоны, т. е. не подносилъ рюмки, не давалъ гривенника, Петруха на другой же день останавливалъ его подъ воротами, снималъ шапку и кланялся:

— А я, вашей милости, услужилъ вчера: гостей выпустилъ. Двое совсѣмъ растянулись подъ воротами. Я поднялъ и извощика живой рукой отыскалъ. Сегодня, вашей милости, прежде всѣхъ воды натаскалъ: поутру, молъ, проснетесь—чайку напиться захо-

тите. Я въ вашъ нумеръ всегда захожу раньше, прежде управляющаго. Сегодня праздникъ: поздравить не мѣшаетъ, вашу милость!

Вообще почему-то съ чиновниками Петръ Артемьевъ велъ себя осторожно; при встрѣчѣ съ офицерами всегда почтительно снималъ шапку и ни въ грошъ не ставилъ тѣхъ сердобольныхъ вдовъ, которыя живутъ квартирами и у которыхъ жильцы цѣлый день не бываютъ дома, по обыкновенію почти всей петербургской молодежи. Отъ этихъ вдовъ онъ рѣдко получалъ „на водку", и потому, не имѣя средствъ мстить открыто, старался вредить имъ втайнѣ, срывая съ воротъ безграмотные билетики ихъ, которыми извѣщается искатель, что здѣсь: „одаеца комната состоломъ, смебелю и сприслугой увдовы для холостыхъ спросить дворника", или „въ такомъ-то номерѣ". Дворникъ можетъ отвѣтить, что въ такомъ-то номерѣ отдана квартира, хотя она еще до-сихъ-поръ пустая, что въ такомъ-то и есть свободная, да ребятъ много, безпокойства будутъ, — у ней и не живутъ жильцы подолгу.

— А вотъ есть въ 11-мъ способная для вашей милости, и мебель даетъ кому надо, и съ кушаньемъ беретъ, и барыня важная, завсегда при жильцахъ. „Эта комната опросталась оттого, что жилецъ померъ, а то у ней завсегда живутъ и всегда довольны остаются."

Во всей болтовнѣ часто нѣтъ ни малѣйшей правды: нанимающій видитъ комнату маленькую, тѣсную, мебель поломанную и порванную, даже плесень отъ сырости во всѣхъ четырехъ углахъ, и сама хозяйка не столько барыня важная, сколько бойкая, и досадуетъ искатель квартиры на себя, что поднимался такъ высоко и остался въ накладѣ. Не оставался въ накладѣ одинъ только дворникъ: онъ выпивалъ рюмку водки или получалъ пятачокъ отъ своей важной барыни до-тѣхъ-поръ, пока не

приводилъ въ 11-й номеръ охотника до сырой комнаты, высокаго и грязнаго хода.

Петръ Артемьевъ обставилъ себя наконецъ такъ, что имѣлъ номеровъ десятокъ такихъ, гдѣ ему каждый праздникъ подносили по рюмкѣ водки, и былъ однимъ изъ счасливѣйшихъ петербургскихъ дворниковъ, потому что въ его домѣ, въ одной изъ квартиръ, поселилась цѣлая ватага молодыхъ людей, у которыхъ дня не проходило безъ кутежа и скандала.

Петръ Артемьевъ не замедлилъ скоро познакомить и себя съ ними и тутъ также придумалъ хитрость. Онъ явился съ искреннимъ совѣтомъ быть потише, и присовокупилъ прямо отъ себя, но съ привычною смѣлостью и рѣшительностью:

— Нижніе жильцы къ хозяину приходили жаловаться, что всю штукатурку на потолкѣ отбили... надъ самой, вишь, спальной пляшете! Хозяинъ прислалъ сказать, чтобъ не плясали.

— Пошолъ, дуракъ! скажи хозяину, что мы его знать не хотимъ. Мы отъ себя наняли квартиру и деньги впередъ отдали! кричалъ одинъ изъ болѣе бойкихъ гостей и кинулся-было на дворника.

Тотъ немного попятился; онъ могъ бы, заручившись такимъ важнымъ порученіемъ, хотя и имъ же самимъ сочиненнымъ, нагрубить, но счолъ за нужное выдерживать привычную роль:

— Коли, говоритъ, — не уймутся: вели квартиру очищать; пусть-де новую пріискиваютъ.

— Молчи, дуракъ!—не сегодня же ночью отыскивать? Пошолъ, скажи хозяину, что вы оба дураки, невѣжи.

И пьяный гость опять-было задорно кинулся на дворника, но его опять удержали товарищи. Дворникъ все-таки стоялъ на своемъ:

— Мнѣ, говоритъ, — экихъ жильцовъ не надо; они у меня изо всѣхъ квартиръ повыгонятъ и домъ останется пустой.

— Я тебѣ всю бороду выщиплю.

— Зачѣмъ бороду? борода дорога; она долго ростетъ. Въ бородѣ вся сила. Вонъ у вашей милости и нѣтъ ее.

Пьяный гость выходилъ изъ себя; его успокоивали товарищи; но дворникъ продолжалъ быть вѣренъ себѣ, и во все время оставался спокойнымъ; онъ разсуждалъ:

— Наше дѣло подневольное, что велятъ дѣлать, то исполняемъ; таково дѣло, не сами. Что бородой-то стращать?—лучше бы, баринъ, водочки поднести велѣли дворнику-то.

Одинъ, догадливый, исполнилъ его желаніе, и даже, противъ ожиданія, удовлетворительно: Петръ Артемьевъ успокоился. Сходя съ лѣстницы, почувствовалъ то знакомое ему пріятное наслажденіе, какое испытывалъ послѣ первой рюмки, потомъ у него закружило въ головѣ, и когда Петръ Артемьевъ улегся, голова его пошла въ круги и сонъ былъ невозмутимо-крѣпокъ.

Когда ушолъ дворникъ, конечно начались толки о недавнемъ событіи, и болѣе разсудительные рѣшили это дѣло такимъ-образомъ: дворника всегда не мѣшаетъ задобривать, дворникъ человѣкъ нужный; онъ многое можетъ сдѣлать. Онъ для дома важнѣе хозяина; его и за водкой можно послать, если некого; онъ и въ глухую полночь достанетъ ее, потому-что имѣетъ огромное знакомство и опытность и проч., и проч.

Съ тѣхъ поръ Петруха не встрѣчалъ уже непріятностей и не придумывалъ съ своей стороны хитростей, а просто тихонько отворялъ дверь и только выставлялъ свою бороду. Къ бородѣ этой привыкли кутилы, и лишь покажется она, пріятели спѣшили подчивать ее водкой до того, чтобы она рѣшительно неспособна была безпокоить ихъ въ другой разъ и нагонять темную тучку на ихъ свѣтлую и беззаботную радость. Нѣкоторые даже заговаривали съ этой бородой (до того она сдѣлалась не страшна и приглядѣлась).

— Ну, а что хозяинъ?

— Спать легъ! — чуть не шопотомъ отвѣчалъ дворникъ.

— Не сердится, не ругается? не велитъ искать квартиры?

— Отошолъ!.. забылъ!.. Добрякъ вѣдь! шепталъ Петруха.

— Ну, а нижніе-то жильцы не жалуются?

— Перестали! Да ну ихъ!..

Петруха при этомъ махалъ рукой, и даже на лицѣ старался изобразить возможно-презрительную мину. Онъ заключалъ всегда почти одинаково:

— Пейте, господа, знайте! Не бойтесь, постоимъ. Скажу, что свадьба у васъ — и все! Есть-ли водка-то у васъ? а то схожу, пожалуй: въ погребкѣ можно достучаться: такая форточка завсегда отперта. Въ кабакѣ только трудно, а пожалуй, и т. д.

При такихъ соблазнахъ и благополучномъ начинѣ, Петруха шолъ все въ гору, да въ гору: его уже, что называется, чарка бьетъ. Въ надворномъ хозяйствѣ стали обнаруживаться кое-какіе безпорядки и упущенія: лѣстницы были грязны и едва удобопроходимы, дворъ почти никогда не просыхалъ; городой заглядывалъ въ его конурку чаще и болѣе для того, чтобы выгнать его на тротуаръ. Петруха и здѣсь прибѣгалъ къ нѣкоторой хитрости: онъ отгонялъ отъ своихъ тумбъ извощиковъ и позволялъ тутъ останавливаться только тѣмъ, которыя помогали ему подметать панель, красить тумбы, не сорили сѣномъ, и проч.

При замѣтныхъ деньгахъ у Петрухи водились даже нѣкоторое время такъ называемыя чередовыя выставки, которыя такъ обыкновенны и пагубны въ столицѣ у мастеровыхъ и рабочихъ, не имѣющихъ работы постоянной и усидчивой, держащей на одномъ мѣстѣ: на верстакѣ, у наковальни, у стаместки... Особенно эти чередовыя выставки часто заводятся компаніей дворниковъ, водовозовъ, носильщиковъ мебели и всякаго рода поденщиковъ.

У Петра Артемьева эти чередовыя выставки прекратились

какъ-разъ около того времени, когда приближалось время его имянинъ. Молодецъ уже, что называется, разлакомился, расходился, а товарищи и пріятели подзадориваютъ:

— Скоро ты имянинникъ будешь, Петруха,—угощеніе нужно предоставить — знаешь какое... ждемъ! Придемъ, братъ, и незваные: не думай ты этого.

— Штофъ съ косушкой куплю, отвѣчалъ Петруха.

— Этакое-то угощеніе для имянинъ и званія не стоитъ; это и губъ не помочитъ: вонъ ты толковалъ изъ плотниковъ своихъ кого позвать, то народъ пѣтой, ну, да и мы не прочь почтеніе тебѣ сдѣлать по-расейски. Тутъ не то бы что, а полведромъ только-только удовлетворишь.

— Полведра много, лопнешь.

— Эй, гляди, паря, только подрумянишь.

— Да вонъ, подожди—посмекаю: хватилъ ли еще капиталу то на это? обѣщалъ Петруха и смекнулъ по своему.

За два дня еще до имянинъ онъ уже шасталъ по квартирамъ, вызывалъ хозяевъ и прямо просилъ о пособіи.

У однихъ говорилъ съ тою привычною смѣлостью, которая чуть не пріучила его самаго вѣрить сочиненному:

— Въ деревню иду: пачпортъ надо выправить, а денегъ нѣтъ, хозяинъ заперся—не даетъ, обижаетъ и въ кварталъ ходилъ жаловаться, да не слушаютъ: совсѣмъ хозяинъ обижаетъ:—пособите, ваше сіятельство! Вотъ въ десятомъ нумерѣ полтинникъ дали, въ пятомъ рубль серебра посулили, — вралъ Петруха и кое-гдѣ выманивалъ, уходя отъ другихъ съ болѣе или менѣе надежнымъ посуломъ.

Въ сѣдьмомъ номерѣ онъ уже говорилъ почему-то новое и путалъ себя до того, что рѣшился говорить остальнымъ одно:

— Міръ въ деревню требуетъ — оброки тяжолые, одѣться не на что; ѣхать надо — нить-ѣсть дорогой, дома пособіе тре-

буется; хозяинъ обижаетъ; пять цѣлковыхъ пособралъ: еще не хватаетъ трехъ, либо четырехъ...

При послѣднихъ словахъ, Петруха низко кланяется: благодаритъ за выдачу и вниманіе и раза по три въ день надоѣдалъ посулившимъ, засылая кухарокъ, которыя все-таки состояли въ нѣкоторой зависимости отъ него и боялись даже его присмотру, справедливаго и всегда необузданнаго гнѣва.

Вслѣдствіе ли собственной назойливости или нѣкотораго даже предстательства и вліянія кухарокъ, но только Петръ Артемьевъ собралъ столько денегъ, что въ день имянинъ изъ конуры его то и дѣло вылазали четвероногіе, которые долго бранились подъ воротами и нѣкоторые доходили до дома, другіе валялись на тротуарахъ (догадливые и толковые выбирали мѣста поглуше), а нѣкоторые подбирались въ часть.

Однако самъ имянинникъ, по русскому обыкновенію, напившійся прежде и больше всѣхъ другихъ, еще до конца завѣтнаго полуведра, улегся спать, и никакія силы не могли поднять его съ мѣста: онъ какъ будто опился и замеръ.

Поутру Петруха опохмѣлился, и такъ крѣпко и задорно, что когда позванъ былъ къ управляющему для объясненія по нѣкоторымъ безпорядкамъ, замѣченнымъ въ прошедшій вечеръ и ночь, онъ разговорился и, противъ воли, разсердилъ управляющаго.

— Отчего трудовому человѣку на день ангела не выпить?— одинъ разъ въ году бываетъ — надо выпить покрѣпче. Вотъ отъ вашей милости завсегда пьяныхъ провожалъ съ лѣстницы. Сами вы, Иванъ Тимоѳеичъ, въ контору посылаете и пьете: разъ и вашу милость на лѣстницу волокъ, разсуждалъ Петруха и не чуялъ грозы.

Управляющій вспылилъ, сочтя всѣ его заключенія за обиду, и закричалъ:

— Да тебя, чухну полосатую, кто объ этомъ спрашивалъ?

— Вы спрашивали.

— Да ты пьянъ, дуракъ! еще не проспался.

— Вы что ли напоили? а я не дуракъ, да и не спалъ.

— Ты еще поговори со мной, погруби! кричалъ управляющій и ругался.

— Я не грублю, Иванъ Тимоѳеичъ!

— А зачѣмъ вчера сбиралъ по квартирамъ деньги?

— Я не сбиралъ никакихъ денегъ по квартирамъ, что вы Бога-то гнѣвите, Иванъ Тимоѳеичъ?

— Зачѣмъ вралъ, что въ деревню идешь и хозяинъ обижаетъ, и на меня пожаловался вездѣ, какъ-будто подослалъ кто?!

— Я ничего не говорилъ и по квартирамъ не ходилъ — стоялъ на своемъ Петруха. Не обижайте, Иванъ Тимоѳеичъ: обидѣть нашего брата легко — да душѣ каково.

— Ты вотъ мнѣ еще душу-то трогай, дуракъ!

— Я не дуракъ! еще меня никто такъ-то не называлъ... Не знаю кто изъ насъ дуракъ! — бухнулъ сдуру Петруха, и повернулся, чтобъ идти къ дверямъ.

Но управляющій дома уже совсѣмъ обидѣлся: онъ топалъ ногами, кричалъ, бранился чаще и сильнѣе прежняго и, наконецъ, назвалъ его даже запойнымъ пьяницей.

Послѣднее слово почему-то особенно не нравилось Петру Артемьеву. Онъ повернулся назадъ и подхватился фертомъ:

— Коли на угоденъ чѣмъ, Иванъ Тимоѳеичъ, такъ лучше пачпортъ и расчотъ пожалуйте: мы другихъ мѣстовъ поищемъ.

— Да я и безъ твоей просьбы это же бы сдѣлалъ — не думай ты!

— А старались угодить, и все, значитъ, раченіе, къ примѣру, клали: на молъ, что можемъ!.. а не то что... А выпилъ наша милость и не угодилъ вашей милости! Обидѣть легко, — нашего

брата легко, обидѣть — продолжалъ разсуждать Петръ Артемьевъ и вывелъ изъ терпѣнія слушателя.

— Ступай же вонъ, вонъ скорѣй!

— Уйдемъ, Иванъ Тимоѳеичъ: будьте не въ сумлѣніи и въ деревню уйдемъ, коли надо будетъ. Вотъ что, Иванъ Тимоѳеичъ! Прощенія просимъ, пошли вамъ Господи всего хорошаго! бормоталъ Петруха тѣмъ жалобнымъ голосомъ, которымъ любятъ говорить притворяющіеся обиженными и какъ бы желая этимъ тронуть и смягчить взволнованное сердце мнимо-обидѣвшаго.

Въ конурѣ дворницкой Петруху уже ожидали нѣкоторые изъ товарищей, желающіе и надѣющіеся опохмѣлиться.

Петруха, войдя къ нимъ, махнулъ только рукой и сказалъ коротко:

— Надо мѣста новаго искать: обижаютъ!

— Что такъ, Петруха?

— Жисть не мила. Ничѣмъ не угодишь: все не по нихъ.

— Али гонятъ?.. хозяинъ, чтоли?

— Самъ пачпортъ попросилъ — и расчотъ: никто не гонитъ. Меня не прогонишь, коли самъ не захочу — не таковской. Мѣстовъ мнѣ будетъ всякихъ, не то, что эка дрянь, невидаль!

— Надо искать, Петруха! Когда: завтра что ли выгонятъ-то?

— Меня не погонятъ! я самъ погоню. Давай лучше выпьемъ, братцы: три рубли еще осталось.

Петруха на этотъ разъ не вралъ только въ послѣднемъ случаѣ: потому-что вечеромъ былъ опять въ омертвѣломъ состояніи, какъ и наканунѣ, а въ тотъ же день не прогнали его со двора потому только, что не могли не только добудиться, но даже и вытащить изъ дворницкой.

По утру, на другой день, онъ былъ уже безъ мѣста, и оставался въ такомъ положеніи цѣлой годъ. Чѣмъ онъ существовалъ во все это время — рѣшить трудно.

Видали его земляки и на Сѣнной, подлѣ воза съ поросятами

и мерзлою дичью, иногда съ кулечкомъ, другой разъ съ другимъ какимъ-нибудь узелкомъ подъ полой; видали его и на Толкучемъ Щукина двора и Апраксина переулка съ старой шпагой, мундиромъ, сертукомъ, книгами, сибиркой, бритвами, палочками сургучу. То онъ вдругъ появится у ящика, въ которомъ за стекломъ лежало много всякихъ мелочей, то вдругъ пропадетъ и ходитъ снова—съ парой сапогъ и колошами, то онъ башмаки по дворамъ разноситъ, то вдругъ выводятъ его изъ полпивной или кабака и перемѣщаютъ изъ одной сибирки въ другую на веревочкѣ, то онъ въ новомъ полушубкѣ попадался, то опять въ рваномъ, то въ шляпѣ пуховой, то опять въ картузѣ съ разодраннымъ козырькомъ. Наконецъ, совсѣмъ пропалъ онъ и съ Сѣнной, и со дворовъ, и съ Толкучекъ.

Земляки рѣшили тѣмъ, что, должно быть, Петръ Артемьевъ совсѣмъ пропахнулся, и подъѣли его безнадежно всѣ досужества, всѣ перекупки, перепродажи, и т. под.

— Не спуста же парень заходилъ въ артель, да все плакался, что въ Питерѣ совсѣмъ жить нельзя—какъ-де ни ладить (думали земляки).

— Сказывалъ—дорога-де мнѣ дальная, тяжолая, невольная лежитъ—долго-молъ, братцы, не увидимся. И таково-то говорилъ жалостно и руками подпиралъ голову, и волоса на лицо спускалъ. Звали выпить:—нѣтъ,—говорилъ, не начинаетъ въ артели и кончать не стану, какого-то Мартына обругалъ и Луканьку нашего прихватилъ... Сталъ ходить вдоль избы и все что-то урчалъ и все ругался, а руками махалъ, а тутъ и пошелъ со всѣми мѣловаться: „простите—говорилъ — не ругай меня артель, не бранилъ-де я васъ, а не сжилось въ ней—страсся такой-де грѣхъ:—самъ причина. Лежитъ мнѣ теперь путь и тяжелъ будетъ!“ Ушолъ отъ насъ, да вотъ ужъ не видали почитъ двѣ недѣли (а то тутъ не каждый день заходилъ), а узнать-то, молъ, и какъ,—тутъ на

приложимъ. Знать ушолъ въ какое неладное мѣсто!—рѣшили его бывшіе сотоварищи и сокашники, и пожалѣли душевно, однако напрасно.

Петруха въ долгъ, да въ поколоть пробирался въ деревню, и дѣйствительно дорога эта была ему и трудна, и рѣшительно не сподручна. Долго—втрое дольше прежняго—былъ онъ въ дорогѣ и едва-едва достигъ до того, что увидѣлъ и село съ погостомъ, на которомъ похоронилъ когда-то старика дѣдушку, и старшаго брата, и на которомъ также, вѣроятно, похоронили безъ него и старика-отца. Увидѣлъ и знакомый боръ, на которомъ сбиралъ онъ грибы и ягоды, и рѣчонку, въ которой купался и купалъ сивка и буланова, и Бараново въ сторонѣ, въ которомъ—когда-то давно—мужики поймали баловливую попову кобылу и, привязавши къ хвосту длинный шестъ, пустили передомъ въ овинъ: билась лошадь впередъ и не пустила палка, а назадъ попятиться не догадалась скотина до той поры, пока не привели самого хозяина. Въ воображеніи Петра Артемьева рисовались и отрубленые хвосты бодливымъ коровамъ, и материны рыданья при прощаньи, и толстый бурмистръ, запарившійся въ банѣ, и дѣдушкины похороны, и высокая шапка, свихнутая на бокъ, и сладкая кутья изъ яшнаго пшена съ медомъ, и жаркая — чорная баня, въ которой такъ хорошо париться, и дядины наказы, и его толковитость, и то уваженіе, съ какимъ обращалась къ нему вся окольность...

— Идти ли полно къ нему навязываться? думалъ Петръ Артемьевъ. Облаетъ, обезсудитъ: крутой обычаемъ... Али пойдти? доводилось же такъ и въ Питерѣ: придешь—думаешь ругаться станутъ, а ничего — словно и не виноватъ, почтеніе отдадутъ, словно и не знаютъ твоихъ провинностей, и ровно бы не ты ихъ сдѣлалъ.

Съ такими разсужденіями, онъ подвигался все дальше впередъ—ближе къ родной деревнѣ, которая казалась ему сначала вдали однимъ чорнымъ, большимъ домомъ, который нѣсколько разъ скрывался то за горой, то за лѣсомъ и, наконецъ, выставился совсѣмъ на глаза рядомъ избъ, надъ которыми различилъ онъ и скворешницы, а подлѣ деревни — бани, овины, кузницу, соцкаго изба съ краю, напротивъ ихъ домишко, дальше дядинъ...

У Петра Артемьева защемило сердце.

V.

Деревня.

— Здорово, батюшко Петръ Артемьичъ, здорово! —говорилъ дядя, вытащившись изъ-за стола и сухо обнимая племянника, который мгновенно пріободрился и началъ уже спокойнѣе и радостнѣе глядѣть на свѣтъ Божій.

— Ну, что̀? какъ тамъ Питеръ-отъ вашъ—богатый городъ? продолжалъ спрашивать дядя, видимо любопытствуя знать о столицѣ и желая приласкать гостя.

Такъ, по-крайней-мѣрѣ подумалъ и рѣшилъ Петръ Артемьевъ.

— Не говори ты мнѣ о экомъ городѣ, не вспоминай его— глаза бы не глядѣли!

Племянникъ махнулъ рукой.

— Что, братъ, больно разсерчалъ на него? али и у тебя тоже, какъ и у другихъ нашихъ ребятъ, что въ осеняхъ вернулись. Пришли, братецъ ты мой. — и начали загибать тутъ бабамъ-то, да мужикамъ-домосѣдамъ: мы-ста и на свѣтъ-то глядимъ инако, и денегъ беремъ много. Наши-то домовики слушали, да ахали, а денегъ-то ребята имъ не давали: жизнь, молъ, дорога̀

тамъ. Сталось на моемъ, что въ Питерѣ, молъ, живалъ, на полу сыпалъ, и тутъ не упалъ.... Такъ-ли не бось, племянникъ дорогой?

— Что тебѣ, дядя, врать съ пуста-то: всю передъ тобой, значитъ, правду скажу. Одно, стало быть, горе было: хозяинъ, дядя, не взлюбилъ.

— Знаю, племянникъ дорогой. Знаю такъ, что коли хочешь все разскажу тебѣ,—все какъ по пальцамъ размажу: перво-наперво, видишь, ты у одного жилъ и ладно бы жилъ — толково жилъ, пока не надоскучило. Что-де думаешь—всѣ ребята, какъ есть вольные, куда надумалъ, туда и пошолъ. Чѣмъ же, молъ, я-то матери пасынокъ? Нѣмцовъ хозяевъ, вишь, хвалятъ молодцы: пойду-де къ нимъ. На то моя добрая воля — никто не указъ. Ну,—вздумалъ, да и пошолъ, и принялъ нѣмецъ, и живешь у него. Да чистоту, вишь, нѣмцы-то любятъ: а гдѣ тутъ за собой на всякомъ шагу усмотрѣть, да на всякой-то-молъ день и мыла не напасешься. А шутъ, думаешь, съ нимъ! ребятамъ русскіе хозяева по полтиннику, гдѣ и по цѣлковому даютъ на гулянку, а тутъ тебѣ нѣмецъ отвалитъ двугривенный—и раскутись на него, какъ знаешь! Не такъ-ли я говорю, Петръ Артемьичъ, племянникъ дорогой?

— Чтобы тебѣ молвить - не соврать: не живалъ, дядя, у нѣмцовъ. Хоть нашихъ ребятъ спроси—и не думалъ.

— Ну, да ладно, пожалуй: я вѣдь и въ долгъ повѣрю. Не живалъ ты у нѣмцовъ, такъ, чай, къ нашему какому нанимался?

— Къ Трифону Еремѣичу ходилъ и жилъ у него: не стану врать дядя.

— Ну, да хоть и.... къ Михѣю-бы какому Савичу. Что же, поди прогульные дни вычиталъ? Коли выбралъ ты всѣ деньги свои, не давалъ впередъ на гулянки?

— Разъ далъ, дядя, да послѣ-вишь другіе-то ребята сби-

ли, изъ-за нихъ и мнѣ не давалъ, а то завсегда на почотѣ былъ.

— Ну, а тѣ, стало быть, на тебя клеплютъ, что изъ-за тебя-де хозяинъ отказывать сталъ: у васъ и идетъ круговая! Вотъ ты и сталъ стонать, да охать: и этотъ-де хозяинъ обижаетъ:—надо другаго пріискать. Тутъ, молъ, тебѣ не токма-де чаю въ харчевнѣ и водка-то на диво станетъ. Заходили, поди, къ тебѣ земляки, такъ и угостить ихъ нечѣмъ было: посидѣли съ тобой, помолчали: тебѣ жалко ихъ стало, да и самому выпить хочется. Слышалъ, вѣдь я,—пьешь теперь. Посидѣли земляки-то, помолчали: одинъ поди на балалайкѣ тряхнулъ. Али гармонію держишь?

— Балалайки, дядюшка, придерживался: не солгу ни въ чомъ. Кори ты сколько хошь, сколько душѣ твоей надо: все буду слушать; обиднаго тебѣ слова не молвлю.

— Корить тебя что мнѣ? А обиднаго слова отъ экаго наяливаго человѣка мнѣ не на-диво слушать. Отступись ты, провались совсѣмъ!!

И старикъ-дядя, махнувъ рукой, замолчалъ.

Молчаніе это коротко было знакомо семьѣ (которую — надо признаться—держалъ старикъ, что называется, въ ежовыхъ рукавицахъ), понятно было молчаніе это и для племянника. Старикъ видимо шибко сердился, и только непонятнымъ казалось одно, что онъ не топнулъ ногой, не кричалъ до перхоты и кашля.

Онъ медленно вытащился изъ-за стола, сильно и громко крикнулъ и медленно поползъ на полати.

Все это дѣлалъ онъ при общемъ гробовомъ молчаніи. Гораздо послѣ нарушилось это молчаніе имъ-же самимъ. Старикъ говорилъ:

— Дали бы вы ему, бабы, поѣсть, что ли? — авось дядинымъ-то хлѣбомъ-солью не поперхнется...

Но Петру Артемьеву, кажется, совсѣмъ не до ѣды было: горячимъ варомъ обдавало его лицо, и горѣло оно словно на вѣтру, послѣ жаркой бани. Неловко ему какъ-то и стоять у стола: рукъ и ногъ дѣвать некуда и бороду бы спряталъ.... А тутъ еще дядя съ полатей уставился на него своимъ строго насмѣшливымъ взглядомъ, и концы бороды подбиралъ въ ротъ и обгрызывалъ ихъ, и все смотрѣлъ пристально на нежданаго гостя.

— Не съ того, дядя началъ! — думалъ этотъ. Сначала-то бы и ладно, и по мнѣ бы, а тутъ круто, круто пошолъ. Кажись бы, лучше, кабы лаской-то донялъ. А то тутъ тебѣ и словъ не приберешь—все одно да одно. Ну, знамо, худо дѣло: самъ вижу. Кабы зналъ я это: — въ Соснинѣ бы лучше остался, въ работники бы, чтоли, какіе нанялся....

— Не проси, тетушка!—говорилъ уже вслухъ Петръ Артемьевъ, безсознательно усаживаясь за столъ, — сытъ еще отъ соснинскихъ.

— Да не гнѣвайся, Петрованушко!—не гляди ты на него, знаешь вѣдь: завсегда крутой былъ, а теперь совсѣмъ сталъ грубливъ, и не приступайся. Все не по немъ—шептала старуха-тетка. Какъ ты ни ушолъ въ Питеръ, такъ словно кто его пополамъ переломилъ: такой-то сталъ неповадной, все урчитъ, все не по немъ. Охъ!... крутъ на старости сталъ, больно крутъ!....

— Проси его, старуха, проси—кланяйся!—заговорилъ дядя съ полатей. Столичной народъ любитъ повадку, шибко любитъ:— на то вѣдь и жилъ тамъ ровно четыре года, а насъ, стариковъ, и въ грошъ не ставилъ, и за родню кровную не считалъ, потому, что самъ лучше. Всѣхъ мой племянникъ лучше, и меня лучше.

— Охъ, не казни ты его, Селифонтычъ, не казни своей немилостью: вишь на парнѣ и лица-то не знать стало. Брось ты покоры-то эти!—не слыхали бы мои уши, не видала бы лучше срамоты на немъ. Родной вѣдь—племянникъ по тебѣ....

Старуха давно уже заливалась слезами. Сочувствуя ей, нелегко было удержаться отъ того же и другимъ бабамъ; крѣпился еще виновникъ печали, да дядя его, немедленно приказавшій быть слезамъ за переборкой, на своемъ мѣстѣ. Онъ не любилъ шутить, и сталъ дѣйствительно крутъ и сварливъ, вздоренъ, капризенъ, какъ всѣ старики, умудрившіеся опытомъ жизни и совершенно забывшіе объ увлеченіяхъ своей и чужой молодости, ища всюду только однаго почтенія къ себѣ и безпрекословной полной подчиненности. Они, какъ мухи, которыя сильнѣе брюжжатъ и болѣе кусаются передъ скорой зимней спячкой. Законно ли это и разумно — семья старика разсуждать не смѣла и не находилась; а племяннику и подавно не было до этого дѣла. Къ тому же онъ совершенно былъ убитъ и озадаченъ.

Въ избѣ опять всѣ замолчали, кромѣ лучины, которая продолжала шипѣть, трещать и стрекать угольномъ въ воду лоханки.

Петръ Артемьевъ къ разставленнымъ яствамъ и не притрогивался, а сидѣлъ, потупивъ голову, ворочая ложкой, чашкой, сукроемъ хлѣба. Дядя началъ первымъ, послѣ долгаго непріятнаго, убійственнаго затишья, и опять не такъ, какъ бы желалъ и смѣлъ ожидать племянникъ.

Дядя говорилъ, какъ будто про себя и ни для кого другаго:

— У насъ на дняхъ свадьба наладилась: Паранька Стрекачиха за Пузанова старшаго парня выходитъ и знатная парочка — баранъ да ярочка. Михайло-то Пузанова славный вышолъ: у отца въ лавкѣ правая рука. На макарьевскую батько посылалъ,—такъ, самъ, слышь сказывалъ, такъ бы не съѣздилъ: подобралъ такихъ красныхъ, да пестрыхъ товаровъ, что цѣлую округу собери мужиковъ, да бабъ нашихъ:—лучше бъ не выбрали. Ну, и невѣста—коли въ хорошія руки попадетъ,—бабенка съ обхожденіемъ будетъ: порукой семья неопозоренная.

— Да тутъ въ осеняхъ вотъ еще что было, продолжалъ дядя нѣсколько погромче и уже прямо обращаясь къ Петру Артемьеву. На братниной могилѣ крестъ поставилъ: совсѣмъ, вишь, безъ него стояла, да и дождями-то, знать, поразмыло ее: насилу распозналъ. Вотъ обо всемъ попеченіе имѣемъ, мы-то, мужики деревенскіе, а и дѣтки бы есть, да вишь: дѣткамъ-то некогда, что-ли?...

За этими словами изъ-за перегородки послышался новый вой и новыя всхлипыванья, которыя перестали было, пока старикъ говорилъ въ началѣ.

Не обративъ на это особеннаго вниманія, онъ призамолкъ ненадолго, далъ угомониться причитальщикамъ и началъ снова, все-таки прямо обращаясь къ Петру Артемьеву:

— Мать твоя по міру-было пробираться стала и совсѣмъ въ это дѣло втянулась. Я и такъ и сякъ ладилъ; и къ себѣ въ избу бралъ и другихъ просилъ. Вразумляли всяко: нѣтъ, говоритъ, никого собой тяготить не хочу, — лучше сама, говоритъ. Тоже-знать — и на ея дурость законъ не писанъ и ей никто не указъ, въ сына, надо быть, вышла.

При этихъ словахъ Петръ Артемьевъ уже не могъ выдержать вынужденнаго упорства въ молчаніе.

— Гдѣ же теперечa матушка-то? робко спросилъ онъ у дяди, но получилъ отвѣтъ отъ старухи-тетки, выскочившей изъ-за перегородки, въ сопровожденіи остальныхъ бабъ.

Тетка, сквозь слезы и рыданія, успѣла проговорить немногое:

— Въ Овсяникахъ: у Матрены... гостить пошла..., на недѣлю-молъ.... а тамъ опять къ попадьѣ.

— Сходилъ бы, добро, повидался: всего-то никакъ версты три! опять заговорилъ дядя тѣмъ же полусердитымъ тономъ, хотя уже и замѣтно помягче.

— Сегодня-то переночуй у меня: милости просимъ! Только извини ты меня: на щитѣ придется; пуховиковъ-то не держу и не привыкалъ къ нимъ. А то, коли хошь, на полати взлѣзай: у меня полушубковъ много. Собирайте, бабы, ужинать: пора!

Сказавъ это, старикъ слѣзъ внизъ, сѣлъ къ столу, задумался и не говорилъ больше, до тѣхъ поръ, пока не было все готово.

— Водку-то пьешь? — спросилъ онъ племянника. Иные, вишь, для задору, какъ къ ложкѣ, такъ и за рюмку: спорчѣй, слышь, яства-то!

— Нѣтъ, спасибо, дядюшка, не хочу: совсѣмъ отвалило: не стану тепереча... и опосля не стану.

— Ну, да чего — нѣтъ? держу вѣдь: есть про всякой случай. Наша водка дешевле питерской: похуже, можетъ, только: не такъ больно шибко разбираетъ. И опохмѣляются-то отъ нея квасомъ; а другіе такъ прямо берутся за работу и все рукой вымашутъ, весь хмѣль этотъ. У насъ, вѣдь, нѣтъ этихъ запоевъ, чтобъ года-то по три... такихъ нѣтъ!

Въ половинѣ ужина, начатомъ при прежномъ всеобщемъ молчаніи, старикъ какъ-бы поразвеселился; пошутилъ даже одинъ разъ съ любимой невѣсткой, и тѣмъ ободрилъ и племянника, и плаксивыхъ бабъ. Все замѣтно повеселѣло.

Въ концѣ ужина, онъ опять заговорилъ съ Петромъ:

— Ты на меня не сердись, Петръ Артемьичъ.

— За что стану сердиться?—на разумъ вѣдь...

— Я тебѣ родной дядей зовусь. Коли что и не по-мнѣ и за сердце хватаетъ, такъ опять-таки оттого, что ты племянникомъ мнѣ доводишься. Вотъ тутъ и пошло опять такое...

— Знаю, дядюшка, какъ не знать?—Знаю: все это на душу принялъ.

— И дѣло—и баста! Сегодня ужь и толковать перестанемъ, а завтра все и порѣшимъ, и къ матери сходишь, и къ брату

на могилку вмѣстѣ заберемся, вонъ и бабъ прихватимъ. Да нѣтъ!—лучше безъ нихъ путемъ, а то голосить начнутъ—и не удержишь.

Подъ вліяніемъ послѣднихъ дядиныхъ ласокъ, свиданіе Петра Артемьева съ матерью было скорѣе трогательное, чѣмъ безнадежное и тяжолое.

Старуха, по обыкновенію, жаловалась на бездолье, на дядю и его семью, хвалила Матрену, попадью и другихъ добрыхъ людей, бранила своихъ бабъ, съ которыми — говорила—и не видается; скорбѣла, что не можетъ приласкать внуковъ; плакала при этомъ и обнимала сына.

Про отца и его кончину Петръ Аремьевъ не могъ узнать отъ матери: она отвѣчала слезами, и одними только слезами съ присоединеніемъ однообразныхъ и отрывочныхъ ласкательныхъ словъ, которыя могли столько же относиться и къ покойнику-мужу, сколько и къ вернувшемуся съ чужой стороны сыну. Старуха не жаловалась на него и даже пѣняла дядѣ за то, что тотъ называлъ Петруху пьяницей.

— Ну, какъ тебѣ не пить?—говорила она. Большой вѣдь сталъ. Кто нынче не пьетъ: вонъ наши деревенскія свахи еще оговариваютъ за жениховъ, когда спросятъ не пьетъ-ли-де парень? Кто, молъ, нынче толкуетъ этакъ: спрашивали бы лучше: во хмѣлю-то каковъ? А то пьютъ,—всѣ пьютъ. Одинъ только дядя не пьетъ, и то потому, что крутъ, неповадливъ, да и у того завсегда есть водка въ ставцѣ, и проч.

Старуха разсказывала долго и много: и о томъ, какъ въ Тотьму ходила, и о томъ, какъ поповы ребята хорошо священное поютъ, и какъ у господъ о Святой и о Святкахъ рѣчи сказываютъ, и получаютъ за то, гдѣ гривенничокъ, а гдѣ и двугривенной, и о томъ, какъ у Матрены ребята вечоръ поссори-

лись, да чуть не перекололи себѣ глазъ веретнами, какъ объ нихъ мать цѣлый голикъ истрепала и проч. и проч.—

Петръ Артемьевъ слушалъ, все слушалъ съ большимъ вниманіемъ, и отъ этихъ разсказовъ у него на душѣ становилось почему-то легче. Онъ успокоивался и предлагалъ матери вернуться къ дядѣ, но получилъ рѣшительный отказъ. Старуха соглашалась вернуться въ свою избу и жить постарому, но Петръ Артемьевъ рѣшительно не могъ служить ей этимъ и отклонить мать отъ побирайства: она привыкла и слышать не хотѣла объ иной жизни, тѣмъ болѣе зависимой и подневольной. Съ своей стороны мать совѣтовала-было сыну наняться къ кому-нибудь изъ овсяниковскихъ, чтобы быть ближе къ ней, но Петръ Артемьевъ обѣщался во всемъ подчиниться и слушаться дяди. Вмѣстѣ сходили они на погостъ, на могилу большака. Здѣсь старуха выла и жалобно причитывала.

— Каждую сорочинку такъ-то вотъ все дѣлаю,—присовокупила она, въ назиданіе сыну. Какъ-бы ни забрела далеко, и ужь знаю время и приду повыть, и въ Митріевскую, и въ его день ангела-то, и въ свой, и въ обѣ сорочинки..... Крестикъ-то былъ,—врѣзать велѣла. Хотѣла было попросить молитву прописать, да не кого было. Ну, ужь молъ,—думаю, Петрованушки подожду: онъ вѣдь грамотѣй, напишетъ. Что, молъ, я къ чужимъ-то приставать стану.

Старуха не забыла вспомнить и о Паранькѣ, хотя самому Петру Артемьеву и въ голову не пришло спросить про нее.

— Паранька-то твоя сговоренкой ходитъ; за смиренство,— слышь, берутъ. Объ тебѣ-то, моемъ ясномъ соколѣ, и забыли. Пузановъ беретъ за сына, за Михайлу.

— Сказывалъ дядя; мнѣ-то что̀?

— Какъ что̀, разумникъ: разѣ ужь и напостылѣла?

— А зачѣмъ выходитъ, что не ждала?

— Ну, какъ тебя, батько, ждать? дѣвичье дѣло. Четыре зимы вѣдь не былъ, гдѣ тутъ и ей-то?

— Кабы захотѣла — дождалась бы, ни на вѣсть какой долгой вѣкъ, не умеръ.

— Знамо не умеръ, да поди ты — сладь съ дѣвками! Михайло-то, баютъ, ей больно полюбился.

— Не драться же и мнѣ съ нимъ: пущай! рѣшилъ Петруха и слова не говорилъ больше о Паранькѣ со своей матерью.

Встрѣтивъ сговоренку съ ведрами, на возвратномъ пути къ дядѣ, онъ какъ бы не узналъ ее и прошолъ было мимо. Но Паранька сама остановила его вопросомъ:

— Никакъ ты, Петруха?

— А то нѣтъ: вглядись, коли не ослѣпла.

— Давно ли изъ Питера-то пришолъ?

— Тебѣ-то, вишь, больно нужно знать: не скажу!

— Давно я тебя не видала, и вѣсточки не присылалъ о себѣ на послѣдяхъ. Пытала выспрашивать, словно въ воду канулъ.

— Небось, не померъ — живъ! На вотъ колечко-то, что помѣнялись, и мое-то отдай!

— Не надо мнѣ своего и твоего не отдамъ: потеряла.

— А это что на мезинцѣ-то?

— Это не твое: твое-то потеряла.

— Ну, смотри, прибьетъ Мишутка—станешь знать.

— А пущай бьетъ, что мнѣ?

— Отступись ты, чортовка! не глядѣлъ бы я на тебя. Ишь какая карявая стала, словно на рожѣ-то черти горохъ молотили!

Съ послѣдними словами Петруха оставилъ дѣвку, и всѣми мѣрами старался не встрѣчаться съ нею, хотя это и трудно было, потому-что одинъ разъ Паранька пригласила его въ поѣзжане съ своей стороны, а въ другой подослала жениха просить его въ дружки:

— Онъ вѣдь грамотный! приговоры-то славно скажетъ. Питерщики завсегда хорошо это дѣлаютъ.

Но Петруха не соблазнился на лестныя предложенія въ дружки, не хотѣлъ даже быть ни поѣзжаниномъ, ни поддружьемъ. Когда ему поставили на видъ, что отказаться отъ приглашенія на свадьбу—все равно, что обругать и кровно обидѣть пригласившихъ, онъ обѣщался придти горшки бить и оконныя стекла. Намекнулъ даже, что и дегтю прихватитъ съ собой ворота мазать. Но его отговорили, и съ величайшимъ, впрочемъ, трудомъ сдѣлали это знакомые ребята.

Между-тѣмъ Петръ Артемьевъ продолжалъ жить у дяди, исполняя по дому кое-какія подручныя и легкія работы, потому-что для остальныхъ старикъ всегда держалъ батрака, котораго выкупалъ, за свои деньги, въ трудныя времена рекрутства и обязывалъ за это жить у себя зимой, отпуская лѣтомъ для лѣтнихъ потребъ.

Лѣтнія работы старикъ исполнялъ разомъ—помочами и такимъ-образомъ не обременялъ ни домашнихъ, ни чужихъ, ни себя самого. Племянникъ въ его хозяйствѣ былъ почти лишнымъ, хотя и не отягощающимъ нахлѣбникомъ. Къ тому же, онъ старался показать все свое рвеніе, и какъ будто скучалъ неимѣніемъ работъ, и слѣдовательно средствъ угодить и отблагодарить дядю за теплой пріютъ и кусокъ хлѣба. Старику это нравилось, и онъ радовался и былъ доволенъ сколько самимъ собой, столько и плодами его вліянія на исправленіе питерщика, свильнувшаго съ большой на проселочную.

Часто, очень даже часто старикъ крѣпко задумывался, глядя пристально на племянника и какъ-будто придумывалъ что-то важное и разумное. Наконецъ, однажды вечеркомъ, при полномъ сборѣ семьи, при матери племянника, онъ сказалъ послѣднему:

— Надо бы, тебѣ, парень, о себѣ-то подумать хорошенько:

у меня жить — не кручинну быть, не объѣшь — не обопьешь, не отяготишь. У меня не только про тебя, да и на твою старуху хватитъ. Достатками своими не хвастаюсь; а не обидѣлъ Богъ: самъ видишь и знаешь. Да за тебя-то боязко: облежишься, облѣнишься, хуже тряпицы рваной станешь. Попридумалъ бы—попригадалъ самъ. Я-то смекнулъ и такъ, и эдакъ.

— Надо, дядя, подумать. Что говорить — надо.

— По мнѣ,—надумалъ я,—въ плотники тебѣ идти въ артели: такъ, вишь, не умѣешь ты этого дѣлать. Опять, гляди, — сблагуешь по-старому.

— То-то, дядя, опять не сблаговать бы и есть!

— Вотъ, видишь — и за себя мы не стоимъ и надежи не кладемъ на себя, а гдѣ ужъ другому-то за тебя ручаться?

— Гдѣ другому ручаться? — никто не поручится: всякъ по-себѣ.

— И я такъ-то думалъ, да мудрилъ — и ничего не выходитъ. А ужъ это дѣло закономъ идетъ изъ-поконъ-вѣку, ты еще и на свѣтъ-то не казался, да и дѣдушка-то твой, да и дѣдушки-то твоего дѣдушко.

— Да такъ, такъ, дядя! Святыя твои рѣчи — никто не посмѣетъ спорить.

— Вотъ ты и разумно бы говоришь, а придумать не придумалъ самъ. Я-то опасался, признаться, маленько. Скажутъ-молъ, что дядя гонитъ тебя, скупой сталъ; сѣдина-де въ бороду увязалась и бѣсъ въ ребро вляпался. Такъ и не начиналъ говорить, да и это по-любви, отъ сердца. Все, думаю, не въ мать же парень, не станетъ ругать, да корить меня по перекресткамъ, а толково разсудитъ. По мнѣ — живи у меня хоть до смерти.

— Зачѣмъ жить до смерти? Работать надо: на то руки-ноги даны. Научи! Приставь голову къ плечамъ!...

Петръ Артемьевъ всталъ и палъ дядѣ въ ноги:

— Наставь на правду-то... плательщикъ вѣдь по гробъ, говорилъ онъ, и опять палъ въ ноги.

— Вставай-ко, вставай—и такъ, просто потолкуемъ. Эдакъ-то больно дорого платишь за совѣты мои, я вѣдь и даромъ. Грамотѣ-то не забылъ?

— Гдѣ забыть? и письму знаю, и книгу какую хошь прочту.

— Ну, лишь этимъ обрадовалъ. Хоть это-то не пропилъ. Съ этимъ можно уладить, а то и не думалось, и не разгадывалъ толкомъ,—твердилъ дядя про себя, и задумался надолго. Соображалъ, соображалъ и, наконецъ, рѣшилъ онъ такимъ-образомъ:

— Ребятъ рожаютъ много: въ Питеръ уходятъ и повѣстить не кому, не кому и письма написать. Братъ такъ и умеръ темнымъ и окромѣ кута своего, да голбца ничего не зналъ; хоть ладно батюшку покойнаго Богъ надоумилъ еще тебя-то выучить и ты-то не забылъ. Вотъ я какъ надумалъ и, кажись, ладно: надо тебѣ избу-то свою поправить, на это я тебѣ дамъ лѣсу, даромъ: у меня много. Вотъ и батраку велю пособить; самъ ты тоже это дѣло знаешь—не учиться. Мать-то возьми, не шлялась бы по подоконьямъ-то: только срамоты набирается и на свою, и на мою, да и на твою голову. Не пускай ее въ побирайство: неладно это!... Сама-то она и разсудить не хочетъ: въ глаза я ей это говорю, и всѣ говорятъ. Избу-то отдѣлаешь: мы и дадимъ знать и на сходкахъ мірскихъ и такъ по селу, на торгахъ. Хоть, пожалуй, и шапку на палку повѣсишь и пойдешь вдоль базара между народомъ и станешь кричать: „не хотите ли-де, православные, ребятъ отдавать грамотѣ учиться: приводите на зиму!“ А чтобы не трогали тебя соцкіе, я берусь и исправника и становаго попросить и денегъ на книги дамъ. Подумай-ко, да и принимайся за дѣло, съ молитвой. Такъ ли?

— Чего, дядя, лучше! отчего не такъ? Ишь, какъ ты ловко

надумалъ; мнѣ бы во сто лѣтъ не пришло такъ-то. Палата же у тебя ума-то, дядя, эка палата!...

— Ну, да что хвалить-то, что? не годится хвалить своего, осудятъ сторонніе! — могъ только сказать старикъ, но видимо былъ доволенъ и похвалами племянника, и собственной выдумкой и толкомъ, какимъ наградила его природа и долгая безупречная жизнь.

По совѣту и при помощи дяди, изба поправлена, сдѣлалась по-прежнему годною для жилья. Приблизилось желанное время ярмарки, собиравшейся въ ближномъ посадѣ. Понесся оттуда на всю окрестность громкій гулъ и безтолковый говоръ съѣхавшагося народа съ телятами, мукой, медомъ, поросятами, всякаго рода дичью, бураками, ведерками, хомутами, шлеями и пряниками и проч., и проч. Подторжье было людно и шумно: ярмарка и шумнѣе и люднѣе, особенно послѣ той поры, какъ прошли образа, утихъ колокольный звонъ и начался самый важный развалъ и разгаръ ярмарки.

Въ эту пору надъ головами базара выставилась на палкѣ косматая шапка-треухъ, которая медленно подвигалась впередъ. Ближайшимъ кучамъ базарнаго народа слышался изъ-подъ этой шапки громкій разносистой припѣвокъ, обращавшій на себя общее вниманіе. Нѣкоторые спѣшили остановить и распросить кричавшаго. Другіе сторонились и опять принимались кричать и громко спорить между собою.

— Что, Петруха, зѣваешь? али корова, либо лошадь пропала? какой шерсти-то? ужъ не буренка ли дядина? али буланой? — сыпались вопросы со всѣхъ сторонъ на кричавшаго, ставивъ его въ необходимость повторять свои предложенія всякому порознь.

Одни молчали на это, нетолково придакивая, другіе извѣщали его, что дѣтей не давалъ Богъ, не упуская при этомъ случая подшутить надъ молодухами. Иные отвѣчали короче:

— Ладно, молодецъ, будемъ знать! — ступай, сказывай дальше!...

Снова сторонился народъ, снова поднимался надъ головами и массой базарнаго народа косматой треухъ и выкрикивалъ громко и на распѣвъ голосъ Петра Артемьева свой длинный припѣвокъ:

— „Не надо ли кому ребятъ учить: читать, писать и по гражданскому и по черковному? Приводите въ деревню Судомойку на зиму. Дешево беремъ!“

VI.

Учитель.

Базарный выкрикъ Петра Артемьева не пропалъ даромъ; по деревнямъ понеслись лестные для него слухи, что, дескать, въ Судомойкѣ одинъ молодецъ изъ питерщиковъ грамотой маклачить хочетъ и избу на то построилъ новую, и ребятъ учитъ, и письма пишетъ кому надо. За науку всѣмъ беретъ: и мукой, и пшеномъ, и капустой, и солью, и масломъ. Ленъ — такъ и тотъ беретъ: сырьемъ и въ ниткахъ. Судомойковскимъ баринъ крѣпко-на-крѣпко наказалъ всѣхъ ребятъ отдавать къ нему: за тѣмъ и бурмистру велѣлъ смотрѣть, и соцкаго по избамъ гоняютъ. У учителя полна изба всякимъ народомъ: и дѣвчонокъ даже беретъ,—есть и такія.

Подобные слухи, переходя изъ избы въ избу, изъ устъ въ уста, поднимали, шевелили домосѣдство и закоснѣлость деревенскаго, сосѣдняго Судомойкѣ, православнаго люда.

Поднималась и приходила къ учителю вдова-старуха, которой спалось и грезилось видѣть своего Андрюшку грамотнымъ, — такимъ, чтобы онъ читалъ въ поученье мірянамъ и „Часы“ передъ обѣдней и „Житія“ у дьячка въ избѣ по воскреснымъ ут-

рамъ, и чтобы истово и громко носился его голосъ по избѣ, услаждая и вразумляя слушателей, и плакала бы, горько и слезно плакала бы при этомъ она, сердобольная мать такого толковаго, разумнаго и грамотнаго парня.

Приходила она въ избу учителя и кланялась за парня, и его толкала впередъ:

— Вразуми! возьми ты моего болѣзнаго-то на наученье. Толковъ, вѣдь, больно толковъ: самъ змѣйки дѣлаетъ, балалайку, разумникъ, сладилъ изъ писарскихъ подтяжекъ, изъ ниточекъ мѣдныхъ.

— Давай! Беремъ всякихъ.

— А почемъ тебѣ дать за науку-то? робко спрашивала мать у учителя, и слезливо смотрѣла ему въ глаза.

— Всяко беремъ: и деньгами и житомъ. Да гдѣ, чай, у тебя деньги? — спрашивалъ учитель.

— Какія, кормилецъ, деньги?—Какъ ни померъ покойникъ, почитай и на глаза не видывала денегъ-то ни копѣйки.

— Ну, такъ житомъ давай, коли денегъ нѣтъ — и жито пригодится: овса, муки...

— Будетъ, батько, будетъ; занесу утрѣ. Не бей ты только парня-то, не хлещи до слезъ. Боязкой, вѣдь, храненой!—Не напужай: обольется!...

Учитель уговаривался, бралъ парня и принималъ другихъ просителей.

Приводилъ и соцкой многихъ ребятъ, въ сопровожденіи ругавшихся и неутѣшно плакавшихъ матерей: и грозилъ имъ соцкой своей палкой, и про березовыя вѣники напоминалъ, и про становаго. Еще громче и сильнѣе плакали и бранились бабы, хватаясь за ребятъ; еще громче и сильнѣе стучалъ соцкой своимъ падагомъ, но все-таки устаивалъ на своемъ и исполнялъ начальничій и помѣщичій приказъ.

Приходилъ къ Петру Артемьеву и несчастный отецъ баловниковъ-ребятъ, отбившихся отъ рукъ своими шалостями, которыя особенно участились въ послѣднее время. Жалобы на шалуновъ слышались чаще, приносились со всѣхъ сторонъ. То ребята въ овинахъ затѣяли картофель печь—того гляди подожгутъ, не только овинъ, но и деревню. То на рога коровамъ пустыя лукошки привязываютъ; то длинные шесты къ хвостамъ; то вилашки у баловливыхъ свиней посимали и до упаду ѣздятъ на нихъ, гоняютъ по полю. То кошекъ чуть ли не всѣхъ побросали въ прудъ: синяковъ дѣвчонкамъ надѣлали. Все одни и тѣ же ребята начинаютъ, все дѣти того же несчастнаго отца, который и къ розгамъ прибѣгалъ, и словами донималъ, и все-таки не видалъ толку и исправленія; ребята, какъ на зло, еще хуже дурили: стали на старухъ наскакивать и шлыки сбивать,—сбили шлыкъ и у бурмистровой матери. Тутъ уже не вытерпѣлъ отецъ; развелъ руками, посѣкъ ребятъ; побранилъ, сколько могъ, крѣпко и рѣшилъ отдать ихъ въ науку; авось-дескать тамъ поотвыкнутъ, а то—того гляди—своей спиной придется скоро раздѣлываться, отвѣчать за ребятъ.

Велѣлъ онъ имъ скорѣе одѣться и повелъ изъ избы: замерли у ребятъ сердца, словно передъ страшной, но не избавной бѣдой, до того, что не разъ на пути порывались на утекъ, по за-спиной отца, опять къ другимъ деревенскимъ ребятамъ въ компанію. Отецъ переловилъ ихъ, и все-таки устоялъ на своемъ и привелъ къ знакомой для деревенскихъ мальчишекъ судомойковской избѣ учителя, откуда неслось на всю деревню нескладное завыванье десятка дѣтскихъ голосовъ, накрываемое густымъ напѣвомъ руководителя.

Одни голоса по-бойчѣ, словно трещотки, тянули скоро и опережали остальныхъ и даже самого учителя, густой голосъ котораго сопровождался ударами по столу.

Онъ сидѣлъ въ переднемъ углу; косматой, съ толстой линейкой въ рукахъ, которой, можетъ-быть, сейчасъ только нахлопалъ на баловливой ладонѣ десятокъ, а того и гляди дюжину горячихъ, невыносимыхъ отъ боли паль, которыя такъ и жгли всю руку и заплечья провинившагося. По обѣимъ сторонамъ учителя, вдоль стола, уткнувъ головы въ раскрытыя, изорванныя и до неопрятности засаленныя книжки, скучившись, сидѣли невольныя жертвы—мученики. У середнихъ торчали указки изъ лучины съ острымъ концомъ и широкимъ, красиво-зазубреннымъ верхомъ. Трое стояли на колѣняхъ въ углу, подлѣ печи: одинъ изъ наказанныхъ таскалъ изъ-подъ себя горохъ и украдкой просовывалъ въ ротъ. Другому, болѣе виноватому, досталась горшая участь: онъ поставленъ былъ на дрясву, которая больно впивалась въ колѣнки, и виновный, тоже украдкой, разгребалъ ее по сторонкамъ. Надъ третьимъ виноватымъ подшутилъ учитель, поставилъ его лицомъ въ уголъ и запретивши оглядываться! Въ противномъ случаѣ его ожидали земные поклоны, отъ которыхъ потомъ могла пойдти кровь носомъ и головная неутѣшная боль.

Такова была ежедневная картина избы Петра Артемьева, крайне обрадовавшая несчастнаго отца и запугавшая и опечалившая его баловниковъ-ребятишекъ.

Учитель призамолкъ: мгновенно затихли и пѣвчіе его, воспользовавшіеся отдыхомъ, чтобы пощипать и пощекотать другъ друга, и въ свою очередь помѣститься къ печи, на дрясву и горохъ.

Отецъ баловниковъ говорилъ учителю:

— Вотъ еще тебѣ три парня въ науку: совсѣмъ одолѣли. Пошугай ихъ вволю, дери сколько знаешь и сколько хошь—перечить не стану: и вѣниковъ навяжу, если велишь, даромъ, и дрясвы наколочу, и гороху нагребу. Дери, знай, въ волю, да шибче, хоть три шкуры спускай,—совсѣмъ одолѣли: вечоръ лошковской коровѣ ни за што отрубили хвостъ. Уйму—нѣтъ!... А

ну-ко, ну! поставь-ко и моихъ-то на дрясву по первоначалу: я посмотрю!

Учитель радъ былъ исполнить волю родителя, хотя и съ большимъ трудомъ сдѣлалъ это: новички еще не привыкли сразу повиноваться ему, и спѣшить тотчасъ же подчиняться наказанію, какъ въ воду—въ омутъ—кидаться, въ полной безнадежности и, не видя другаго исходу ни назади себя, ни впереди.

Отецъ полюбовался потѣхой и заговорилъ объ условіяхъ;

— Чай, вѣдь, не даромъ берешь?

— Вѣстимо, не даромъ.

— Какое же тебѣ спасибо-то надо? я не постою. Отучи только ребятъ отъ баловства.

— Да вотъ баринъ за нашихъ велѣлъ полтину давать въ зиму, и эти за полтину идутъ! толковалъ учитель, стараясь вразумить отца, что беремъ-де и житомъ, а все бы лучше, если-бъ деньгами уговориться. Къ тому же тутъ три парня и поторговаться можно.

— Деньгами, по мнѣ, не за-что платить тутъ. Ты, вонъ, слыхалъ я: больше житомъ берешь и съ меня бери житомъ. У меня, вишь, ржи залишной много осталось, подѣлился бы, и не въ тягость бы мнѣ было. А деньгами тутъ не за что платить.

— Съ тебя надо деньги: мужикъ ты съ достаткомъ, съ другаго кого беру и не деньгами, а съ тебя не подходяще.

— По гривеннику вѣдь тебѣ положить за парня, чай, мало будетъ?

— Это только на книгу хватитъ. А труды-то во што ставишь?

— Ну, еще кладу по пятачку на парня! такъ и выйдетъ по пятиалтыннику.

— Нѣтъ, эдакъ-то не сходно; этакъ-то ты самъ лучше учи, а мнѣ не надо: и этихъ ребятъ будетъ съ меня.

— Постой, да ты постой, поторгуемся. Ну! по двугривенному за голову, и книги куплю самъ!

Отецъ уже протянулъ пятерню, чтобы ударить по рукамъ и рѣшить дѣло окончательно. Но учитель зналъ норовъ и упрямство сосѣднихъ богатѣлей и не подавался назадъ отъ назначенной цѣны въ началѣ до конца сдѣлки.

Мужикъ ломался, хитрилъ, сколько могъ, придумывая придирчивыя и несходныя условія—и не устоялъ, встрѣчая съ одной отороны устойчивость и упорство учителя, а съ другой вспоминая прежнія и воображая себѣ будущія шалости ребятишекъ, за которыя могъ бурмистръ разсердиться и ребяцкое дѣло отдать на мірской судъ и расправу.

— Ну, ладно — быть по тебѣ. Не стою! Только больнѣе хлещи ребятъ—не жалѣй шкуры. Мои, вѣдь, доморощеныя.

Окруженный голосистыми и шаловливыми учениками, Петръ Артемьевъ мало по малу привыкалъ къ скучному и однообразному занятію учителя: цѣлую недѣлю по утрамъ выпѣвалъ съ ними букварь и псалтирь, терпѣливо повторяя зады и медленно подвигаясь впередъ. Зато, съ другой стороны, онъ былъ обезпеченъ совершенно; для обихода у него на все былъ запасъ даровой, некупленой. Старухѣ его было легче справляться со стряпней: ребятишки-ученики, по очереди, и дрова кололи, и воду таскали въ избу, считая даже эту работу за особенную милость, за награду, на перерывъ, съ неизбѣжной дракой, хватались и за топоръ, и за ведра. На праздникъ уходили дальные по домамъ, ближніе расходились каждый вечеръ.

Такъ тянулась зима до той весенней поры, когда въ деревняхъ начинаются работы трудовыя, тяжолыя, гдѣ и помощь ребятишекъ приноситъ свою очевидную пользу. Петръ Артемьевъ,

вслѣдствіе этихъ обстоятельствъ, на все лѣто прекращалъ ученье и начиналъ его снова поздней осенью, когда прогорятъ овины затѣются супрядки—засидки по вечерамъ, катанья по праздникамъ (съ 24 ноября) и не замѣтно подойдетъ 1-е декабря—пророкъ Наумъ, который—по крестьянскому присловью—наставляетъ на умъ. Въ этотъ день, по принятому и укоренившемуся обычаю, ученики и родители ихъ обдариваютъ, чѣмъ могутъ, учителя.

Не удивительно, если на учителѣ къ празднику появится: и армякъ синій решемской, и полушубокъ изъ романовскихъ ярокъ; платокъ на шеѣ и рубашка изъ ивановскаго ситца, шапка новая теплая съ выхохлевой опушкой галицкой (шокшинской) выдѣлки; и валяные сапоги макарьевскіе. Учитель, вслѣдствіе подобнаго обстоятельства, спѣшитъ освободить учениковъ до Николина дня отъ ученья. А тамъ опять голоситъ съ ними на всю деревню въ цѣлую зиму, до Пасхи, и видимо доволенъ собой,—и успокоился.

Лѣтомъ у него другая работа и вслѣдствіе тѣхъ благопріятныхъ случайностей, что родина его помѣстилась какъ разъ въ той сторонѣ, откуда выбирается народъ на заработки въ Питеръ, гдѣ и живетъ все лѣто, высылая къ ярмаркамъ и базарамъ въ семью посильныя денежныя пособія. Къ тому же и деревня Судомойка лежала не далеко отъ того завѣтнаго мѣста, гдѣ выдавался этотъ „присылъ“ и которое простымъ народомъ, по старому, обыкновенно, до сихъ еще поръ называется испидиторской, рѣдко „канторой“ и почти никогда съ прибавленіемъ главнаго отличительнаго эпитета—„почтовой“. Сюда-то ежедневно лѣтомъ (особенно въ праздники) цѣлыя кучи бабъ, урываясь отъ спѣшныхъ полевыхъ работъ, приходятъ послушать, какъ читаетъ испидиторъ, т. е. перечисляетъ деревни, осчастливленныя присыломъ, при общемъ гробовомъ молчаніи всей массы слушателей.

Однозвучно слышатся безтолковыя и толковыя, забавныя и остроумныя, названія деревень и погостовъ, починковъ и ямовъ,

погорѣлокъ и селъ, выселковъ и городищъ, усадебъ и займищъ, поселеній и сельдбищъ *), и проч. Слѣдомъ за названіями деревень общая тишина нарушается выкрикомъ однозвучнымъ и короткимъ: „кому?“

Слѣдуетъ отвѣтъ, и за нимъ или молчокъ или простое: „скажемъ!“ или же веселое и радостное, съ особеннымъ выкрикомъ: „здѣсь—отложите!“

Счастливые выдвигаются впередъ и должны росписаться; но какъ? грамотѣ научиться имъ и въ умъ никогда не приходило, а ребятъ за себя поставить,—такъ еще когда-то приготовитъ такихъ грамотѣевъ Петръ Артемьевъ? Зато онъ самъ всегда тутъ на лицо, и въ этомъ случаѣ человѣкъ неоцѣненный, дорогой. Безъ него баба хоть цѣлый день бѣгай—не нашла бы поручителя и росписчика. Петръ Артемьевъ, за десять копѣекъ мѣдью, готовъ на услугу, и роспишется, и баба останется при деньгахъ, и онъ самъ, писецъ, не въ накладѣ. Изъ этихъ десяти копѣекъ, въ спѣшное время, передъ ярмарками, у него легко составляется капиталъ до того значительный, что даетъ ему средства безбѣдно просуществовать лѣто и оставить залишную копѣйку для угощенія того доброжелателя и благотворителя, который указалъ ему

---

*) Деревня—общее названіе всякаго крестьянскаго жилья безъ церкви—видоизмѣняетъ, какъ извѣстно, свои названія: называется *починкомъ*, если перестроена на старомъ мѣстѣ, по новому плану, послѣ пожара; *погостомъ*,—если имѣетъ церковь или часовню, на задахъ огороженное мѣсто для усопшихъ (далеко отъ селъ); главное населеніе составляютъ священно и церковнослужители, а при нихъ кое-какія избы сельчанъ *выселкомъ*, если деревня выстроена недавно, по близости другой деревни, выѣхавшими обитателями послѣдней; *городищемъ*, когда служитъ остаткомъ и какъ бы памятникомъ стоявшаго когда-то на этомъ мѣстѣ села, монастыря, даже города; *займищемъ* и *сельдбищемъ*, когда было здѣсь въ старину сходбище (поляна или площадь) для торговъ, мѣсто впослѣдствіи застроенное жилыми избами; *ямомъ*, гдѣ жили въ старину тѣ обыватели, въ повинностяхъ которыхъ состояла казенная гоньба,—и проч., и проч.

на этотъ родъ промысла, и помогъ легко и просто, но выгодно пристроиться.

Счастье видимо улыбалось Петру Артемьеву и даже присылъ замѣтно ослабѣвалъ и чуть не прекращался зимой, когда питерщики самолично приходятъ въ семьи, какъ бы нарочно около той поры, какъ учитель начинаетъ засѣдки и ученье, которыя только въ праздникъ позволяютъ ему навѣдываться въ почтовую контору для росписокъ: „по неумѣнію грамотѣ и личному прошенію“ получателей.

Въ праздники любилъ Петръ Артемьевъ забираться на клиросъ, откуда слышался мірянамъ его густой (по ихъ выраженію — толстый) голосъ учителя, носившійся подъ церковными сводами затѣйливыми, смѣлыми переливами. Этотъ же голосъ слышался прихожанами и середи церкви въ Шестопсалміи и чтеніи Апостола и до обѣдни во время часовъ, и начиналъ гудѣть истово и рѣчисто во время раздачи кусочковъ просфоры передъ концомъ обѣдни.

Петръ Артемьевъ и уголья носилъ въ алтарь, и воду горячую, и кадило подавалъ, исполняя церковныя требы, и во всемъ помогая пріятелю-дьячку. Пономарь-старикъ, потерявшій голосъ, не сходилъ съ колокольни, и только иногда носилъ подсвѣчникъ и тушилъ догоравшія свѣчи.

Во время храмовыхъ праздниковъ и въ первые дни Рождества и Пасхи, Петръ Артемьевъ ходилъ вмѣстѣ со священникомъ, со славой; прибиралъ ржаные короваи и яйца, и таскалъ ихъ мѣшками и лукошками въ телѣгу, на которой вечеромъ развозилъ священство по домамъ. Онъ уже зналъ напѣвы всѣхъ восьми гласовъ, и знаменной, и кіевской, и троицкой распѣвы; умѣлъ объяснять и значеніе словъ: паралеклисіархъ, эксапостилларій, сикилларій, ирмосъ, тропарь, кондакъ, и толковалъ доказательно всѣ житія святыхъ, которыя, по старому заведенному

обычаю, читались степеннымъ мужикамъ передъ каждой обѣдней въ избѣ дьячка или дьякона. Въ Лазареву-субботу рубилъ онъ вербу; въ Свѣтлое-воскресенье распоряжалъ разстановкой куличей и пасокъ; передъ Троицынымъ-днемъ запасалъ березки для церкви и щипалъ цѣлый ворохъ черемушнаго цвѣту. Въ день перваго Спаса непремѣнно приносилъ въ церковь яблоки и смородину. Однимъ словомъ, отъ Петра Артемьева можно было выспрашивать и получать толкованія на всѣ церковные обряды и обычаи, и не ошибаться; твердо зналъ онъ, въ какую-службу стоятъ со свѣчами и когда совершаются колѣнопреклоненія. Сказывалъ вѣрно, какая служба длиннѣе и короче; въ какой день какому святому празднуютъ; когда дается разрѣшеніе на вино и елей и когда благословляется всеястіе или только одна рыба и елей. Не затруднялся онъ въ объясненіи пасхаліи зрячей и по пяти пальцамъ собственной руки сказать число мѣсяца и даже день, въ какой придется отправленіе подвижныхъ праздниковъ. Къ общему удивленію и вразумленію — зналъ онъ потомъ всѣхъ святыхъ и всѣ дни, посвящонные ихъ памяти, такъ-что всѣ міряне рѣшили въ одинъ голосъ, что Петръ Артемьевъ обогналъ дьячка и знаетъ больше его, уступая въ этомъ одному только батюшкѣ, да отцу-дьякону.

Петръ Артемьевъ велъ себя солидно и важно, — не засиживаясь на завалинкахъ, и не любилъ сплетенъ, толкуя одни житія тѣмъ умилительнымъ и высокопарнымъ книжнымъ языкомъ, какой только и можно слышать отъ странниковъ и баженниковъ, и какой всегда удивляетъ простаго человѣка.

— Ишь-ты: говоритъ словно по печатному, какъ въ книгѣ, и въ толкъ все возьмешь. Башка, доточникъ, на томъ стоитъ!

Однако же, тѣмъ не менѣе, Петръ Артемьевъ поспѣшилъ обзавестись берестяной, ветлужскаго производства, тавлинкой, съ фольгой и ремешкомъ, и сталъ нюхать чумаковской табакъ-зелен-

чакъ, съ забавными приговорками — насмѣшками надъ курящими. Борода у него выросла въ лопату, на головѣ стала просвѣчивать и пробиваться лысинка. На затылкѣ онъ нерѣдко собиралъ и завязывалъ косичку; носилъ длинныя бѣлыя рубахи; часто оглашалъ избу церковнымъ пѣніемъ; писалъ полууставомъ и разрисовывалъ сандаломъ и охрой поминальники; даже, разъ, переплелъ вновь старую тріодь и срисовалъ видъ какого-то монастыря...

Однимъ словомъ, о петербургской жизни забылъ Петръ Артемьевъ, какъ забылъ и дядя-старикъ, который не могъ нарадоваться плодами своего вліянія, руководствъ и совѣтовъ. Все пошло какъ нельзя лучше, къ общему—племянника и дяди—удовольствію, но на-долго ли? Этого не могли сказать ни тотъ, ни другой. Сказало время и случай.

VII.

Кулачокъ.

Петръ Артемьевъ, въ теплой избѣ, лежитъ на полатяхъ и нѣжится; старуха-мать, забралась на невыносимо-жарко натопленную печь, творитъ молитвы и охаетъ.

— Спишь, матушка, али нѣту?—окликнулъ ее голосъ сына.

— Гдѣ ужь тутъ спать: къ вечеру-то опять косточки повсѣмъ суставчикамъ заныли, головушку-то словно свинцомъ налило: шабала-шабалой.

— А слышишь, все слышишь, что толковать стану?

— Ну, да какъ, кормилецъ, не слышать: на лѣвое-то чутка. Правое-то ровно куделей завалило, и ходитъ тамъ такой-то громъ...

Старуха снова заохала и снова творила молитвы.

Въ избѣ опять наступило прежнее затишье, которое мгновенно погружаетъ въ крѣпкій сонъ всякаго трудоваго — рабочаго человѣка. Спитъ въ это время и котъ въ печуркѣ, и овцы лѣзутъ по угламъ, и корова щуритъ глаза въ подъизбицѣ. Не спали только обитатели учителевой избы, потому-что самъ онъ вскорѣ опять нарушилъ молчаніе.—„Матушка, а, матушка?“ —

— „Асенько“? — было отвѣтомъ.

— Вотъ что!—началъ опять Петръ Артемьевъ:—ладно бы зыбку навязать, и тебѣ бы забавно было.

— Да на што зыбку-то, про чьихъ это?

— На што?! — ребенка положить.

— Да чьево, ребенка-то, — чьево?

— Своего ребенка, не чужаго положить, хоть бы и моего ребенка положить.

— Да ништо ты, разумникъ мой — красавецъ, надумалъ ожениться?

— Отчего жъ не ожениться, отчего жъ не вступить въ супружество, что не совокупиться узами-то брачными?

— Давно, батько, давно я тебѣ толковала: не слушалъ вѣдь меня, знать не хотѣлъ! Покачала бы, молъ, я внучатъ своихъ крошечекъ, порадовалась бы я на нихъ, поплакала бы на внучатъ-то своихъ! Господи, молъ, Батюшко, внуши Ты Петровану-то моему мысль экую. Я бы и глаза-то закрыла покойнѣе и въ сырую-то бы землю легла, Господи, мой Батюшко!...

— Ну, да ладно! благо надумалъ: теперь не отстану! сказывай только, какую хочешь и какія тамъ невѣсты-то есть.

— Мало-ли, батько, невѣстъ; самъ, чай, видалъ: вонъ полѣсной одинъ семерыхъ дѣвокъ возвелъ.

— Полѣснаго дѣвокъ даромъ не надо: и не вспоминай объ нихъ другой разъ—злющія, всего изломаютъ, я смирецъ. Сказывай про другихъ.

— Лукерью Трепачиху бери: дѣвка — гладь, писаная красота; самъ, чай, видалъ. Изо всей деревни краше всѣхъ; вся въ мать, какъ окапаная.

— А не станетъ по грибы у сосѣдскихъ ребятъ проситься съ собой понять?

— Ну, да што ты, батько, больно вяжешься-то? то — дѣло дѣвье, а бабій шлыкъ надѣнетъ—другая станетъ.

— То-то я и самъ такъ смекалъ... на нее!..

— Благослови тебя, Господи, вразуми Онъ тебя! — Покачала бы я зыбку-то, посмотрѣла бы хоть однимъ глазкомъ на внучатъ-то своихъ.

— Пищать-чай станутъ—одолятъ.

— Не чужіе, батько, свое порожденіе! и крикъ-отъ не тѣмъ сдается, свой крикъ. Ты не сердись, пущай ихъ кричатъ и самъ вѣдь кричалъ, и батько...

— Подлинное дѣло, что кричалъ: ну, а коли жена-то согрубленія станетъ дѣлать, да взвозжаетъ тебя?—волкомъ взвоешь.

— Твое, вѣдь, дѣло — большаково. На то и пословка сложилась старыми людьми, мужъ жену бьетъ — подъ свой норовъ ведетъ.

— Я бить не стану: я смиренъ!..

— Ну, да какъ, батько, не бить; всѣ вѣдь такъ-то; оттого и согласіе! Шубу бей—теплѣе; жену бей—милѣе.

— Я не стану бить: я питерской! Не велятъ тамъ—ругаютъ. Да опять-таки и дядю нужно объ этомъ спросить: голова, вѣдь,—скажетъ.

Петръ Артемьевичъ въ тотъ же день былъ у дяди.

Пришолъ въ избу: по обычаю, помолился на тябло, и роздалъ поясные поклоны: сначала хозяину, а потомъ и остальнымъ домочадцамъ; сѣлъ къ столу, ближе къ дядѣ, и замолчалъ, понуривъ голову. Дядя замѣтилъ это и началъ первымъ:

— Али что не ладное у тебя? давно не бывалъ, а пришолъ— и словомъ подарить не хочетъ. Сказывай: что за притча прилучилась?

— Нѣтъ, такъ—никакой притчи не прилучилось.

— Что жъ волкомъ-то смотришь: разсердилъ, чтоли, кто?

— Никто не сердилъ. За что меня станутъ сердить?

— То-то, кажись, не за что. Что-жъ больно не веселъ?

— Вели, дядя, бабамъ не слушать, одному скажу: послѣ всѣ узнаютъ. Ожениться, дядя, захотѣлъ: ей-Богу таково-то скоро захотѣлъ. Благослови!

— Позденько надумалъ... Ну, да что жъ?—Холостой-то— сказано—умретъ: собака не взвоетъ.

— То-то, больно, вишь, хорошо: ребятъ міру поставишь; опять же и себя облегчишь. Мать тоже стара стала: всю ломаетъ.

— По охотѣ ли только рѣшился? не такъ ли, смотри—съ разу взгрѣптѣлось: бываетъ, вѣдь, эдакъ-то...

— У меня—по охотѣ! Вотъ взялъ бы я бабу-то какую, да и жилъ бы съ ней, коли бы не злющая только попалась; все бы цаловались.

— Ну, да хоть и не все бы цаловались; а въ миру съ женой жить—чего лучше! Жена, сказано въ писаніи, великое дѣло.

— То-то, дядя, смекаю: великое. Мужъ съ женой — это чета... человѣкъ да не разлучаетъ! сказано.

— Такъ, братецъ, такъ—и не инако. Жена это, теперечa, такое дѣло, что она завсегда у мужа подъ началомъ должна быть. Она, какъ на избѣ труба, а ты—какъ на церкви глава. Надо тебѣ жениться — что говоритъ?! надо хозяйку молодую — хозяйкой домъ стоитъ; опять же и семейная каша погуще кипитъ.

— Вишь, вѣдь ты, дядя, какъ толково знаешь это: сказывай-ко дальше, сказывай.

— Выбирай только по-сердцу, и живите въ волю, а тамъ деритесь, бранитесь— да не расходитесь только.

— Я драться не стану: не такой! Вонъ и мать тоже наказывала, да не дѣло наказывала.

— Ну, да оно — почитай-что — и дѣло. Не даромъ, вѣдь, толкуютъ, что женѣ спускать — въ чужихъ людяхъ ее искать; а кто жены не бьетъ—тотъ и милъ не живетъ. Женской бытъ— всегда онъ битъ.

— Нѣшто ты самъ-то билъ, дядя, тетку-то?

— Бывалое дѣло,—не безъ тово же. Дрались—бранились, а подъ одну шубу-то ложились. Свой вѣдь, судъ, короче: на то у насъ въ дому и согласье стояло. Гдѣ грозно—тамъ и честно.

— Да вотъ опять дѣло какое, дядя: ребята пойдутъ—за ихъ отвѣ ту много.

— Ну, еще до этого далеко,—до ребятъ далеко. А ты бы смекалъ пока дѣвку, да и за дѣло бы брался: не откладывалъ. Нашолъ ли невѣсту-то?

— Ну, да какъ не найдти: вонъ Параньку-то тогда ладилъ, а теперь и пригодилась бы, Параньку-то и по любви бы можно, а ушло такое время: не вернешь. Параньку-то больно бы ладно.

— Что бредишь-то? что не дѣло-то разводишь? Чужая, братъ. жена, что у волка въ зубахъ: не вырвешь, сказано: не твоя— и воздержись!.. и мимо,—дальше проходи... кража, вѣдь,—это: грабежъ, братецъ ты мой!.. А есть непутные-то такіе.—На чужой каравай рта не разѣвай, а своимъ-то запасцомъ жить станешь—и міръ не осудитъ, и на сердцѣ у самого легче, и...

— Я тебѣ, дядя, не про-то... не такъ бы тебѣ сказать-то надо... Дѣвку-то я, Лукерью, намѣтилъ.

— Трепачиху-то! смотри, не ожгись: огонь-дѣвка! Не взяла бы она тебя за носъ, да не водила бы вдоль избы-то изъ угла въ уголъ...

— То-то, дядя, не водила бы, не смущала.

— А что же я-то со старости, что съ дурости: надо бы мнѣ такъ тебѣ сказать, что умѣй дать женѣ ходъ, не пущай вожжей, что лошади, и брыкаться не станетъ; а не стегай по щекотливому то мѣсту—и норову не покажетъ и повезетъ тебя ходко, и на бокъ, въ колею какую, не свалитъ. Вотъ, вѣдь оно какъ по моему; такъ бы надо говорить!

— Да такъ и есть и вправду, коли по твоему эдакъ!— рѣшилъ Петръ Артемьевъ.

По совѣту дяди, самъ лично отправился онъ уторговывать невѣсту, прихвативъ кстати и выводное на всякой случай. Дѣло это ему было на-новѣ, и потому, когда онъ отворилъ дверь въ невѣстину избу, то и смѣшался и растерялъ все, что успѣлъ придумать для разговоровъ съ отцомъ и матерью и самой невѣстой.

Сталъ онъ у двери, какъ громомъ пришибенный, кланялся и махалъ безъ толку шапкой.

— Что не сядешь-то: садись! не впервые знаемся. Петръ Артемьичъ! садись—гость будешь,—выручилъ его изъ непріятнаго положенія хозяинъ.

Петръ Артемьевъ помнилъ наставленіе матери и продолжалъ стоять у дверей.

— Я, вѣдь, не сирота! заговорилъ онъ, наконецъ. Я купцомъ пришолъ. У тебя товаръ.... и я купцомъ пришолъ.

Петръ Артемьевъ еще больше смѣшался и перепугался:

— „Эка притча!—думалъ онъ про себя,—угораздило самому прилѣзть, а и не мое бы дѣло-то это. И мать говорила. Сунуло голову въ овинъ, хоть уйдти до другаго разу—такъ впору.... горю со стыда!

— Чѣмъ же торговать-то надумалъ? спрашивалъ, между-тѣмъ, отецъ невѣсты.

— Чѣмъ надумать-то? торговать!...

И въ головѣ жениха заворочались кое-какія мысли о томъ, чтобы соврать, и даже какой товаръ придумать для торгу. Но отецъ невѣсты смекнулъ въ чемъ дѣло:

— Да ты не сватомъ ли за кого пришолъ? Товарецъ-отъ эдакой, признаться, есть у меня,—есть; что грѣха таить,—есть.

— Знаю, что есть; за тѣмъ и пришолъ сватомъ.

— Такъ садись, дорогой человѣкъ; садись въ большое мѣсто. Сказывай за кого пришолъ сватомъ, по тому тебя и чествовать станемъ.

— За кого пришолъ? ни за кого не пришолъ, самъ за себя—продолжалъ разсуждать вслухъ Петръ Артемьевъ, и оправился:

— Лукерья твоя мнѣ по мысли: по ее пришолъ. Отдай въ жоны, у меня и выводное съ собой,—поторгуемся!

— Такъ надо по обычаю дѣлать, Петръ Артемьичъ, не разгнѣвайся! Ты мнѣ зять сподручной, да ужь коли самъ пришолъ сватомъ за себя, такъ надо и дѣвку спрашивать, по мысли ли ты-то ей? Такое дѣло ведется у всѣхъ,—вонъ и бабъ спроси, да и самъ, вѣдь, чай знаешь?

— Знать-то не знаю, а слышалъ. Спрашивай дѣвку—по мнѣ все едино!—рѣшилъ Петръ Артемьевъ спроста; но ошибся въ предположеніяхъ.

Дѣвка отказалась на отрѣзъ, и пустилась въ слезы. Если бы Петръ Артемьевъ оставался въ избѣ подольше, не уходилъ бы вскорѣ, онъ могъ бы въ причитываньяхъ Лукерьи слышать обзыванья себя „постылымъ, безталаннымъ, неладнымъ“ даже намеки прямые на лысину и старость, поклепы на Параньку, на учительство, на горохъ, розги, дрясву и проч. Устояла на своемъ бойкая дѣвка, и не пѣла на сговорѣ, при прощаньи съ родителями, хоть и кстати была бы теперь эта пѣсня:

Я еще у васъ, родители,
Попросить буду, кланяться:
Не оставьте, родители,
Моего да прошеньица:
Не возилъ бы меня чужъ-чуженинъ
Во чужую во сторонушку,
Ко чужому сыну отецкому.
Не пасся бы онъ, не готовился;
На меня бы не надѣялся.
У меня-ль, у молодешенькой,
Еще есть три разны болѣсти:
Я головонькой угарчива,
Ретивымъ сердцомъ прихватчива,
Своимъ свойствомъ неуступчива.

— Заварилъ Петруха пиво, да сталось нетека! рѣшили на томъ мужики-сосѣди—и только.

— А все оттого, что самъ ходилъ сватомъ. Ну, мужчинское ли это дѣло? — толковали бабы.

— Нѣшто деревня-то клиномъ сошлась? нашлись бы сватьи-то, — и я бы сходила!

— Да и я бы, мать, не прочь: и дешевле бы твоего взялась, изъ однѣхъ бы почестей пошла, не токма что...

— Мать бы спосылалъ, и все бы лучше — гляди.

— Дядя бы сходилъ — мужикъ на почотѣ, а то смотри — срамоты какой натерпѣлся; сама Лукерья отказала, сама дѣвка— да слыхивано ли эдакъ? Я бы на мѣстѣ его не отстала.

— Смиренъ, вѣдь, больно смиренъ, словно баженникъ. Только вотъ съ ребятами воевать умѣетъ, и то, слышь, самихъ сѣчь-то заставляетъ: самъ не сѣчетъ. Смиренъ!

— Чего, мать, смиренъ? да экое попущеніе терпитъ: дѣвка обошла!

— Самъ сказывали отецъ-отъ ломался; онъ, мать, всему вина. Онъ баетъ: отчего-де дядя не подослалъ; а самъ пришолъ. И безъ выводнаго бы тогда, баетъ, отдалъ. — Самъ отецъ не отдалъ за Петруху, самъ...

— Ну ужъ, поймала бы я на задахъ Лукерью; въ досталь бы я натрепала, да нахлопала ее на Петровомъ мѣстѣ—знай!..

— Смиренъ, вѣдь: воды не замутитъ.

— Коли ужъ больно жениться-то приспичило: дѣвокъ и въ сосѣдствѣ много.

— Да здѣсь-то срамота; по деревнѣ-то своей срамота. Дѣвокъ-то нашихъ калачомъ теперь за него не заманишь...

— Что говорить, дѣва, что говорить: оплеваной.

— Эко зелье — дѣвка, Лукерья-то! Смотри ты, какая шустрая, какую волю взяла: ей бы, вишь, Мишку, почтоваго ящика, что высвистываетъ ее на бору, а ужъ натрепала бы я ее на Петрухиномъ мѣстѣ, вдосталь бы нахлопала.

— Ну, да вѣдь и Петръ-отъ Артемьевъ старъ сталъ: — сунуло же его безъ пути-то, безъ толку, съ большой бородой.

— Чего, мать, старъ, не старѣ тебя.

— Небось—года ты мои считала:—свои бы лучше смекнула!

— Смекать-то я и свои, и твои смекала, да все, гляжу, — не ровня мы съ тобой.

— Ну, гдѣ ровня? У тебя то и курицы-то пѣтухами поютъ. Бурмистръ сватывался, да отказала, за солдата пошла.

— А ты-то за разношорстнаго попала, прорва экая,—невидаль. Все бы она на облай, да на облай шла, ненасытная!

Бабы пойдутъ дальше на крикъ и громкую брань; но Петру Артемьеву отъ этого не станетъ легче. Онъ сильно озадаченъ и какъ-будто провинился въ чемъ: бранилъ и себя, и Параньку, и Лукерью; но все-таки пришолъ къ тому заключенью, что въ настоящемъ случаѣ ему не нужно бы было самому ходить сватомъ; а въ другой разъ не слѣдуетъ и другихъ засылать съ тѣмъ же дѣломъ. Во всякомъ случаѣ отказъ Лукерьи онъ почолъ за неудачу, за одно изъ несчастій житейскихъ, которыя ложатся на сердцѣ тяжолымъ гнетомъ и не рѣдко забываются вскорѣ, если

не проточится на сердцѣ новая ранка, которая, растравляя первую, еще не зажившую, сама въ тоже время болитъ и ноетъ.

Такъ случилось и съ Петромъ Артемьевымъ. Опять-таки горе не живетъ одно — по смыслу одной изъ правдивѣйшихъ русскихъ пословицъ.

Петръ Артемьевъ замѣтно тосковалъ, но не жаловался, не надоѣдалъ никому своимъ горемъ, тосковалъ молча, про себя, и между тѣмъ старательно подчинялся заведенному порядку своей обыденной жизни: по-прежнему, ходилъ съ церковными требами по слѣдамъ дьякона и священника; по прежнему, былъ въ пріятельскихъ отношеніяхъ съ дьячкомъ, во всемъ посильно помогая ему.

Въ одну изъ такихъ требъ — славъ — по случаю храмоваго сельскаго праздника случилось ему возвращаться въ поздній часъ глубокой, темной зимней ночи, въ страшную пургу-мятелицу, когда такъ любятъ кучиться волки и ходятъ на промыслъ толковые и смѣтливые, но боязливые воры. Снѣгъ хлопьями клубился и снизу и сверху, и со всѣхъ четырехъ сторонъ, раззоряя старые и сметая новые сугробы, сначала на одномъ мѣстѣ, потомъ на другомъ, дальномъ. Вѣтеръ неистово свистѣлъ въ сельскихъ трубахъ и хлопалъ волоковыми окошками, разметая солому съ крышъ и раскачивая плохо-сплоченное дранье тѣхъ же крышъ на избахъ болѣе достаточныхъ обывателей. Злополучный ѣздокъ сбивался съ торной дороги и не находилъ завѣтныхъ вѣхъ, вплотную засыпанныхъ снѣгомъ; лошаденка его фыркала, пряла ушами и безнадежно хлопала хвостомъ, боясь и не находя достаточныхъ силъ идти дальше. Ни говора, ни крика, ни спасительнаго огонька вдали, кромѣ свиста вѣтра и шороха по оледѣнѣлому насту нашей сѣверной безтолковой вьюги.

Блуждали долго и ѣздокъ, и путникъ — Петръ Артемьевъ, пробиравшійся въ то время изъ села въ родную Судомойку. Судомойки нѣтъ и въ поминѣ; а село далеко ушло или въ задъ

или вправо, иль влѣво... нога Петра глубоко вязнетъ въ рыхлый наносный снѣгъ и съ трудомъ поднимается для новаго шагу. Онъ утомленъ, замѣтно веселъ впрочемъ, и, вслѣдствіе послѣдняго обстоятельства, свалился въ оврагъ судомойковской и лежитъ въ немъ, и спитъ, крѣпко спитъ до другаго утра.

Вьюга утихла; наступило завѣтное затишье и успокоительная теплынь. Она вскорѣ смѣнилась тѣмъ страшнымъ морозомъ, который куетъ въ сплошную и твердую массу вчерашные сугробы, ледянитъ все сподручное, объиндиваетъ густыя бороды обозниковъ. Она мгновенно будитъ и ставитъ на ноги спавшаго въ оврагѣ Петра Артемьева.

Онъ едва держится на ногахъ, едва бредетъ до деревни, съ трудомъ добирается до своей избы, бросается на лавку, плачетъ навзрыдъ, какъ ребенокъ, и показываетъ оторопѣлой, растерявшейся матери свои отмороженныя руки. Приходитъ бабушка-лекарка — дожжевикъ лицомъ. Знахарка шепчетъ надъ ковшомъ, прыскаетъ черезъ уголь — больной стонетъ сильнѣе, и мечется, и плачетъ неутѣшно, какъ малый баловникъ-ребенокъ, у котораго отняла блудливая кошка сусленикъ или кусокъ пирога — загибеньки. Лекарка добываетъ гусинаго жира и обкладываетъ имъ и травой-подорожникомъ отмороженныя руки, но Петръ Артемьевъ все мечетъ долой и бредитъ Лукерьей, миромъ, — стыдомъ, мятелью.

Лекарка утѣшается сама и утѣшаетъ другихъ только тѣмъ, что у больнаго хоть ноги-то остались цѣлы, натертыя сначала муравьинымъ спиртомъ, а потомъ дегтемъ, и что руки его—Богъ дастъ, — пройдутъ и натираетъ ихъ кое-какъ добытыми и разведенными въ холодной водѣ квасцами. Больной пріутихъ — и заснулъ.

На другой день опять онъ горько всплакалъ; но опять натерли ему руки квасцами. На недѣлѣ пріѣхалъ уѣздный ле-

карь, проѣздомъ на слѣдствіе — больной понавѣдался, поплакался своей болѣзнью пріѣзжему и показалъ руки. Лекарь поморщился, позвалъ подлекаря, велѣлъ больному зажмурить глаза, смотрѣть въ сторону — не оборачиваться — и въ десять пріемовъ отрѣзалъ пальцы по вторые суставы. Петръ Артемьевъ опять кричалъ, но, по отъѣздѣ своего спасителя, строго исполнялъ его приказанія — и смѣло и во время сбросилъ тряпки. Взялся потомъ за перо — пишетъ, хоть и не бойко; взялся за ложку деревянную — держится, хоть и не крѣпко; приложилъ пальцы къ ладонѣ и засмѣялся — вышелъ не кулакъ, а кулачокъ.

Пошолъ онъ съ тѣхъ-поръ зваться Кулачкомъ не только въ своей деревнѣ, но и во всей окольности, гдѣ только знали его, и звали прежде Петромъ Артемьевымъ, по отцу — Сычовымъ. А Русскій человѣкъ — какъ давно и всякому извѣстно — безъ прозвища не живетъ; злитъ и бѣситъ это мѣткое прозвище родоначальника его и слегка привыкаютъ къ нему его потомки, считая праотцово прозвище чѣмъ-то законнымъ и ненарушимымъ — и не сердятся, не смѣются даже, какъ бы нелѣпо и забавно ни было это прозвище.

Вмѣстѣ съ прозвищомъ Кулачка, по сосѣдству проносились про Петра Артемьева и другіе слухи, можетъ быть даже и пустыя сплетни. Одни говорили, что онъ былъ шибко пьянъ, когда ночевалъ въ оврагѣ, и что чуть не цѣлый уповодъ передъ горемъ прощался съ дьячкомъ и цѣловался съ нимъ часто и пѣсни пѣлъ; другіе, что одолѣла его пурга, и, сваливши съ ногъ, унесла вѣтромъ, противъ воли, въ оврагъ и убаюкала свистомъ, что колыбельной, бабушкиной пѣсней. Третьи — наконецъ, толковали совсѣмъ другое: что будто-бы Петръ Артемьевъ, съ отказа Лукерьи, на все махнулъ рукой, жилъ, спустя рукава, даже ребятъ рѣже сѣкъ и что будто бы, на зло Лукерьину батькѣ, самъ забрелъ въ оврагъ и растянулся въ немъ, и что будто бы еще

съ вечера печалился дьячку на свое бездолье, кровныя обиды въ отказѣ Лукерьи ея отца, толковалъ объ утонувшихъ въ полыньяхъ и проталинахъ и о другомъ прочемъ.

Все это были, можетъ быть, бабьи сплетни; а бабій языкъ, что мельница вѣтреная: пустилъ въ ходъ и пойдетъ писать; все мелетъ, крушитъ и кружитъ, до-тѣхъ поръ, пока не дунетъ противный и сильный вѣтеръ.

— Тонутъ люди; до смерти мерзнутъ и горятъ въ пожары до самыхъ костей; а вышла мнѣ нелегкая доля, уродомъ стать!— думалъ Петръ Артемьевъ о своемъ горѣ.

— Міръ глаза колетъ, особо парни да дѣвки проходу недаютъ, и ребятенки малые глазъ не спускаютъ, хоть и въ привычку бы имъ мои кулаки. А и дядя бы самъ — важный человѣкъ, да и тотъ подъ-часъ глумится: „зачѣмъ-де — слышь — не носъ отморозилъ.“ Ладилъ и на улицу не ходить — да вышло неспорное дѣло. На ребятъ большихъ сотскому жаловался и до старосты доходилъ — еще хуже стали, чуть не до грязи доходило дѣло: а и лѣтами бы дошолъ и досужество бы такое, что у всего міру надо быть на почотѣ. Нѣту проходу!

— Да ты бы самъ-отъ не трогалъ: пущай лаютъ — отстанутъ. Эдакъ-то бы лучше! Вотъ и собаки тоже... — совѣтовали Кулачку доброжелатели.

Но онъ при этомъ махалъ только рукой, и снова перебранивался съ досаждавшими, поджигая ихъ — по общему закону природы — на большія и сильнѣйшія насмѣшки.

Дѣйствительно, не было ему проходу. Почему-то любили сосѣди — русскіе люди — трунить надъ учителемъ всегда однѣми и тѣми же насмѣшками, слѣдовательно еще болѣе досадными и непріятными.

— Что, Петруха, али кокотки-то объ ребятишекъ обламалъ? приставалъ обыкновенно какой-нибудь парень-подростокъ, и то-

товъ былъ схватить руки Кулачка, чтобы показать ихъ міру, но Кулачокъ тщательно пряталъ кокотки по карманамъ своей длиннополой сибирки.

Острякъ не унимался: садился подлѣ Петра Артемьева, клалъ ему руки на плеча и начиналъ посвистывать. Кулачокъ обыкновенно сбрасывалъ руки и упорно молчалъ. Примѣръ начинщика увлекалъ другихъ, и вскорѣ Кулачка окружала цѣлая ватага, которая скалила зубы, и безтолково и безъ видимой причины начинала гоготать и ухать. Кулачокъ или вставалъ и бѣжалъ, разбивая стѣну ребятъ—но тогда его хватали и теребили за что ни попало, или оставался въ кругу и продолжалъ упорно молчать.

Ребята не унимались.

— Вечоръ Лукешка ребятамъ сказывала, что коли бы-де у Петрухи руки были цѣлы, безъ выводнаго бы, молъ, пошла, а то такъ-то, слышь, коли на насъ падетъ некрутчина—сама уйдешь за него—говорилъ прежній острякъ — зачинщикъ.

Ребята, обступавшіе Кулачка, начинали смѣяться сначала тихо, но, постепенно приходя въ азартъ, наступали на него и теребили за рукава и полы. Кулачокъ только отвертывался, кричалъ: „отстаньте!“ и все еще выдерживалъ роль.

Но остряки не отставали:

— Дьячокъ Изосимъ опять засылалъ за нимъ: выходилъ бы-де опять въ оврагъ волковъ пугать. Я, молъ, и рукавицы принесъ. Слышь, Петруха, слышь: сказать наказывалъ крѣпко на крѣпко! — говорилъ одинъ и теребилъ Петруху, который видимо начиналъ сердиться, потому-что спѣшилъ схватиться за близъ-лежащую палку. Палку вырвали; къ первому остряку приставалъ другой:

— А Петрухѣ, братцы, совсѣмъ на руку волковъ-то пугать... ишь, борода-то: хоть корчаги мой; замѣсто отымалки *можетъ...*

— А на головѣ-то, гляди, какія проталины, а по бокамъ-то все клочья? приставалъ третій, и мгновенно схватывалъ съ головы Кулачка его городской куртузъ съ свѣтлымъ козырькомъ, и бросался изъ толпы.

Кулачокъ кидался слѣдомъ за нимъ, бранился громко и сильно, и вся окружавшая его прежде толпа металась туда же, вслѣдъ за первыми, хватая на пути палки, щепки и проч. Все это бросалось въ Кулачка.

Толпа становилась гуще. Кулачокъ рвался въ свою избу; но на него продолжали наскакивать, подставляя ноги: онъ падалъ, мгновенно поднимался, хваталъ съ земли и бросалъ въ ребятъ грязью, если только какой-нибудь ловчакъ не садился на него и не начиналъ теребить за бороду. Кулачокъ выходилъ изъ себя; ребята хохотали, кричали, прыгали и увлекали своимъ весельемъ степенныхъ мужиковъ, любившихъ выходить на заваленки и любоваться дешовой потѣхой.

— Да, ты бы, Петруха, самъ имъ подножку ладилъ, а не то бы палку взялъ — совѣтовали послѣдніе Кулачку, который измученнымъ, едва переводя дыханіе, наконецъ, вырывался изъ толпы и брелъ въ свою избу.

— Я бы на твоемъ мѣстѣ самъ ихъ задиралъ — не приставали бы: вотъ Мишутка-то на лѣвой бокъ щекотливъ, Мосѣйка старостинъ не любитъ коли обзовешь его, что лукошкомъ мѣсяцъ въ рѣкѣ ловилъ; а бабушка вонъ этого на дѣдиной головѣ блины съ творогомъ пекла... Дразнилъ бы ты ихъ: не приставали. Али смиренъ, по отцу пошолъ? Тотъ тоже никого не пугалъ.

— Эка, Петруха! дѣло-то твое спорное, а ребята-то все головорѣзы, шустрые; на языкъ-то охулки не кладутъ. Гляди — какіе гладыши: отцовы дѣти. А право бы лучше, коли самъ бы ты ихъ ругалъ!

Но на эти совѣты Кулачокъ отчаянно махалъ рукой и говорилъ всегда одно и то же:

— Не надо было въ оврагъ ходить и на улицу выходить не надо. А я смиренъ — мнѣ не сладить. Пущай лаются — меня не убудетъ.

На другой разъ онъ также терпѣливо молчалъ въ началѣ и кидался за толпой въ концѣ; уставалъ также, задыхался, бѣжалъ въ свою избу; ложился на палати и, привыкая спать крѣпко, привыкъ мало-по-малу и къ своей роли деревенскаго потѣшника, къ которой онъ незамѣтно и противъ воли, конечно, приготовилъ себя, и, смирный человѣкъ, — подчинился. Даже самъ толковый дядя не могъ придумать средствъ избавить племянника отъ посмѣянья толпы; а самъ виновникъ насмѣшекъ, при первомъ напорѣ ихъ, терялся вовсе и не находился. Примѣръ поданъ, а начало выдержано — и ребята не переставали. Привычка вторая натура — и Кулачокъ отшучивался и незамѣтно падалъ и въ глазахъ сосѣдей, и мало-по-малу упалъ въ собственныхъ глазахъ.

— Стало такъ надо: — думалъ онъ про себя.

— Отстаньте черти — не то палку возьму! — продолжалъ онъ говорить другимъ, и бѣгалъ за ними, оправдывая себя тѣмъ, что играетъ же взрослый народъ въ городки и ѣздитъ же другъ на другѣ, какъ малые ребятенки, отчего и ему не поломаться, не порасправить косточекъ: на то даны сила, досугъ и свободный часъ и ретивая стая ребятъ-зачинщиковъ. Иной разъ не чувствовалъ онъ задору и охоты на шутки и вслѣдствіе того могъ бы превращать — противъ воли — игру ребятъ уже въ простую драку, платясь собственными боками и спиною, — тогда Кулачку вспоминалась петербургская жизнь, которая подбивала его и брала верхъ надъ разсудкомъ.

— Какъ это ты Бога, да честныхъ людей небоишься, Петръ

Артемьичъ: опять взялся за старое!—говорилъ ему немного спустя дядя, при всякой встрѣчѣ, и качалъ головой и охалъ.

Но Кулачокъ придумалъ отпоръ и отвѣчалъ, хладнокровно улыбаясь и махнувъ рукой, и всегда одно и то же:

— Охъ, дядя! Одну выпьешь—боишься; другую выпьешь—боишься, а какъ третью выпьешь — и не боишься. Нѣтъ, ужъ теперь, — что хошь — ухватился опять за чарку: хоть на цѣпь сажай — не отстану.

— Да, чадо, глупое дѣтище, пропащимъ сдѣлаешься!

— Знаю, дядя; не я первой... хмѣль — продажная дурь, кому надо, тотъ и покупаетъ. Горе, дядя, народъ почоту не даетъ: все глумовствомъ отдаетъ тебѣ—не приспособишься инако; а такъ-то легче, совсѣмъ легче, и пляшешь... На-ко какія я пѣсни началъ складывать!... Горе, дядя!...

— Безъ вина одно, а съ виномъ новыхъ два: и пьянъ и битъ. Сказывано: одну чарку пей, да къ другой не тянись, отъ третьей бѣги — не оглядывайся

— Слыхалъ, дядя, и эдакъ. Знаю и такъ, что взялся за гужъ — не толкуй, что не дюжъ, а по мнѣ коли пить — такъ пить, а не пить — такъ и не начинай вовсе. Такое дѣло. Отстань — не ругайся! Дѣлалъ до этова по твоему, теперь по себѣ стану! Гляди-ко какія знатныя пѣсни въ питейномъ бурлаки поютъ, да какія и я самъ подбирать сталъ.

— Не надо, не пой у меня, — не такое мѣсто. И не ходи ты ко мнѣ, на глаза не кажись.

Дядя топалъ ногой и не на шутку сердился.

„Кулачокъ“ умилялся по-видимому и говорилъ сладенькимъ, обиженнымъ голосомъ, вздыхая глубоко и какъ-будто искренно:

— Не трогалъ я тебя,—почиталъ... и какъ есть, значитъ, холилъ, уважалъ, и не заслужилъ я экой брани. Христосъ съ

тобой! Ты первый обидѣлъ — ты и отвѣтъ дашь. И у всѣхъ на обиды одинъ я: шутомъ сталъ.

— Дуй все горой; сторонись душа — оболью! — кричалъ онъ, опрокидывая шкалики въ питейномъ, гдѣ игралъ потомъ на балалайкѣ, стлался въ присядку и съ большимъ искусствомъ и толкомъ — чѣмъ прежде — отличался.

Вскорѣ ему ни почемъ было задирать самому и, по свойству разгулявшейся русской натуры, придираться и обижать всякаго встрѣчнаго. Только передъ старостой и сотскимъ снималъ онъ шапку и просилъ извиненія и прощенія. Передъ всѣми другими онъ останавливался и дѣлалъ возможные упреки, всегда щекотливые и слѣдовательно справедливые. Одни изъ сосѣдей говорили, что онъ наянливъ сталъ и подущенъ кѣмъ-нибудь; другіе, что онъ парень себѣ на умѣ, и не такъ простъ, какъ казался; третьи, наконецъ, что онъ просто дуритъ, и додурится до того, что иной разсердится и наломаетъ шею такъ, что и не вспомнится послѣ никакая заноза. Случались съ „Кулачкомъ“ и подобныя происшествія, но они еще болѣе раздражали его и онъ оставался вѣренъ своей задачѣ: для него ничего не стоило разбить стекла у богатѣля, выпустить у торговцовъ деготь изъ бочки, расколотить стеклянную посуду въ питейномъ и сдѣлать другія еще сильнѣйшія неистовства. Міръ терпѣлъ, потому-что не было другаго исхода. „Кулачокъ“ плясалъ и гудѣлъ своимъ разбитымъ и охриплымъ голосенкомъ веселыя пѣсни на всякомъ перекресткѣ, и опять, по-прежнему, продолжалъ придираться ко всякому встрѣчному, исключая, можетъ-быть, однихъ только собутыльниковъ, но и тѣхъ собиралось около него немного.

Озадачивая сосѣдей-мужичковъ рѣзкимъ покоромъ, „Кулачокъ“ сдѣлался вскорѣ, по заслугамъ и по всѣмъ правамъ, общимъ посмѣшищомъ. Уличные мальчишки встрѣчали его, при первомъ появленіи на селѣ, радостнымъ крикомъ:

— Кулачокъ пришолъ; братцы: вотъ лихо!

— Кулачокъ идетъ съ бочонкомъ, пѣсни станетъ пѣть— пойдемъ ускать: пропляшетъ!

— Дядя Петръ, дядя Кулачокъ! пропой опомняшную-то!

„Кулачокъ“ ставилъ бочонокъ на землю, ловилъ и щипалъ ребятишекъ и видимо съ большимъ увлеченіемъ—шутилъ и игралъ съ ними. Переловивши ребятишекъ, онъ ставилъ ихъ въ кругъ, строго приказывалъ молчать и слушать, и гудѣлъ любимую пѣсенку: „Ахъ, въ середу было на масляницѣ; у соборной было дьяконицы, дѣвки пьяны напивалися и проч.“

При этомъ онъ подергивалъ плечами и повертывалъ бочонкомъ.

На красномъ лоснящемся лицѣ его, обросшемъ до густоты новой овчины, бородою, прыгала та задушевная и веселая улыбка, отъ которой до послѣдняго нельзя весело было ребятишкамъ, хватавшимъ Кулачка за полы его коротенькаго кафтанишки.

Наполнивши бочонокъ виномъ по заказу сосѣда, приготовлявшагося къ своему храмовому празднику, „Кулачокъ“ опять встрѣчался съ ватагой мальчишекъ и опять безпрестанно отмахивался отъ щипковъ и щекотокъ, приговаривая:

— Не нужно, васъ, пострѣлятъ, баловать, не нужно! Стегать васъ нужно, плетью хлестать. Стыдно старику съ младенцами сниматься: прочь, поползни!—прочь, пострѣлята!

— „Ахъ, въ середу было на масляницѣ“...—и прежняя пѣсня, при прежнемъ раскатистомъ хохотѣ сельскихъ ребятишекъ раздавалась потомъ у сельскихъ бань, рѣзко отзывалась съ переливами за крайнымъ овиномъ и, наконецъ, глухо замирала во ржи, которая жолтымъ полотномъ облегала село.

Въ деревнѣ Судомойкѣ время брало свое: старыя лица смѣнялись новыми. Тотъ, кто прежде торговалъ кнутами и дегтемъ,

выѣхалъ въ село и обзавелся тамъ лавкой красныхъ товаровъ. Ребята-подростки стали мужиками и обзаводились семьей и хозяйствомъ; выстроилась новая мельница и двѣ-три избы тоже новыхъ. Тотъ, кто прежде любилъ поломаться въ чехарду—важно сидѣлъ теперь на заваленкѣ и толковалъ о разныхъ знаменіяхъ; у кого не было и признаковъ бороды—теперь она выросла въ лопату; ребятишки-школьники, валявшіеся прежде на посѣдкахъ по полатямъ,—толкались теперь внизу и впереди всѣхъ другихъ: кое-кто изъ нихъ успѣлъ заслать сваху, а другіе и совсѣмъ оженились. Однимъ словомъ, перемѣнъ въ Судомойкѣ произошло много; всѣ онѣ поперемѣнно обращали на себя общее вниманіе и прошли незамѣченными только мимо „Кулачка", не затронувши и не задѣвши его. Для него существовали свои новости, болѣе живыя и современныя: твердо зналъ онъ, что послѣ Матюшки Пѣгаго въ сельскомъ питейномъ пятаго цаловальнака откупъ смѣнилъ: повѣренные обсчитали; уважалъ болѣе другихъ Матюшку Пѣгаго и досихъ-поръ питалъ къ нему полное уваженіе и преданность, и не любилъ и бранилъ послѣдняго цаловальника.

— Матюшка всѣмъ бралъ: и крупой, и солью. А этотъ косоглазый чортъ, кромѣ одежи, ничего не беретъ, да и то давай поруку, что твоя-де одежа, некраденая!

Зналъ онъ также, что если становаго дѣтямъ принести киту гороху, нащипаннаго по пути на горошищахъ, то дадутъ одну рюмку водки; а если къ почтмейстеру принести тоже, то можно получить двѣ рюмки водки и пятачокъ денегъ въ придачу. За рѣпу давалъ и тотъ и другой порцію вдвое; а если спѣть дѣтямъ пѣсенку и проплясать, то и обѣдомъ на кухнѣ накормятъ и чаю, — пожалуй, — дадутъ.

Вслѣдствіе подобнаго рода сдѣлокъ, „Кулачокъ" почти совсѣмъ переселился было въ село, таскаясь изъ дому въ домъ, со двора на дворъ, Только смерть дяди, оставившаго нѣкоторую

асть наслѣдства въ пользу племянника, заставила Петра Артемь-
а вернуться въ родную деревню, которая окончательно приви-
ла его къ себѣ съ тѣхъ достопамятныхъ поръ, когда питейный
купъ счолъ за нужное открыть новый кабакъ. Выборъ, по сча-
ію, палъ на Судомойку, и Кулачокъ, на другой же день по
крытіи, поспѣшилъ познакомиться съ новымъ лицомъ и тогда
е посовѣтовалъ ему завести гармонію и балалайку.

Съ этихъ-поръ ничто уже не въ состояніи было разлучить
Кулачка" съ его новымъ знакомымъ. Благодаря достаточному
слѣдству дяди, онъ аккуратно четыре раза въ день навѣщалъ
вое мѣсто,—такимъ образомъ, что по этимъ посѣщеніямъ су-
мойковскіе мужики и бабы вѣрно разсчисляли время завтрака,
ѣда, полдника и ужина. Идетъ „Кулачокъ" въ кабакъ—бабы
бирали на столъ чашки и ложки, мужики спѣшили шабашить,
бятенки забирались съ улицы въ избу и садились за столъ.
тешествія „Кулачка" до того пріучили сосѣдей, что они не
ходили въ нихъ ничего необыкновеннаго и вовсе не думали
искиваться причины; только въ послѣднее время, передъ его
получной смертью, замѣтили сосѣди нѣкоторую особенность. Со-
ршая свои завѣтныя прогулки прежде молча, „Кулачокъ" въ
слѣднее время разсуждалъ во всю дорогу самъ съ собой, ста-
ясь измѣнять голосъ при вопросахъ и отвѣтахъ. Говорилъ же
ъ всегда почти одно и то же.

Выходя изъ дому, онъ обыкновенно обращался къ самому
бѣ съ такимъ вопросомъ:

— Ты куда лыжи-то навострилъ?

И тотчасъ же спѣшилъ отвѣтить самъ себѣ, въ слухъ:

— Въ кабакъ.

— Зачѣмъ это тебя нелегкая-то туда несетъ?

— Обѣдать хочу; такъ для-ради подкрѣпленія...

— Не дѣло ты, Петръ Артемьичъ, затѣялъ, право не дѣло. Не ладно ты себя пріучилъ: ѣлъ бы и такъ...

— Ну, такъ-то, пожалуй, не съѣшь: въ горло не пойдетъ.

— Эй, не ходи, вернись назадъ!... Ну, назадъ, назадъ, назадъ!...

„Кулачокъ“, при послѣднихъ словахъ, нѣсколько пятился назадъ, но тотчасъ же опять пошатывался впередъ и опять начиналъ разговоръ:

— Пусти, больше не стану ходить.

— Знаю, какъ ты не станешь ходить: по четыре, а не то по пяти разъ на день.

— Слышь: пусти, въ послѣдній разъ.

— Нѣтъ, не пущу: назадъ, бери назадъ, назадъ!...

„Кулачокъ“ опять пятился, но уже въ виду завѣтнаго мѣста —цѣли прогулокъ:

— Гляди, дрянь какая домишко-то! Водку откупъ скверную сталъ давать,—цаловальникъ больше деньгами беретъ, а не то давай, — слышь, — сапожнымъ товаромъ.

— Да что толковать-то? всякъ о себѣ радѣетъ. — Сказано: никто себѣ врагъ. Пусти!...

— Слышь, не ходи: ступай лучше домой! не трать деньги. Дожди всю избенку загноили, на бокъ свалило. Вѣтеръ всю солому поснималъ, углы раскачало: течотъ, вѣдь, потолокъ-отъ. Порадѣй о себѣ!

— Чего радѣть-то? нечего радѣть... нечѣмъ. Я лучше туда пойду — была не была.

— Ну, какъ знаешь: коли идти—ступай, да скорѣй только.

Со всѣхъ ногъ перебѣгалъ „Кулачокъ“ остававшееся пространство. Вслѣдъ за тѣмъ раздавался сильный визгъ блока и— захватанная дверь, громко хлопнувъ, скрывала Кулачка отъ *глазъ любопытныхъ*.

Грибовникъ.

Въ самой дальной глуши одной изъ отдаленныхъ и глухихъ сѣверныхъ губерній нашихъ, въ двустахъ верстахъ отъ губернскаго города, завалился бѣдный городокъ, разжалованный екатерининскимъ учрежденіемъ о губерніяхъ въ посады,—посадъ Парфентьевъ.

Городкомъ съ надолбами, честнокомъ, рвами и полисадомъ началъ онъ свое существованіе еще въ тѣ древнія времена, когда славяно-русское племя пробиралось на сѣверъ лѣсами и, среди ихъ и инородческаго племени Мери, устраивало свою новую жизнь и начинало ее не совсѣмъ красно и привольно. До сихъ поръ еще, по горѣ, на которой стоитъ нынѣшной каменной соборъ, можно судить объ удачномъ выборѣ твердыми, за которою отстаивали свое право на осѣдлое житье древніе пришельцы съ юго-запада, и отстояли столь удачно, что память о Мери осталась только въ названіи рѣки, протекающей подъ горою. Зовется рѣка Неей; принимаетъ въ себя не вдалекѣ: Сомбасъ, Вохтому, Кужбалъ, Ружбалъ, Монзу и т. под., но принимаетъ также и Чернушку, оправдывающую свое названіе только по внѣшному виду, но не по достоинству воды, чистота и вкусъ которой обратили на себя вниманіе путешествовавшаго Государя Александра Павловича. Кругомъ посада, еще въ 30 годахъ нынѣшняго столѣтія называвшагося „бывымъ городомъ“, самое ничтожное число селеній

сохранило непонятныя инородческія званія,—громадное же большинство ихъ свидѣтельствуетъ о силѣ натиска и распространенія русскаго племени. Кто первымъ выбралъ мѣсто и застроился, — имя того перваго и сохраняется до сихъ поръ въ названіяхъ деревень, обложившихъ посадъ въ великомъ множествѣ. Вотъ съ поля на поле Лошково и Сватѣлово;—вотъ Трифоново, Нечаево, Савино, Федюнино да и Федюшино, Ефимово, Семеново, Павлово, Еремейцово, Сидоровское и т. д. въ безконечность: все по именамъ первыхъ выселенцовъ. Только въ верховьяхъ рѣки, въ самой глуши лѣсовъ, и удалось удержаться названіямъ по языку болѣе древняго народа, аборигена тѣхъ мѣстъ, гдѣ новые пришельцы умѣли выстроить и удержать такія крѣпости, какъ Шемякинъ Галичъ, какъ Чухлома, Кологривъ и Макарьевъ, и городъ Парфентьевъ, лежащій между ними, какъ разъ въ серединѣ, около 70-ти верстъ разстоянія отъ каждаго.

Не назвался нашъ городокъ Парфеновымъ, какъ назвался бы онъ въ томъ случаѣ, когда положилъ бы ему начало первой избой и хозяйствомъ мужичокъ—колонизаторъ (Савва, Ефимъ, Семенъ, Еремѣй, Лошка, Нечай), но получилъ свое имя несомнѣнно отъ монаха, выстроившаго монастырь въ честь Рождества Христова. Къ монастырю подъ горою пристроилась впослѣдствіи, какъ и вездѣ на Руси, слобода (до сихъ поръ сохраняющая свое имя),—слобода изъ людей свободныхъ которые любили тянуть къ монастырямъ подъ ихъ защиту и на монастырскія льготы. Но о монахѣ только догадка и даже о монастырѣ сохранились самыя слабыя и смутныя преданія. На томъ мѣстѣ теперь кладбище съ десяткомъ необычайно древнихъ сосенъ—остаткомъ монастырской рощи, а за кладбищемъ опять клочокъ такой же рощи, принадлежащей нѣкогда къ воеводскому дому. Отъ послѣдняго остались только гнилушки, да и тѣ уже высушило солнце въ пыль. *и развѣялъ* вѣтеръ можетъ быть въ ту сторону, гдѣ и до сихъ

поръ за однимъ урочищомъ или лугомъ сохраняется названіе палачовки. Палачамъ земля эта принадлежала, на палачей посадскіе люди эту землю воздѣлывали и тѣмъ ихъ пропитывали. По другую сторону монастырской горы, гдѣ стоитъ старый соборъ внутри старой крѣпости, къ соборной горѣ примыкаетъ третья часть селенія, расположенная по склону возвышенности и называемая собственно посадомъ, гдѣ жили посадскіе люди и ямщики, живутъ теперь сплошъ мѣщане. Въ собственность ямщиковъ была отписана та земля, которая примыкаетъ къ Парфентьеву со стороны, противоположной рѣкѣ Неѣ,—земля, которую удалось послѣ долгихъ ссоръ и споровъ, оттягать въ недавнее время крестьянамъ сосѣдней слободы Лошкова.

Дорога въ Парфентьевъ отъ губернскаго города Костромы начинается сразу лѣсами, которые еще даютъ себя знать и чувствовать, какъ серьезныя лѣсонасажденія на цѣлыхъ двухъ сотняхъ почтоваго пути, набѣгающаго сплошъ и къ ряду на высокія и крутыя глинистыя горы. На первой полусотнѣ верстъ попадается также древнѣйшій городъ княжеской постройки и древняго славянскаго имени—Судиславль. Еще черезъ 70 верстъ отъ него также за лѣсами и горами, на низменности большаго озера подъ крутой горой, сохраняющей остатки Шемякина дворца и крѣпости—древнѣйшій городъ Галичъ. Кругомъ его лежатъ крутыя каменистыя горы, изъ которыхъ за одной сохранилось древнее мерьское прозвище Чолсмы, за другой древне-русское—Свиная Нога. Отъ Свининскихъ горъ въ 60, отъ древняго Галича въ 70 расположился и тотъ Парфентьевъ, на которомъ остановилось наше вниманіе. Двадцать пять верстъ отъ Галича тянется уже густой лѣсной волокъ безъ всякаго жилья. Лѣсъ выросъ на мокрой и еще до сихъ поръ сохраняющей свой дикой первобытной видъ мѣстности,—огромный холодильникъ, въ которомъ беретъ свой истокъ рѣка Нея, на столько обильная еще водянымъ за-

пасомъ, что лишь въ двухстахъ верстахъ отъ этого мѣста рѣка теряетъ свое имя, впадая въ Унжу—одинъ изъ солидныхъ и главныхъ притоковъ Волги.

Мрачный и мокрый лѣсъ кончается лишь для того, чтобы дать мѣсто большому селу Бушневу съ приселками и множествомъ другихъ селъ опять-таки съ коренными русскими именами (Арсеньева—слобода, Никола-Уголъ, Ивановское Лермантова, Никола Каликино и т. под.), а затѣмъ опять лѣса и селенія въ перемежутку. Селенія: Бородино, Зикеево, Задній дворъ, Передній дворъ, Середній дворъ; и между ними Погорѣлки, Починки, Потрусово—какъ свидѣтели тѣхъ неключимыхъ бѣдъ и напастей отъ пожаровъ и болѣзненныхъ „трусовъ"—моровыхъ повѣтрій, которыми привѣтствовала дикая страна новыхъ непривычныхъ пришельцовъ съ теплаго юга. Но вотъ и деревня Трифонова: остается всего пять верстъ, но лѣсъ неотвязчивъ. Онъ еще продолжаетъ тянуться перелѣсками, хотя борьба съ нимъ пошла не на шутку: то и дѣло по сторонамъ тянутся воздѣланныя поля, засѣянныя или гуляющія подъ паромъ. Вотъ за три версты мелькнулъ крестъ посадскаго собора внизу подъ горой; надо еще ѣхать, чтобы увидѣть куполъ, главы, крышу церковную: мы на возвышенности и дорога наша отлого, но едва примѣтно спускается тянигусомъ по покатости. Остается верста,—и посадъ видѣнъ весь подъ горой, какъ бы въ ямѣ, какъ Галичъ, какъ Судиславль, Ростовъ Ярославскій, Переяславль Залѣсскій и другіе древнѣйшіе города, когда у пришельцовъ не было еще на столько смѣлости и права, чтобы побѣдоносно взбираться на горы, какъ забрались на Днѣпрѣ: въ Кіевѣ, въ Могилевѣ, въ Смоленскѣ.

Подъѣзжая къ Парфентьеву, оглянитесь: много ли такихъ картинныхъ мѣстностей на Руси святой? Кругомъ обступили горы; посадъ дѣйствительно въ ложбинѣ. По горамъ стоятъ густые *сухіе лѣса,* такъ наз. боры, кое-гдѣ перерѣзанные пустырями,

означающими присутствіе пашень, луговъ и селеній; пять селъ кажутъ черезъ лѣсные гребни золотые кресты и бѣлыя каменныя зданія: вотъ прямо Успенье Нейское, лѣвѣе Дмитрій-Потрусово, Ефремье, Веденье и Никола-Ширь. Послѣдній справедливо, съ поразительною поэтическою правдою, рисуетъ свое мѣсто, — дѣйствительно непроглядную ширь, дѣйствительно одну изъ красивѣйшихъ, очаровательныхъ мѣстностей, передъ которою можетъ уступить даже и парфентьевская. Очень нетрудно найти такіе пункты, съ которыхъ лѣса кажутся въ такомъ изобиліи, что будьто разлилось лѣсное море, среди котораго даже не видать и этихъ бѣлѣющихся островов съ лугами и селеніями. Огромное безпредѣльное море лѣсовъ, среди котораго становится даже положительно страшно, представляетъ въ этой мѣстности именно то явленіе, каковое скоро сдѣлается большою рѣдкостью на всѣхъ пространствахъ сѣверной Россіи, прорѣзаемой Волгой и ея притоками. Парфентьевская мѣстность обманчива въ томъ лишь отношеніи, что, представляя посадъ подъ горой и какъ бы въ ямѣ, въ самомъ дѣлѣ сохраняетъ его мѣсто на горѣ довольно крутой и высокой. Низменность предшествуетъ лишь рѣкѣ и, занятая слободой посада, суха, широка и привольна по богатымъ травою лугамъ, которые съ древнихъ временъ принадлежатъ первымъ хозяевамъ мѣстности и называются поповскими, составляя собственность парфентьевскаго духовенства.

На сколько выигрываетъ посадъ отъ такого своего красиваго лѣснаго положенія, можно судить изъ того, что воздухъ весь пропитанъ ароматомъ окрестныхъ сосновыхъ лѣсовъ, весь наполненъ смолкою, безъ малѣйшихъ признаковъ присутствія болотныхъ міазмовъ: лѣса въ этомъ случаѣ блестящимъ образомъ исполняютъ свое главное міровое назначеніе, — быть естественными регуляторами вѣтровъ и сырости. Кромѣ того, за лѣсами еще служба, при способности принимать въ сеся различные газы и перерабатывать

ихъ въ собственное вещество,—очищеніе воздуха, который портится дымомъ жилыхъ строеній, теплинами на поляхъ и лѣсахъ, дыханіемъ животныхъ и людей и испареніями земли, которая къ тому же здѣсь больше чѣмъ гдѣ-либо требуетъ и получаетъ удобренія. На сколько же сильно вліяніе лѣсныхъ насажденій, буквально обступившихъ посадъ со всѣхъ четырехъ сторонъ, можно уже судить изъ того, что здѣсь ни разу не бывала холера, поглощавшая множество жертвъ въ окрестностяхъ не болѣе десятка верстъ. Сверхъ того долголѣтіе обитателей рѣзко бросается въ глаза: лошковскій старикъ, бывшій посадскій церковный староста Романъ Абрамычъ... умеръ 110 лѣтъ, его сосѣдка по избамъ 122, Тимоѳею Аникичу — 90, старикъ рождественскій священникъ Іоаннъ Клириковъ умеръ 85 лѣтъ и т. д.

На сколько же выигрываетъ посадъ отъ своего положенія въ такой отдаленной глуши (даже по отношенію къ губернскому городу) при содѣйствіи отчаянныхъ дорогъ, идущихъ по лѣсамъ, по крутымъ горамъ и по глиннику (который въ сухую погоду дѣлаетъ костоломный колокъ, а въ дождливую невылазенъ) — читатель можетъ судить по нижеслѣдующему.

Бѣдность жителей поражаетъ всякаго при первомъ взглядѣ: нѣтъ ни одного каменнаго дома, а большая часть деревянныхъ прогнили до слезъ, покривились и полуразрушились. На слободку подлѣ кладбища, отдѣленную отъ посада глубокимъ оврагомъ (и потому названную Завражьемъ) и глядѣть больно: какъ заселилась она въ древности, по обычаю, самымъ бѣднымъ людомъ, неужившимся въ посадѣ, такъ и теперь на большую половину застроена старыми срубами, которые только оттого и похожи на хижины, что прикрыты обрѣшетившеюся драныо и не покрыты соломой за тѣмъ, что это запрещено въ городахъ и преслѣдуется. Нарядъ жителей до сихъ еще поръ на большую часть *шьется изъ* домотканныхъ матерій, и домашніе станы, про свой

обиходъ, еще не такъ давно щолкали почти въ каждомъ домѣ. Только въ послѣднее время двухъ десятковъ лѣтъ ивановскіе ситцы и московскія сукна стали подспорять этому горю, но довольно слабо и не совсѣмъ удовлетворительно: много заплатъ, много наставокъ; лоскутковъ и рвани довольно. Не носятъ посадскіе лаптей только потому, что совѣстно это господамъ-мѣщанамъ, но окрестные крестьяне всѣ сплошъ обуты въ дешовой продуктъ березоваго и липоваго дерева: въ шептуны и лапти. Словомъ сказать—посадская бѣдность сквозитъ отовсюду.

Мѣщанское право—по положенію— отняло пахотную землю, оставивъ лишь при выгонѣ, но парфентьевцы съ отчаяніемъ ухватились за кое-какой клочекъ пахоты и отбоевали ее по время введенія екатерининскаго городового положенія. Чтобы спасти себя, стали кортомить земли у сосѣднихъ крестьянъ, но не спаслись и этимъ: земля ихъ холодна и климатъ суровъ. Овесъ, ячмень, рожь, ленъ, да и все тутъ (одинъ затѣйникъ—баринъ въ 4 верстахъ по сосѣдству пробовалъ за лѣсомъ высѣять гречку, да на другой годъ ужъ и не убытчился, не сѣялъ). Къ тому же и то, что высѣвается,—на шестой годъ, голодной, всегда не доходитъ, но и въ счастливое время родится только самъ-3-самъ-4, отбивая отъ земли всякую надежду. И удобренная щедро подъ самыми домами и на огородахъ,—земля не поднимаетъ даже токой благодарной овощи, какъ огурцы: ихъ привозятъ изъ-за семидесяти верстъ, изъ Галича. Вотъ почему людны и крикливы посадскіе базары въ четверги по зимамъ, когда окрестной крестьянской людъ собирается подѣлиться съ мѣщанствомъ мѣшочками убережонаго жита и обмѣнять его на сушонаго и страшносоленаго судака, котораго перекупаютъ мѣщане на болѣе отдаленныхъ ярмаркахъ, шумящихъ въ сторонѣ къ Волгѣ и вблизи этой рѣки—всероссійской кормилицы. Въ базарномъ шумѣ про-

рывается ясно вопль отчаянія голодовки окрестнаго люда, а посадскихъ людей всѣхъ звончѣе и отчаяннѣе.

Что же посадскимъ мѣщанамъ остается дѣлать, посреди самыхъ невыгодныхъ условій и гражданскаго положенія, и климатическихъ неудобствъ? Да тоже самое, что и прочему мѣщанству иныхъ городовъ, поставленныхъ даже и среди болѣе благопріятной и счастливой обстановки! Городская жизнь, при наибольшомъ развитіи общежитія и при сильнѣйшемъ подспорьѣ нужды и бездолья, сдѣлала изъ мѣщанъ людей бойкихъ, смышленыхъ, находчивыхъ, и при этомъ помѣстила ихъ въ средѣ деревенскихъ жителей, сплетенныхъ проще и болѣе подслѣповатыхъ. Отсюда постоянныя стремленія и возможность поживиться отъ простоты деревенщины, маклачить на ея счотъ на всякую стать, какая только подвернется. Вотъ почему въ Парфентьевѣ народились барышники на крестьянскихъ лошадей такіе, что знаютъ ихъ и боятся даже въ очень далекомъ вятскомъ городѣ—Котельничѣ, гдѣ, какъ извѣстно, разъ въ году бываетъ одна изъ самыхъ крупныхъ конныхъ ярмарокъ. Человѣкъ десять парфентьевскихъ мѣщанъ мечутся, какъ цыгане на торгу, на двухъ своихъ ярмаркахъ: въ девятую пятницу (по Пасхѣ) и на Макарьевской (25 іюля) съ кнутомъ за поясомъ, съ крупною всегда готовою на устахъ бранью, съ озорнымъ крикомъ, со лживою божбой и съ тѣмъ плутовствомъ, которое не щадитъ и отца роднаго. Вотъ почему посадскіе занимаются и такимъ послѣднимъ дѣломъ, какъ битье кошекъ и за то прозваны отъ сосѣднихъ крестьянъ кошкодавами. Заводовъ кошачьихъ они впрочемъ не держатъ, а бродятъ по деревенскимъ задворьямъ и воруютъ чужихъ. Воруютъ же и отъ бѣдности, и по той причинѣ, что подъ Галичомъ съ древнѣйшихъ временъ приладилась большая промышленная слобода Шокша съ кожевенными заводами, выдѣлывающими мѣха и кожи. Кошка *идетъ на опушку* шапокъ, а за скотскими шкурами пять-шесть

парфентьевскихъ мѣщанъ круглой годъ ѣздятъ по окрестнымъ деревнямъ. Шокша перерабатываетъ все это въ ходовой товаръ, который и исчезаетъ въ ней, какъ капля въ морѣ, потому что шоковскіе ѣздятъ еще въ архангельской городъ Пинегу, гдѣ и скупаютъ всѣ мѣха тундрянаго звѣря: песцовъ, горностаевъ, оленей, волковъ. Наука воровать кошекъ не прошла для посадскихъ совсѣмъ безслѣдно: хаживали они по ночамъ и за другими продуктами, угоняли лошадей и коровъ: то и дѣло ходили вдоль по базару мужики съ шапкой на палкѣ и съ крикомъ: „не видалъ ли кто, такихъ-то примѣтъ, пропавшую скотину?“ Бывали времена, что нѣкоторые мѣщане выходили и на торговую дорогу встрѣчать или провожать купеческіе обозы съ краснымъ и дворянскимъ товаромъ, а когда появился въ тѣхъ мѣстахъ, въ двадцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія, извѣстный разбойникъ Васька Торинскій, — трое парфентьевскихъ мѣщанъ угодили въ Сибирь. Впрочемъ это — худшіе, болѣе забаловавшіеся и болѣе голодные, у которыхъ отчаяніе бездолья растравлено пьянствомъ и налажено кабакомъ. У хорошихъ и лучшихъ — другіе пути и средства.

Парфентьевъ выстроился именно въ такой мѣстности, гдѣ все населеніе давно и крѣпко убѣдилось въ томъ, что житьемъ дома на неблагодарной землѣ не проживешь: надо уходить въ хорошія мѣста, искать заработковъ на сторонѣ. Это тяготѣніе вонъ на отхожіе промыслы, — явленіе не только очень давняго происхожденія, но и поразительное по обилію уходящаго люда и по разнообразію способовъ и формъ самой промышленности. Парфентьевъ въ этомъ отношеніи составляетъ даже такой замѣчательный пунктъ, на которомъ встрѣчаются два пути для выхода, на отхожіе промыслы и оба переламываются, расходясь одинъ отъ другаго въ совершенно противоположныя стороны. Тотчасъ же за рѣкой Неей, омывающей посадъ съ сѣверной стороны, всѣ лежащія во-

лости высылаютъ народъ на востокъ „въ Сибирь“, какъ привыкли тамъ выражаться по древнему праву и обычаю, хотя въ настоящее время эта „Сибирь“ есть ни что иное, какъ губерніи Вятская, Пермская и Казань. Здѣсь нанимаются на заводскія работы, но всего болѣе любятъ коновалить, а подчасъ и колдовать. Затѣмъ всѣ волости по-сю-сторону Неи, къ Галичу и Чухломѣ, тянутся прямо на западъ, и именно въ Петербургъ, гдѣ въ особенности много чухломскаго и галицкаго люда: въ десятникахъ и плотникахъ; въ малярахъ и стекольщикахъ; въ каменщикахъ, печникахъ и штукатурахъ; въ сидѣльцахъ лавочныхъ и торговцахъ-ношатыхъ съ разноснымъ товаромъ. На сколько древенъ занейскій уходъ въ сибирскія страны, на столько же старъ теперь сталъ и мѣстной отхожій промыселъ въ Питеръ, одновременный первымъ годамъ основанія столицы, когда потребовались туда лучшіе русскіе плотники, и между ними самые лучшіе— жители лѣсныхъ деревень Костромской губерніи.

Мѣщанская гордость и городское тщеславіе крѣпилось очень долгое время среди окрестнаго соблазна, не поддаваясь тѣмъ двумъ тягамъ, которыя равно были сильны: парфентьевскіе жили дома, разсчитывая на отсутствіе мущинъ и легкую добычу около бабъ. Но когда и баба выросла сметкой и толкомъ до хорошаго мужика, но когда и мужикъ сталъ являться развитымъ и умнымъ далеко свыше ума и развитія торговаго посадскаго, когда, наконецъ, попробовали двое-трое посадскихъ, преодолѣвъ стыдъ и предразсудки, сходить въ Питеръ, и имъ посчастливило, съ этими тремя отпустили мальчиковъ. Мальчики, сдѣлавшись взрослыми мастерами и торговцами, потащили за собой и собственныхъ дѣтей и ближнихъ родственниковъ. И вотъ, лѣтъ тридцать тому назадъ, зазнали въ Петербургѣ и мѣщанъ парфентьевскихъ. Не выродилось изъ нихъ ремесленниковъ и мастеровъ, но въ торговомъ классѣ мелкихъ торговцовъ и прикащиковъ стали при-

мѣтны и они: довольно парфентьевскихъ на рыбныхъ садкахъ, есть и на Апраксиномъ дворѣ, но всего больше, и очень много, на Андреевскомъ рынкѣ, который они особенно полюбили. Но много ихъ остается еще дома, удерживаемыхъ или предразсудками стариковъ или крайною настоятельною нуждою быть при своемъ пепелищѣ, или выгодами нахоженнаго и налаженнаго промысла въ ближной окольности, или, наконецъ, крайною безвыходною бѣдностію, рѣшительно не позволяющею подняться съ мѣста и обратиться въ такой дальной путь. Однако домашное дѣло плохо кормитъ, и на доморощеномъ конѣ далеко не уѣдешь. Судьба таковыхъ поставлена невыгодно и подчинена замѣчательнымъ случайностямъ. Такъ, напримѣръ, благодаря обилію и сохранности окрестныхъ лѣсовъ, житейская судьба парфентьевскихъ жителей на большую долю и крѣпко подчинена урожаямъ на лѣсныя произведенія: отчасти на ягоды, но всего больше, и по преимуществу, на грибы. Надо сказать правду: въ урожаѣ грибовъ все спасеніе и вся надежда посадскихъ домосѣдовъ и старожиловъ. А такъ какъ не всякой годъ на нихъ урожай, а надежды сосредоточиваются въ этомъ пунктѣ въ большой массѣ, то и понятна та бѣдность и бездолье, которыя рѣзко и характерно бросаются въ глаза. Какъ, по видимому, ни странно, что жизнь сотенъ людей, зависитъ отъ этихъ тайно-брачныхъ растеній, носящихъ названіе масляниковъ, рыжиковъ, бѣлыхъ грибовъ или, по торговому, чорнаго и бѣлаго гриба,—тѣмъ не менѣе, вотъ цѣлая и большая мѣстность съ древнѣйшихъ временъ пріурочила себя къ этому дѣлу, связала съ нимъ свою судьбу и обратила грибы въ товаръ, а дѣло собиранія и приготовленія ихъ въ особый промыселъ, способный прокармливать цѣлыя семьи, большой посадъ, великое множество деревень, и т. д. Попутный посадъ Судиславль (также безуѣздный городъ Костромской губ.) за то, что принялся у парфентьевскихъ скупать грибы и торговать ими,

успѣлъ обстроиться гораздо лучше и выстроить даже нѣсколько каменныхъ домовъ, и все положительно отъ грибной торговли. Оборотъ грибомъ у самаго богатаго судиславца (Папулина), по самымъ вѣрнымъ слухамъ и расчотамъ, простирается въ годъ до полутораста тысячъ. Посадъ Судиславль пріобрѣлъ въ Россіи по этой торговлѣ довольно громкую извѣстность и успѣлъ затереть и затемнить совсѣмъ своего главнаго и перваго поставщика— Парфентьевъ, и раздѣляетъ Судиславль свою славу и барыши только съ Егорьевскомъ (Рязанской губ). и съ Каргополемъ (Олонецкой губ), откуда впрочемъ идутъ болѣе рыжики, получившіе очень давную и большую извѣстность. *) И тотъ и другой увѣренно расчитываютъ и твердо опираются (хотя и не съ прежнею силою) на обиліи постныхъ дней, число которыхъ въ годовомъ церковномъ кругу, православной Россіи простирается до 195, то есть болѣе половины года.

Мы не сомнѣвамся въ томъ, что грибной промыселъ бывшаго города Парфентьева идетъ изъ древнѣйшихъ временъ, обладая всѣми свойствами первобытнаго, сколько по замыслу, столько и по исполненію. Нигдѣ въ окрестностяхъ онъ не развитъ въ такой мѣрѣ, да и вся мелочь сборовъ въ болѣе отдаленныхъ окрестностяхъ все-таки свозится въ Парфентьевъ, или, собственно говоря, въ село Успенье-Нейское, удаленное отъ посада только на четыре версты. Здѣсь также, по дешовому пріему и указаніямъ самой природы, 15 августа бываетъ ярмарка спеціально грибная, которая и умѣста разъигрываться въ одно утро, потому что производятъ грибную развязку какихъ-нибудь десятокъ молодцовъ, пріѣзжающихъ изъ

---

*) Въ послѣднее время значительными массами на петербургскіе рынки стали доставлять грибы евреи изъ мокрыхъ лѣсовъ Сѣверо-западнаго края, но эти грибы дурнаго качества и очень дурнаго приготовленія— *слабые соперники* грибовъ сѣвера Россіи, т. е. костромскихъ и рязанскихъ

Судиславля и между ними прикащики такого крупнаго купца—капиталиста, каковъ Папулинъ. Посадская макарьевская ярмарка (25 іюля съ подторжьемъ 24 числа) нѣколько ранняя для грибовъ, а потому шумитъ больше крестьянскимъ товаромъ: издѣліями деревянной посуды, лаптями, краснымъ товаромъ и галицкими огурцами, за которыми пріѣзжаютъ чиновники даже изъ того города (Калогрива), къ уѣзду котораго приписанъ „бывый городъ Парфентьевъ".

Сборъ грибовъ начинается въ іюлѣ, и къ серединѣ его не представляетъ еще такого множества продукта, которое обѣщало бы ему возможность сдѣлаться предметомъ настоящей оптовой торговли. Къ августу собранные грибы приготовляются уже въ прокъ, т. е. высушиваются въ печахъ, и надъ посадомъ стоитъ уже смрадъ, и на дальную окольность несется характерный запахъ сушоныхъ грибовъ. Мѣщанскія избы пропитываются тѣмъ же запахомъ насквозь, на долгое время; понявы и сарафаны, армяки и рубахи—все несомнѣнно доказываетъ, что идетъ грибная сушка, требующая большаго количества дровъ, которыя, однако, не имѣютъ почти никакой цѣны (березовыя дрова, по заказу, толстыя трехполѣнныя стоютъ 1 р., 1 р. 20 к., а сосновыя и хворостъ со щепами рубятся безъ всякой пошлины; весь расходъ—взять топоръ и нарубить, запречь лошадь и привезти). Сначала идутъ масляники и сушатъ ихъ: въ торговлю поступаютъ они подъ именемъ чорнаго гриба; потомъ появляются цѣлики и бѣлые грибы вмѣстѣ съ родичами своими: боровиками и березовиками. Одновременно, къ концу іюля, поспѣваютъ рыжики, которые особенно любятъ августовскія росы по утренникамъ, и въ августѣ же, къ холодамъ, выходятъ грузды съ родичами своими—свинарями. Три послѣдніе сорта грибовъ,—останныхъ—поступаютъ въ мочку и солку и, вылежавши подъ пресомъ, являются лучшимъ сортомъ соленыхъ грибовъ, потому что необыкновенно тверды (ядрены), устойчивы

для сохраненія, и потому пользуются наибольшимъ почотомъ и уваженіемъ въ торговлѣ. Соленые грибы продаются въ кадочкахъ и ведрахъ, сушоные нанизанными на ниткахъ связками, отборные съ однѣми шляпками, неотборные и съ корешками. Продаютъ же на вѣсъ и тѣ и другіе и третьи.

Сборомъ грибовъ занимаются всѣ отъ мала до велика, съ ранняго утра, можно сказать съ первымъ лучомъ восходящаго солнца, отправляясь въ сосѣдніе боры. Самые искусные сборщики, если грибы проявились по близости, сходятъ въ день разъ до пяти и возвращаются обыкновенно очень позднимъ вечеромъ. „Послѣ парфентьевскихъ уже въ лѣсъ не ходи“: таково общее окрестное мнѣніе. И дѣйствительно, оживаютъ сосѣдніе лѣса отъ перекрестнаго и безпрестаннаго ауканья, и нельзя представить себѣ въ лѣсу такой глухой трущобы, гдѣ бы не привелось натолкнуться на кого-либо изъ посадскихъ. Крестьяне мѣщанамъ завидуютъ и изподтишка побраниваютъ; но древній обычай, по отношенію къ грибамъ, сохраняетъ лѣса въ общинномъ нейтральномъ и недѣленомъ владѣніи. Рубить дровъ нельзя, но ломать грибы не запрещается. Временныя заявленія со стороны крестьянъ на заповѣди въ своихъ лѣсахъ—замѣчательная рѣдкость и не имѣетъ особенной силы и значенія. Парфентьевскіе грибовники и грибовницы ходятъ верстъ за 10 за 15, лишь бы были здоровы и выносливы ноги, но, по привычкѣ, въ такую даль за грибами ходятъ даже и старыя старухи. За груздями же и свинарями ѣздятъ парфентьевскіе даже за 20—30 верстъ въ огромной березникъ подъ Задоринымъ, въ сторону Кологрива, который, какъ извѣстно, получилъ и свое имя отъ того, что лежитъ коло гривъ или около двухъ гривъ лѣсныхъ, т. е. сплошныхъ полосъ: одна идетъ въ Вологодскую губернію и исчезаетъ вмѣстѣ съ архангельскими лѣсами на тундрѣ, другая соединена съ лѣсами вятскими и пермскими, а стало быть и съ сибирскими, т. е. не

имѣетъ конца. За груздями ѣздятъ посадскіе уже съ кузовьями на двухъ-трехъ телѣгахъ, опять цѣлыми семьями, но уже съ запасами дней на 10 и на двѣ недѣли.

Каждая хозяйка съ дѣтьми (преимущественно хозяйка, потому что мущины охотятся на грибы только въ крайныхъ случаяхъ нужды или обильнаго урожая), каждая хозяйка выхаживаетъ лѣтомъ грибовъ на 25—30 рублей, а считая семью въ 5 человѣкъ получаетъ въ подспорье хозяйству ровно такую сумму 150—200 руб., которая кормитъ домъ круглой годъ. Въ этомъ отношеніи парфентьевскія мѣщанки представляютъ собою то отрадное явленіе, которое на Руси столь рѣзко-характерно, что женщина въ домашномъ и сельскомъ хозяйствѣ съ достоинствомъ оспариваетъ у мущинъ главную роль. При трезвости, при большей любви къ семейству, при замѣтной честности и трудолюбіи,— и на этотъ разъ онѣ являются ангелами-хранителями, и въ десяткахъ семей положительными спасительницами въ бездольѣ мѣщанскаго быта. Не забудемъ при этомъ, что въ Парфентьевѣ 12 кабаковъ и до шести трактировъ, гдѣ мѣщанскіе мужья просиживаютъ время и деньги изъ собственныхъ заработковъ съ значительнымъ прихватомъ женниныхъ и дѣтскихъ денегъ, выношенныхъ на грибахъ, выхоженныхъ ногами, буквально добытыхъ горбомъ. Мѣщанское пьянство равносильно мѣщанскому безвыходному бѣздолью, и въ Парфентьевѣ по праздничнымъ днямъ съ избыткомъ довольно: и круто-посоленой брани, и кровопролитныхъ дракъ, и неугомоннаго безконечнаго буйства. Для парфентьевскихъ же мѣщанъ, сверхъ того, къ воскреснымъ днямъ для дракъ и разгула прибавляются по зимамъ еще лишные праздники—базарные четверги. Въ этой бездонной пропасти, на засыпку которой тысячами умовъ еще не придумано никакого средства,—исчезаютъ и тѣ малыя деньги, которыя платятъ непьющимъ мѣщанкамъ за невѣрной и ненадежной грибной продуктъ судиславскіе кулаки.

И слишкомъ жаркое лѣто безъ дождей, и лѣто съ дождями, но очень вѣтряное и холодное, въ равной степени способны отнять и этотъ кусокъ хлѣба, не слишкомъ горькой лишь по пріятности цѣлительныхъ, разнообразныхъ и веселыхъ (въ компаніи) прогулокъ. Ксчастію, не грибовныя лѣта бываютъ не часто. Правда, заработокъ значительно упадетъ, судиславцы немного оставятъ денегъ, но все-таки оставляютъ, когда пройдетъ негрибовное лѣто, но зато неизбѣжно наступитъ осень съ росами. Росы грибы выгоняютъ и рыжики послѣ утрениковъ бываютъ даже лучше (сочнѣе и тверже). Развитію грибовъ—какъ извѣстно—наиболѣе способствуетъ холодный и влажный климатъ, потому что двѣ или три тысячи извѣстныхъ доселѣ нечужеядныхъ породъ являются преимущественно на сѣверѣ и въ серединѣ Россіи:—Костромская губернія играетъ въ этомъ отношеніи одну изъ главныхъ ролей, а описанная мѣстность виднѣе и характернѣе всѣхъ прочихъ.

Познакомившихся съ мѣстностью и промысломъ просимъ теперь обратить вниманіе на отдѣльнаго представителя, — нашего знакомца и грибнаго охотника и любителя.

Едва только успѣли отозваться третьи пѣтухи и разноголосный чередовый выкрикъ ихъ замеръ въ отдаленіи, въ воздухѣ наступила прежная, ничѣмъ невозмутимая тишина, какъ бы въ ожиданіи появленія солнца. Вскорѣ пронеслось едва ли не послѣднее кряканье коростеля, засѣвшаго гдѣ-то во ржи и топотъ шальныхъ овецъ, напуганныхъ обнюхиваньемъ проходившей коровы.

Въ чистомъ здоровомъ воздухѣ несся издали нескладный звонъ почтоваго колокольчика: лѣниво-сонно болталъ его язычокъ. Ѣхалъ ли тамъ угомонившійся и заснувшій проѣзжающій, а можетъ быть и почтовый ямщикъ возвращался домой, растянувшись во всю длину своей тряской телѣги. На улицѣ сверкнула пролетавшая ласточка, успѣвшая уже набрать пищи; на дорогѣ щебетала и прыгала сорока; далеко въ полѣ заржалъ жеребенокъ, и звякнула колокольцомъ, гдѣ-то вблизи, стреноженная лошадь. Солнышко выглянуло сначала однимъ краемъ, но вскорѣ и совсѣмъ показалось, набрасывая на землю длинныя и густыя тѣни.

Все еще спало, но на дальномъ концѣ улицы показалась маленькая темная фигура, при дальнѣйшомъ приближеніи которой не трудно было узнать въ ней Ивана Михѣича—перваго въ околодкѣ грибовника, испытаннаго знатока своего дѣла. Недаромъ же онъ поднялся такъ рано, прихвативъ съ собою два большихъ лукошка, не даромъ и шагъ его такъ порывистъ,—старикъ хорошо знаетъ, *что ему* нужно еще четыре разъ сходить въ лѣсъ,

прежде чѣмъ придется улечься до другаго утра. Не хуже многихъ изъ своихъ сосѣдей знаетъ онъ то, что грибы — единственное средство его къ существованію, и что этотъ годъ гораздо грибовнѣе прошлогодняго, благодатнаго лѣта — нужно же пользоваться этимъ себѣ на пользу, другимъ на зависть и удивленіе.

Съ вечера выпалъ довольно бойкій и крупный, но очень теплый и непродолжительный дождикъ, такъ способствующій росту грибовъ, и Иванъ Михѣичъ идетъ въ полной увѣренности набрать оба лукошка до верху, въ чемъ никто изъ сосѣдей и усумниться не смѣетъ. Хорошо было извѣстно всѣмъ, что ни разу въ жизни не возвращался онъ изъ лѣсу съ пустыми лукошками; а въ грибовной годъ обтыкалъ даже ихъ еловыми лапками, и клалъ сверху, для хвастовства и задору сосѣдей, старый бѣлый грибъ, величиной въ мѣщанскую шапку.

Нельзя было не удивляться его приглядкѣ къ тѣмъ мѣстамъ, которыя любятъ его кормилицы, наконецъ тому громадному количеству связокъ бѣлыхъ грибовъ и маслениковъ, которые продавалъ онъ зимой на ближайшей ярмаркѣ и на порядочную выручку существовалъ до слѣдующаго лѣта. Одни говорили, что онъ счастливъ на этотъ продуктъ и самъ его ищетъ, другіе — что онъ знаетъ тайные заговоры и вызываетъ грибы наружу; третьи говорили, что онъ ищетъ гриба по нюху, какъ собаки дичь, и по вѣтру ходитъ на лѣсъ и попадаетъ на грибныя кучки. Болѣе благоразумные сосѣди стояли на одномъ, что лиха бѣда приглядѣться къ бору, да запримѣтить по пристальнѣе, какой грибъ какое мѣсто любитъ; а тамъ — смотри, да не зѣвай только.

Въ тридцать лѣтъ прогулокъ по сосѣднимъ лѣсамъ, трудно не узнать ихъ какъ свои пять пальцовъ, но все-таки завидная принаровка Ивана Михѣича къ грибному дѣлу удивительна и *непонятна*. Были же въ околодкѣ старинные грибовники, но и

тѣ всегда отдавали почотъ нашему старику и являлись къ нему на новую новинку, которая всегда сопровождалась нѣкоторыми обрядами, имѣющими смыслъ только тамъ, гдѣ всѣ лѣтнія занятія состоятъ исключительно въ сборѣ грибовъ и продажѣ ихъ.

Празднованіе появленія новой новинки всегда случалось въ избѣ Ивана Михѣича, вскорѣ послѣ того, какъ проиграютъ овраги и выступитъ первая зелень. Онъ обыкновенно приглашалъ къ себѣ на закуску трехъ-четырехъ человѣкъ короткихъ знакомыхъ, сажалъ ихъ за столъ и отправлялся за переборку, дверь которой всегда плотно притворялъ за собой.

Гости обыкновенно молчали, самодовольно улыбаясь и поглядывая то на водку, то на завѣтную дверь, которая вскорѣ отворялась, и въ ней являлся тоже весело улыбавшійся хозяинъ съ огромной сковородой, налитой масломъ и смятаной. Подъ этими-то снадобьями и скрывалась виновница сбора гостей — новая новинка, или, лучше, первые весенніе грибы — сморчки, хорошо вываренные въ квасу и поджаренные.

Сковорода торжественно становилась на столъ, гости приглашались отвѣдать; и всегда и неизбѣжно начиналось переглядыванье и улыбки, пока самъ хозяинъ не глоталъ гриба. При этомъ всегда кто-нибудь изъ гостей больно теребилъ хозяина за ухо, къ несказанному удовольствію и утѣхѣ его, и приговаривалъ: „Новую новинку Богъ послалъ: пуще теребить, слаще скажется“. Тоже самое повторялось и между остальными гостями, при чемъ хозяинъ вѣчно разсказывалъ о томъ, что сморчокъ только и годенъ, какъ снѣдь, пока не прогремитъ первый громъ. Послѣ того въ грибъ этотъ, по его мнѣнію, заползаетъ змѣя и пускаетъ яду, отъ чего сморчокъ начинаетъ гнить и пропадаетъ до новой весны. Только три раза въ жизни услыхалъ онъ громъ прежде, чѣмъ попробовалъ новой новинки, и вотъ съ тѣхъ-то поръ

далъ онъ себѣ зарокъ всегда праздновать его появленіе и созывать гостей, и никогда не измѣнялъ себѣ.

Точно также, какъ первый весенній грибъ, Иванъ Михѣичъ встрѣчалъ появленіе и первыхъ лѣтнихъ грибовъ: волнушекъ и сыроѣжекъ, отваривая ихъ въ квасу и обливая сметаной, но не поджаривая. Любилъ онъ, при этомъ, первымъ ухватиться за чьенибудь ухо и весело ухмылялся. Радъ былъ, несказанно радъ старикъ, что наконецъ наступаетъ пора его дѣятельности трудолюбивой, безупречной, невинной во всѣхъ отношеніяхъ.

Иванъ Михѣичъ былъ старикъ привѣтливый, хлѣбосольный, вѣчно согласный со всякимъ, даже нелѣпымъ, мнѣніемъ другаго. Привѣтливо глядѣло его лицо, хорошо къ нему шла и прическа сѣдыхъ волосъ съ висковъ на темя, гладкое какъ ладонь, свѣтлое какъ луна въ зимную морозную ночь.

Но между многими добрыми качествами, снискавшими общее уваженіе сосѣдей, разумѣется, водились за Иваномъ Михѣичемъ и слабости. Одна изъ нихъ особенно достойна вниманія, какъ слабость, свойственная столько же ему одному, сколько и всѣмъ записнымъ грибовникамъ. Тайну своего знанія мѣстъ Иванъ Михѣичъ до самой смерти не высказывалъ никому. Трудно было отъ него добиться слова объ этомъ, и рѣшительно невозможно было уговорить его привести на свои завѣтныя мѣста, да, кажется, и самъ онъ этого не въ силахъ былъ сдѣлать.

Въ минуты откровенности, когда у человѣка въ полномъ смыслѣ слова „душа на ладонѣ и сердце за поясомъ“, старикъ иногда соблазнялся: разсказывалъ, что рыжикъ синій—полевикъ любитъ траву и нѣкоторую влагу; настоящій рыжикъ красненькой - боровикъ требуетъ не столь уже густой травы, не нуждается въ особенной влагѣ и сидитъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ лугъ смѣняется кучами сосновыхъ иголокъ. А здѣсь уже, по его мнѣнію, *изрѣдка* селится хитрый бѣлый грибъ, въ сосѣдствѣ съ кра-

сноголовымъ боровикомъ. Впрочемъ, оба гриба любятъ березникъ и осинникъ, тѣнь и нѣкоторую влагу, и при этомъ попадаются не иначе, какъ въ прошлогодней листвѣ.

Впрочемъ, въ этихъ сообщеніяхъ практической сущности было немного; разсказы показывали знаніе самаго знатока, но слушателей знатоками не дѣлали. Старикъ оставался вѣренъ завѣту хранить примѣты и знаніе въ тайнѣ.

— Сыроѣжки, прибавлялъ Иванъ Михѣичъ въ минуту рѣшительной откровенности, — растутъ безъ разбору: гдѣ успѣлъ тутъ и сѣлъ, только-что не забираются съ-дуру въ болота. А масляникъ такой ужъ грибъ благодатный, что изо всѣхъ грибовъ охочій расти. Припрысни только его дождичкомъ легонькимъ, да солнышка покажи — онъ тебѣ всѣ поляны облѣпитъ. Выгоняетъ его и роса по осени, — пожалуй ему и дождей не надо на этотъ разъ. Не люблю за одно: больно марокъ! А первачки по лѣту хороши и въ отварѣ.

— Главная причина, если хочешь больше грибовъ набирать —не спѣши, не суйся, прибавлялъ Иванъ Михѣичъ, какъ бы въ назиданіе, но все-таки сохраняя все свое достоинство и ни на волосъ не измѣняя зароку.

Набирай грибы исподоволь, не торопясь. Бери пока, что есть подъ рукой; а передніе и тѣ, что по бокамъ растутъ, не уйдутъ отъ тебя. Иной грибъ, пока еще ты сидишь подлѣ кучки, при тебѣ только и на свѣтъ-то Божій выползетъ: оттого оглядываться не мѣшаетъ. Тамъ уже, глядишь, новички народились, пока ты откапываешь передніе,—бери ихъ, не чванься. Первачки-грибки—хорошіе, хоть и маранотъ руки, а вѣдь безъ того и дѣло не обходится, особенно съ маслятами. Зато ужъ уменъ бѣлый грибъ: тотъ тебѣ самъ-отъ по себѣ и на глаза не покажется — стыдливый грибъ! Много-много если дастъ повадку, да крайкомъ высунется, а то весь въ землѣ и съ шляпкой своей. На то и цвѣтомъ

къ землѣ шибко подходитъ: не всегда отличишь. Жаль одного — червякъ его точитъ, ни за что точитъ. и досада беретъ, если снаружи и хорошъ бы и свѣжъ, а внутри — негодящая гниль. Красноголовые-то, дураки-боровики, тѣ хвастуны; тѣ, вѣдь, на весь лѣсъ сіяніе свое производятъ. Для нихъ законъ не писанъ, ихъ и слѣпой на сто шаговъ запримѣтитъ. Вылѣзетъ одинъ боровикъ и ребятишки маленькіе подлѣ стоятъ; только откапывать нужно, оттого что хороши въ отварѣ.

— А вотъ ты свинарей ухитрись находить, да груздей в соленье подавай! продолжалъ Иванъ Михѣичъ, видимо горячась и желая похвастаться.

Слова его похожи были не столько на наставленія, сколько на укоръ и упреки.

Онъ продолжалъ:

— Листву они любятъ, въ листвѣ осиновой, да березовой нарождаются!.. Знаемъ мы это: слыхали, что въ листвѣ и листвой-то этой они накрываются отъ стыда или человѣчьяго глазу. Не въ игольникахъ же имъ рости, въ трущобѣ этой. Знаемъ, что и рости-то они начинаютъ къ осени, когда дожди идутъ понаозойливѣе и тѣнь держится дольше,—все знаемъ! А поди-ко покажи мнѣ такую листву, такъ и поѣдешь, глядишь, къ Задорину. А я такъ и здѣсь, по близости, найду и посолю на зиму, цѣлыхъ двѣ кадушки посолю, а въ Задорино ваше, за двадцать верстъ, не поѣду. Вонъ есть, пожалуй, поджарый опенокъ, либо долговязый березовикъ, тѣмъ иную пору возами вози—не извѣдешь и умаешься. А я такъ не люблю такихъ, по мнѣ: либо бѣлый грибъ, либо груздь, либо боровикъ маленькій...

Каковъ былъ на словахъ Иванъ Михѣевичъ, таковъ и на дѣлѣ. На подобныя наставленія подъ часъ онъ былъ щедръ, но ни разу не приводилъ на свои завѣтныя мѣста: доведетъ, бывало, до кучки масленниковъ, и посовѣтуетъ обрѣзать корешки и

іасть только шляпки, а самъ и скроется въ чащу бора. Тогда ке никакія ауканья не соблазнятъ его на откликъ, до тѣхъ поръ, ока не кончитъ торжественно своего дѣла. Точно такимъ е образомъ поступилъ онъ однажды со мной.

Мѣстомъ прогулки назначенъ былъ тотъ боръ, который, по нѣнію Ивана Михѣича, былъ менѣе прочихъ обобранъ, и тѣ олянки, которыя находились въ самой чащѣ. Иванъ Михѣичъ, о обыкновенію, усадилъ меня подлѣ кучекъ маслениковъ и не-едленно скрылся куда-то въ сторону. Грибовъ послѣ вчерашняго ождика, высыпало до такой степени много, что приходилось івить ихъ ногами, и одними мелкими можно было бы набрать олное лукошко, а не добирать ягодами, т. е. не прибѣгать къ івинной хитрости, общей всѣмъ несвѣдущимъ въ дѣлѣ грибов-ікамъ.

Переползая отъ одной кучки къ другой, я постепенно по-вигался впередъ и незамѣтно очутился передъ едва проѣзжей въ ащей, гдѣ всѣ сучья готовы хлестать васъ и [illegible], сбиравшаго ею. Въ надеждѣ поймать въ ней Ивана [illegible] и пробираться на оузди, я началъ осторожно раздвигать [illegible]сто. Сухіе прутья трещали олѣе удобное, болѣе безопасное [illegible]ія чащи, въ которыя уже рѣшитель-одъ ногами; попадались [illegible] возможности проникнуть: нужно было обхо-ить ихъ. Такимъ образомъ, переходя отъ небольшой полянки въ ащу, и изъ этой въ болѣе густую или жиденькую, встрѣчалась еодолимая трудность для ногъ, представляемая огромными, гниви-ими колодами толстыхъ деревъ; кое-гдѣ валялись кучки моху муравейники; пробѣгала по колодѣ ящерица; каркала ворона чирикалъ воробей. Вскорѣ передняя чаща какъ будто освѣ-тилась; лѣсъ порѣдѣлъ; оставалось идти на удачу прямо впередъ: иначе пришлось бы плутать и разъ десять подходить къ одно-му мѣсту. Начался рѣдкій осинникъ, или, лучше березникъ, гдѣ

къ землѣ шибко подходитъ: не всегда отличишь. Жаль одного — червякъ его точитъ, ни за что точитъ, и досада беретъ, если снаружи и хорошъ бы и свѣжъ, а внутри — негодящая гниль! Красноголовые-то, дураки-боровики, тѣ хвастуны; тѣ, вѣдь, на весь лѣсъ сіяніе свое производятъ. Для нихъ законъ не писанъ, ихъ и слѣпой на сто шаговъ запримѣтитъ. Вылѣзетъ одинъ боровикъ и ребятишки маленькіе подлѣ стоятъ; только откапывать нужно, оттого что хороши въ отварѣ.

— А вотъ ты свинарей ухитрись находить, да груздей въ соленье подавай! продолжалъ Иванъ Михѣичъ, видимо горячась и желая похвастаться.

Слова его похожи были не столько на наставленія, сколько на укоръ и упреки.

Онъ продолжалъ:

— Листву они любятъ, въ листвѣ осиновой, да березовой нарождаются!.. Знаемъ мы это: слыхали, что въ листвѣ и листвой-то этой они накрываются отъ стыда или человѣчьяго глазу. Не въ игольникахъ же имъ рости, въ трущобѣ этой. Знаемъ, что и рости-то они начинаютъ къ осени, когда дожди идутъ поназойливѣе и тѣнь держится дольше,—все знаемъ! А поди-ко покажи мнѣ такую листву, такъ и поѣдешь, глядишь, къ Задорину. А я такъ и здѣсь, по близости, найду и посолю на зиму, цѣлыхъ двѣ кадушки посолю, а въ Задорино ваше, за двадцать верстъ, не поѣду. Вонъ есть, пожалуй, поджарый опенокъ, либо долговязый березовикъ, тѣмъ иную пору возами вози—не извѣдешь и умаешься. А я такъ не люблю такихъ, по мнѣ: либо бѣлый грибъ, либо груздь, либо боровикъ маленькій...

Каковъ былъ на словахъ Иванъ Михѣевичъ, таковъ и на дѣлѣ. На подобныя наставленія подъ часъ онъ былъ щедръ, но ни разу не приводилъ на свои завѣтныя мѣста: доведетъ, бывало, до кучки маслениковъ, и посовѣтуетъ обрѣзать корешки и

класть только шляпки, а самъ и скроется въ чащу бора. Тогда уже никакія ауканья не соблазнятъ его на откликъ, до тѣхъ поръ, пока не кончитъ торжественно своего дѣла. Точно такимъ же образомъ поступилъ онъ однажды со мной.

Мѣстомъ прогулки назначенъ былъ тотъ боръ, который, по мнѣнію Ивана Михѣича, былъ менѣе прочихъ обобранъ, и тѣ полянки, которыя находились въ самой чащѣ. Иванъ Михѣичъ, по обыкновенію, усадилъ меня подлѣ кучекъ маслениковъ и немедленно скрылся куда-то въ сторону. Грибовъ послѣ вчерашняго дождика, высыпало до такой степени много, что приходилось давить ихъ ногами, и одними мелкими можно было бы набрать полное лукошко, а не добирать ягодами, т. е. не прибѣгать къ невинной хитрости, общей всѣмъ несвѣдущимъ въ дѣлѣ грибовникамъ.

Переползая отъ одной кучки къ другой, я постепенно подвигался впередъ и незамѣтно очутился передъ едва проходимой чащей, гдѣ всѣ сучья готовы хлестать васъ и въ лицо, и въ шею. Въ надеждѣ поймать въ ней Ивана Михѣича, сбиравшаго грузди, я началъ осторожно раздвигать сучья и пробираться на болѣе удобное, болѣе безопасное мѣсто. Сухіе прутья трещали подъ ногами; попадались такія чащи, въ которыя уже рѣшительно не было никакой возможности проникнуть: нужно было обходить ихъ. Такимъ образомъ, переходя отъ небольшой полянки въ чащу, и изъ этой въ болѣе густую или жиденькую, встрѣчалась неодолимая трудность для ногъ, представляемая огромными, гнившими колодами толстыхъ деревъ; кое-гдѣ валялись кучки моху и муравейники; пробѣгала по колодѣ ящерица; каркала ворона и чирикалъ воробей. Вскорѣ передняя чаща какъ будто освѣтилась; лѣсъ порѣдѣлъ; оставалось идти на удачу прямо впередъ: иначе пришлось бы плутать и разъ десять подходить къ одному мѣсту. Начался рѣдкій осинникъ, или, лучше березникъ, гдѣ

догнивали прошлогодніе листья и было совершенно тихо. Только векша прыгала по деревьямъ, цѣпляясь за тонкіе прутья и покачиваясь на самой верхушкѣ высокаго дерева. За осинникомъ начались сплошные, колючіе кусты можжевельника, и прямо передъ глазами открылась большая поляна, окаймленная со всѣхъ сторонъ лѣсомъ, переходъ къ которому составляли кусты маленькихъ ёлокъ и можжухи. Такой же точно кустарникъ, въ разброску, пересѣкалъ середину поляны широкой лентой. Кое-гдѣ торчали обгорѣлые пни, а самая поляна представляла видъ давнишной новины, которая, можетъ быть, на будущій же годъ должна будетъ превратиться въ пашню. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже приступлено было къ этому дѣлу, потому-что кое-гдѣ валялись вывороченные съ корнями пни и наваленъ свѣжій дернъ. Между пнями занялась трава, до которой не касалась въ нынѣшное лѣто коса, потому-что трава, общипанная въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, была довольно густа въ тѣни. Вправѣ, поляна выгнулась и, какъ казалось, опускалась внизъ; даже можно было различить вдали жолтую песчаную окрайну, и наконецъ, заподозрить существованіе оврага или русла протекавшей тутъ рѣчки.

Пастухъ *).

На полянѣ паслась скотина: въ нѣкоторыхъ мѣстахъ лежали коровы, подобравъ подъ себя переднія ноги, и, тупо вперивъ свой взоръ куда-то вдаль, пережевывали жвачку. Изъ-за куста прыгнулъ козелъ и погнался за трусихой-овцой, нырнувшей въ ближной кустарникъ. Свинья хрюкала въ лужѣ, вымытой вчерашнымъ дождемъ; стреноженная лошадь зазвѣнѣла бубенцомъ, привязаннымъ къ шеѣ и сдѣлала нѣсколько скачковъ впередъ. Другая лошадь, безъ видимой причины, брыкнула задомъ и фырк-

---

*) Въ нашихъ мѣстахъ спеціальныхъ пастуховъ не существуетъ вовсе: скотина пасется на Божьей волѣ и Господнемъ просторѣ сама, по себѣ. Лѣсовъ еще такъ изобильно—много, что сдѣлать загороди рѣшительно ничего не стоитъ, а потому загороди кругомъ пахоты и огородовъ тянутся на цѣлыя десятки верстъ и ежегодно ремонтируются. Къ тому же, въ угодьяхъ такой просторъ, что вовсе не трудно отводить подъ выгоны мѣста подальше отъ полей и луговъ, а выгоняя скотину на паръ, все-таки помѣщаютъ ее въ огороженныхъ пространствахъ. Если случается такой грѣхъ, что блудливая скотина проберется въ оржаное или яровое поле, тогда оповѣщаютъ хозяевъ, и дешовомъ способомъ, палками и на лошадяхъ, при помощи мальчишекъ, выгоняютъ скотину, а на пробитое ею мѣсто, тотчасъ же кладутъ заплату. Самыхъ непокорныхъ блудливыхъ животовъ сами хозяева знаютъ, и сами же спѣшатъ употребить противъ ихъ злаго нрава домашнія первобытныя средства, на тотъ случай, чтобы злой человѣкъ или завѣдомой врагъ не «засталъ» скотины, т. е. не заперъ бы ее въ свой хлѣвъ и не потребовалъ бы за это

нула. Изъ лѣсу слѣва вышла цѣлая семья свиней, въ которой на старшихъ надѣты были треугольныя вилашки. На встрѣчу имъ пронеслось стадо барановъ, вѣроятно напуганныхъ прежнимъ козломъ. И надъ всей этой простой картиной, пылало іюльское солнце, способное наложить на лицо густой слой загару и выжать изъ тѣла послѣднюю мочь и силу.

Время подвигалось къ полудню. Невыносимая жажда мучила меня. Оставалось спѣшить на удачу къ оврагу, гдѣ дѣйствительно сочилась рѣчонка, въ это время шумѣвшая, но пересыхающая при продолжительномъ ведрѣ, доказательствомъ чему служило множество бочаговъ, разбросанныхъ по близости. Нѣкоторые изъ нихъ осѣнялись кустами сплошной вѣтлы, иногда обгорѣлой, но большею частью красовавшейся своимъ темнозеленымъ цвѣтомъ. Передъ рѣчкой находилась довольно широкая полянка, на которой разсыпались и анютины глазки, и кашка, и кусты репейника, и стебельки отцвѣтавшаго звѣробоя.

Тишина въ оврагѣ была невозмутимая. Лишь внимательно вслушавшись въ нее, можно было различить дальное ширканье

денежнаго выкупа, или даже не отрубилъ бы хвоста. Во избѣжаніе этого лошадей обыкновенно треножатъ, т. е. связываютъ путами двѣ переднія или обѣ заднія ноги; (на шею) свиней, навязываютъ вилашки—треугольникъ, чтобы они не могли пролѣзать въ промежутки между изгородью; на коровьи рога, которыми скотина ухитряется иногда поднимать задвижки въ воротахъ, привязываютъ лукошки, и т. под. Послѣдующій случай, какъ исключеніе, какъ явленіе поразительное и рѣдкостное осталось въ воспоминаніяхъ, почерпнутыхъ во времена уже отжившаго свой вѣкъ крѣпостнаго права. Сдача въ пастухи, на позорное до смерти въ тѣхъ мѣстахъ занятіе, составляло тогда одно изъ часто-практиковавшихся тяжкихъ помѣщичьихъ наказаній. Собственно, пастухи въ Костромской губерніи появляются лишь тамъ, гдѣ истреблены лѣса, смѣнившіеся обработанными землями, къ тому же сильно перепутанными черезполосицею и перекрестнымъ владѣніемъ. Заиграй пастухъ въ Парфентьевѣ, весь посадъ сбѣжался бы—слушать, дразнить и хохотать.

косцовъ, точившихъ свои косы лопаткой съ пескомъ. Издали пронеслось протяжное звонкое „ау“, какихъ-нибудь грибовниковъ, отыскивающихъ другъ друга. Это-же „ау“, повторилось въ другомъ концѣ лѣса, и замерло, и опять наступила прежняя тишина. Но при перемѣнѣ мѣста слышалось только журчаніе воды, стекавшей внизъ и пробивавшейся между спопутными кучками камней, да съ горы пронеслось непріятное и страшное въ лѣсу мычанье коровы.

Напившись воды, я оглянулся кругомъ и тотчасъ же замѣтилъ подлѣ края рѣчки, у широкаго бочага, подъ густымъ кустомъ вѣтлы, распростертую фигуру въ синей рубахѣ. Фигура эта, сколько я могъ разглядѣть, при дальнѣйшомъ приближеніи къ ней, принадлежала парню, широкому въ плечахъ, обернувшемуся ко мнѣ спиной и угрюмо смотрѣвшему въ небо. Подлѣ него лежала длинная плеть и валялась мохнатая собачонка, вѣроятно покоившаяся глубокимъ сномъ, потому-что не слыхала моего прихода. Не слыхалъ его и парень, который, опершись на руки, все смотрѣлъ въ небо, и тоже, можетъ быть, спалъ или находился въ полузабытьѣ и дремотѣ.

Невольно подчинившись его примѣру, я совсѣмъ безсознательно взглянулъ также на небо и услышалъ дальній, едва слышный, крикъ журавлей, которые чорной вереницей тянулись тамъ. Писклывый крикъ пролетавшей птицы становился все слышнѣе и слышнѣе. Журавли, какъ кажется, хотѣли спускаться, потому-что уже можно было различить отдѣльныя фигуры и ихъ длинные носы. По всѣмъ примѣтамъ, это были журавли, дѣйствительно, а не дикіе гуси; они, въ разладъ другъ съ другомъ, продолжали гоготать и опускаться.

Парень, какъ казалось, слѣдившій за ними, мгновенно встрѣпенулся, отнялъ руку отъ головы и обернулся ко мнѣ въ то время, когда я уже стоялъ подлѣ его.

— Жаль—ружья не прихватилъ съ собой! заговорилъ онъ, какъ будто нехотя, но, тѣмъ не менѣе, смѣло и прямо обратившись ко мнѣ: а то бы ссадилъ одного,—вотъ, ей Богу, бы одного ссадилъ!

— Развѣ ты такъ хорошо стрѣляешь? спросилъ я безсознательно, поощряемый тою словоохотливостью и довѣріемъ, которыми онъ поразилъ меня съ перваго раза.

— Да ужъ безинскому Петрухѣ за мной не угнаться. Для меня этихъ дикихъ-то утокъ что ни-есть проще сшибить, — съ разу заныряетъ, а то что жирафъ? такъ только... долгоногая птица. А подстрѣлилъ ее и начнетъ ковылять на кривыхъ-то ходуляхъ. Знаешь что?..

— Да ты изъ какихъ? спросилъ онъ, быстро измѣнивъ тонъ и пристально уставившись прямо на меня,

Я сказалъ.

— Такъ ты что же тутъ, грибы, что-ли, сбираешь,—можетъ заблудился, коли такъ далеко зашолъ? Вѣдь ваши-то мѣста отсюдова, почитай...

Парень замолчалъ, какъ-бы высчитывая версты, и не мало поразилъ меня, сказавъ, что до нашего посаду отъ Вертиловки, до которой наберется гонъ тридцать, считается двѣнадцать верстъ.

— А ты самъ изъ Вертилова, должно быть?

— Вѣстимо, изъ Вертилова: тамъ наши господа живутъ, а я при скотномъ дворѣ у нихъ, въ пастухахъ. Вотъ они теперь стаей, стало быть летятъ, да не сядутъ; вожакъ-отъ опять поднимается: знать насъ съ тобой завидѣлъ—разсуждалъ мой пастухъ, продолжая смотрѣть вверхъ и слѣдя взоромъ за журавлями, которые, картинно развернувши дугой свою вереницу, потянулись дальше и выше.

Журавлиный крикъ дѣлался едва слышенъ, а вскорѣ и совсѣмъ заглохъ въ этомъ душномъ воздухѣ, который тяжолымъ

вымъ гнетомъ нависъ надо всѣмъ окружающимъ. Вдругъ,
; ни взялся, новый подобный же крикъ—и передъ глазами
ѣла новая птица, но уже одна только—жалобно и скоро
ышая въ слѣдъ за стаей.

ıстухъ мой продолжалъ смотрѣть въ небо и разсуждать въ
слѣдя за полетомъ послѣдняго журавля:

- Отъ стаи отсталъ!... не примѣнился! должно быть, вы-
ъ весенній. Этихъ лихо стрѣлять: сейчасъ закружатся. П о-
етъ, попрыгаетъ да и ляжетъ. Тутъ его ты и бери. Только
сь: притворяются часто, и какъ разъ носомъ глазъ выхва-
Разъ эдакъ-то и меня было, какъ господскимъ дѣтямъ
ъ, на потѣху, въ гостинецъ живымъ поймать... Постой-ко
, никакъ сядетъ!...

ıстухъ вскочилъ на ноги, схватилъ свою плеть, толкнулъ
гомъ ногой своего мохнатаго жучку, и опять присѣлъ, ког-
ака залилась звонкимъ лаемъ и кинулась въ гору.

- Напужали! проговорилъ онъ съ сожалѣніемъ, усаживаясь
ромъ мѣстѣ.

- Отдыхаютъ они опасливо, словно бы и люди, заговорилъ
ова, послѣ непродолжительнаго молчанія.

— У нихъ въ артелѣ завсегда есть сторожъ чередной. Коли
рикурнутъ: стоитъ онъ на одной ногѣ и другую перемѣ-
и не спитъ, а зачуялъ что, да завопилъ по-своему, такъ
переполошутся. Разбѣгутся эдакъ на ходуляхъ-то своихъ
гамъ, да и кверху. Тутъ въ нихъ стрѣляй знай, — не
снешься...

ъ опять замолчалъ; а я, утомленный до нельзя, располо-
тутъ же, рядомъ съ нимъ, въ надеждѣ отдохнуть послѣ
ходьбы, и вполнѣ увѣренный, что мой товарищъ, давно
ъ оба лукошка грибовъ и, безполезно проискавъ меня по
сидитъ-себѣ дома.

Мнѣ оставалось еще одно: отплатить за вниманіе вниманіемъ, поддержать разговоръ, и потому я спросилъ парня о тѣхъ удобствахъ, которыя представляетъ лѣнивая жизнь и спокойная обязанность пастуха.

— Ничего, говорилъ мнѣ,—ничего, коли снаровку знаешь, да попримѣнился. Корова во всемъ стадѣ всѣхъ спокойнѣе. Ей куда велишь—тула и пошла, а то лежитъ въ тѣни, никого не замаетъ, и всегда, помни, на старое мѣсто ложится. Напиться захотѣла—къ рѣкѣ пошла. Ну, и овца... тоже смирна, только не пужай, не наскакивай съ плетью. Вонъ и къ жучкѣ попривыкли. Только два козла блудливы очень, у,—какъ блудливы!

Парень при этомъ прищурилъ глаза и помоталъ головой: (одинъ-то козелъ и мнѣ памятенъ).

— А все кучера избаловали, да ребятинки господскіе особо вотъ того — чорнаго-то. Зато свинья что ни на есть хуже всѣхъ: это, какъ сказано, свинья, такъ она и есть свинья полосатая.

На выраженныя сомнѣнія я получилъ такой отвѣтъ:

— Теперь начать съ того, что свинья во всякую воду безъ разбору лѣзетъ, и лежитъ она въ этой водѣ,—только покрякиваетъ. А подыми ее, попробуй: да хоть сто палокъ обломай—ни за что не поворотишь. Того гляди, еще злость ее возьметъ, проклятую: такъ и уноси Богъ ноги. Слыхалъ, чай, какъ онѣ съ волкомъ дерутся?

Получивъ отвѣтъ отрицательный, говорунъ мой продолжалъ разговоръ, растянувшись на спинѣ и по прежнему посматривая въ небо:

— Я это самъ видалъ, да и отъ другихъ слыхивалъ, что коли волкъ напалъ на свиное стадо,—такъ ни одной не поживится—не дадутъ. Вотъ какъ бываетъ, и дѣло это самое...

При этомъ разскащикъ повернулся на бокъ и оперся на оба локтя. Волоса его свѣсились на лицо и вся фигура, при зани-

ости предстоящаго разсказа, представляла что-то особенно
ое и привлекательное. Свѣжее, хотя и загорѣлое лицо,
волоса, на вискахъ вьющіеся колечками; красивая коро-
, но круглая бородка, наконецъ серьозный видъ и какое-
ніе важности разсказа—возбудили во мнѣ и интересъ, и
вниманіе. Я уже окончательно забылъ и грибы свои, и
Михѣевича: мнѣ хотѣлось слушать и распрашивать своего
знакомца, говорить и сидѣть съ нимъ даже до-тѣхъ-поръ,
возьметъ верхъ истома, и я наклонюсь къ травѣ и засну.
Вотъ какъ бываетъ и дѣло это самое,—говорилъ онъ.
ъ когда волкъ поросенка, что-ли, какого въ стадѣ, да
алъ этотъ поросенокъ, то будь свиньи хоть за двои гонъ,—
тъ къ волку. Они ни на рѣки, ни на озера попутныя
отрятъ. Отобьютъ своего дѣтища, да и встанутъ кучей:
ъ собьютъ въ середку, задами, да спинами своими вмѣстѣ
ы, и попробуй волкъ:—вырви поросенка! Ужъ и ходитъ-же
одешной, долго ходитъ и съ боку-то, слышь, забѣжитъ и
кинется; а все, глядишь, назадъ бѣжитъ, да хвостомъ
. Артель все вплотную стоитъ и на него напираетъ: по-
вижжатъ по середкѣ, матери свою музыку ведутъ. Волкъ
скалитъ зубы, да щолкаетъ, прыгаетъ, да щолкаетъ, а въ
не посмѣетъ ударить. До того мучатъ его свиньи эти, что
кинетъ и пойдетъ къ домамъ. Вотъ тутъ-то я одного и
пулей. А крѣпко же и онъ разсерчалъ: больно дрягался,
его домой хотѣлъ стащить.

И всегда отстоятъ себя свиньи,—не дадутся ему?

Да чего не дадутся! говорилъ онъ мнѣ. Иные боровья
свирѣпѣютъ, что язъ ватаги ино-выскакиваютъ. Кликъ
тъ, слышь, да и метнется за волкомъ въ догонку; отбѣ-
наешь, немного, а себя-таки помнитъ: сейчасъ и на-
опять задомъ въ артель вотрется. А тѣ всѣ напираютъ

да визготню ведутъ; все, знаешь, подвигаются. Зато ужъ и ушолъ хоть волкъ, не скоро свиньи разойдутся изъ кучи. Тутъ имъ человѣкъ не попадайся—всего изорвутъ. Значитъ, и тебя принимаютъ за волка. Лягутъ онѣ послѣ того въ озеро, такъ ты въ трубы труби—не подымешь; паръ такъ и валитъ, хоть на ночь оставляй, ровно, слышь, въ банѣ были... Хрюкотня такая пойдетъ, что коровъ и овецъ переполошатъ, во-какъ.! заключилъ разскащикъ.

— А овца, такъ я думаю совсѣмъ беззащитна?

— Оно, пожалуй, кому какъ не овцѣ трусливѣе быть: напужалъ ты одну, такъ, глядишь, и всѣ переполошились.

— Что овца? продолжалъ онъ, какбы разсуждая съ собой:—у той и защита противъ волка одна, что на стѣну кидаться, словно угорѣлой. Вонъ, у насъ была такая притча въ подъизбицѣ—лѣтъ тому пятокъ назадъ. Туда мы, на зиму овецъ застаемъ, такъ вошли съ братомъ. Глядимъ: двухъ ярокъ загубилъ сѣрый... зарѣзалъ, словно языкомъ слизнулъ. Выходило, видишь, окно на улицу, а изба-то наша съ краю, какъ разъ, подлѣ бань, приходилась. Заколотить мы его забыли, али-бо что? Только волкъ пролѣзъ знать туда, да и зарѣзалъ... Вдругорядь, думаемъ, не надуешь: взяли мы съ братомъ, да и заколотили окошко-то планками и двери плотно приперли. Съ братомъ порѣшилъ я такъ, чтобы мнѣ сѣсть въ подполицу съ ружьемъ, да и дожидаться волка. Разъ, смѣкаемъ, приходилъ, въ другорядь захочетъ. Вотъ я сижу это въ подполицѣ, да только вздумалъ, что, молъ, придетъ понавѣдаться: а онъ какъ тутъ и легокъ на поминѣ. Взвылъ, слышь, за оврагомъ, да опять, да и еще опять взвылъ. Можетъ, думаю, товарищей подобралъ. Коли не въ троемъ идетъ, такъ вдвоемъ, можетъ быть, какъ и водится у нихъ завсегда, когда на грабежъ подымаются. Можетъ, думаю, и одинъ позарился. Сижу, вотъ, я въ подъизбицѣ, и ничего не боюсь.

ужье подлѣ, овцы въ кучу сбились; а ночь, хоть глазъ коли. ѣло это въ осеняхъ было. Взвылъ мой волкъ за оврагомъ, да замолчалъ: идетъ, думаю. Только, слышу, онъ ужъ и тутъ: росунулъ въ окошко лапу, да видитъ планками загорожено; проѣсть нельзя; грызть нужно: онъ и грызетъ... Планки-то не поаются же, однако, на зубъ-отъ даже, сколь ни востеръ: изъ дубоаго полѣна сдѣланы были, и вколочены плотно-на-плотно. Я галъ прислушиваться: такъ сталъ вижжать, пострѣлъ, больно нбко принялся за работу. Вонъ и щепки полетѣли чуть не въ лаза мнѣ, и все онъ вижжитъ, да огрызается. Пересталъ, слышу. то-то дальше будетъ? Гляжу на окно, а онъ хвостъ запустилъ ь окно-то, ко мнѣ значитъ,—да и началъ ботать изъ стороны ь сторону. Хитритъ, думаю, сѣрый, напужать хочетъ; пусть- овцы со страху въ двери кинутся, на дворъ выбѣгутъ: а я, олъ, на дворѣ и перерѣжу ихъ. Только-что овцы-то на стѣну осились, я его и угодилъ за хвостъ-отъ, да и лажу къ себѣ итянуть. Взвопилъ брата: что здѣсь-де, молъ, самъ въ руки лся.

— И притрухнулъ же мой волкъ, куды напугался—совсѣмъ натужился: такъ, братецъ, всего меня и окатилъ. Мы его послѣ добили вдвоемъ; братъ ему всю голову расколотилъ топоромъ.

— А то повадились послѣ другіе волки, собакъ сманивать со оровъ. Такъ ужъ мы тутъ просто всей деревней этихъ изъ жей били.

— Придутъ они, слышь, вдвоемъ и завсегда, помни, вдвоемъ: инъ встанетъ за угломъ, а другой идетъ къ подворотнѣ. Тоже пуститъ хвостъ, да и выманиваетъ. Собака-то побѣжитъ за мъ, онъ отъ нее, а другой волкъ изъ-за-угла выдетъ, да и кроетъ спереди и сзади: одинъ возьметъ за шиворотъ, другой хвостъ, либо ноги въ ротъ захватитъ и унесетъ въ поле. Тамъ ачала играть съ ней начнутъ, и до того, сказываютъ играютъ,

что совсѣмъ заморятъ. Поколѣлую ужъ и поѣдаютъ на послѣдяхъ, и такъ обчистятъ, что только одна голова останется, да шкура. И шкуру-то начисто обточатъ, что словно мясникъ по заказу: самъ видалъ, врать не-изъ-чего...

— Медвѣди, кажется, въ нашу сторону не заходятъ? спросилъ я, заинтересованный разсказами, хотя и не хуже его зналъ, что въ нашихъ лѣсахъ медвѣдю негдѣ водиться, развѣ притащится онъ по пути, да и уйдетъ обратно въ свое мѣсто. Въ дальной окрестности, хотя и были лѣса, но большею частью боры, со всѣхъ сторонъ окружонные жильемъ, и при томъ же не представлявшіе такихъ чащей, какія любитъ этотъ звѣрь. Пчолъ у насъ также разводятъ мало; а ставить ульи на лѣсу — и обыкновенія нѣтъ.

— Приходилъ одинъ года три тому назадъ, коли еще и не больше того, и много натворилъ бѣды: однихъ коровъ надавилъ до десятка; мужика изломалъ изъ Соснины, продолжалъ пастухъ, отвѣчая на мой вопросъ. Этотъ, сказываютъ, коли заберется въ стадо, всѣхъ переломаетъ. Чего бы, кажись, лошадь и на ходу бы легка, а не уйдетъ отъ него, коли влѣпитъ онъ ей заднюю лапу въ спину, да правой унаровитъ за дерево ухватить. Визжитъ-ино, слышишь, бѣдная; а ужъ онъ ей и брюхо тѣмъ временемъ вспоретъ...

— Этотъ, я думаю, и со свиньей справляется?

Разскащикъ улыбнулся, быстро улыбнулся на мой вопросъ, и продолжалъ:

— Много свиньѣ нужно, коли тотъ захочетъ: ухватилъ за щетину, вскинулъ кверху, да и разбилъ въ дребезги объ-земь. Съ дѣдомъ этимъ расправа плохая: съ корнями деревья рветъ, не то, что...

И разскащикъ опять усмѣхнулся въ то время, какъ на горѣ послышался шумъ, и показалось облако пыли, несущееся прямо къ

косогору. Какая-то дрожь пробѣжала по членамъ; пастухъ безсознательно ухватился за плеть, и мы уже готовы были видѣть передъ собою медвѣдя или волка.

Ожиданія наши были обмануты: въ облакѣ пыли показались фигуры овецъ, выбивавшихъ ногами частую дробь, которая глухо отзывалась, отбиваемая сухою землею. За овцами, тоже въ пыли, неслась пастухова собака, высоко вздернувъ мохнатый хвостъ. Овцы вдругъ остановились и столпились въ кучу, навостривъ уши, и какъ-бы ожидая, что сейчасъ раздастся новый крикъ или лай и онѣ опять, стремглавъ, понесутся на новое мѣсто.

Пастухъ отправился на верхъ произвесть должный распорядокъ.

Я остался внизу и слышалъ, какъ тотъ щолкнулъ нѣсколько разъ плетью, какъ снова пронеслись овцы, облаками вздымая пыль, и какъ опять сдѣлалось тихо, такъ тихо, что у меня смежились глаза, и я заснулъ. Долго-ли спалъ — не помню, но проснулся, разбужонный глупой коровой, которая разсудила фыркнуть мнѣ въ лицо, на пути своемъ къ водопою.

Пастухъ мой шолъ отъ рѣки, прямо ко мнѣ. Волоса его были мокры, съ бороды капала вода; видно было, что и самъ онъ сейчасъ изъ воды.

— Не хошь ли и ты искупаться? вотъ мой бочажокъ приговореной, — лихо можно. А и не глубокъ: только по шею; на днѣ чисто. Сучья повытаскалъ самъ; одни камни остались. — Тутъ, коли хошь, и поглубже есть одинъ, да вода не проточная; волосатиковъ, поди, много. Вопьется, сказываютъ, въ ногу, никоими силами не выживешь, развѣ отрывать начнешь. А кости, слышь, скулятъ отъ него — и мѣста не найдешь. Все отъ конскаго волосу, говорили, нарождается. А шевелится, словно-бы и пьявица какая!

Такимъ разсужденіемъ сопровождалъ онъ меня на пути къ

бочагу, надъ которымъ нависли цѣлыя кусты ветлы и откуда неслась особенно заманчивая прохлада.

Помѣстившись, черезъ часъ, подъ тѣмъ-же кустомъ, подъ которымъ и прежде сидѣли, мы молчали нѣкоторое время, пока пастухъ мой ласкалъ свою собачонку.

Въ это время, на противоположномъ краю оврага изъ желтѣвшейся ржи выставилась бѣлая фигура дѣвушки лѣтъ пятнадцати, у которой въ рукахъ было что-то тяжолое, завернутое въ тряпицу и завязанное. Дѣвушка подходила уже къ намъ, но, завидѣвъ незнакомое лицо, остановилась на минуту и потупилась. Пастухъ махнулъ рукой и, обращаясь ко мнѣ, проговорилъ:

— Племянница!... старшаго брата дочка, сиротой осталась. Ульяной зовутъ...

— Иди сюда скорѣе, не тронутъ: обѣдъ что-ли принесла? спросилъ онъ дѣвушку, когда та, все еще не поднимая глазъ, остановилась передъ нами, На ней надѣта была длинная рубаха, коса заплетена и висѣла вдоль спины. Видно было, что она была все утро на покосѣ; загорѣлое лицо подсказывало о томъ же.

Робко зазвучалъ ея голосокъ; дѣвушка говорила:

— Сегодня, дядинька, только одни щи варили, да вотъ молока прислала баушка. Крынку велѣла назадъ принести, когда опростаешь...

— А на-ка вотъ тебѣ гостинку, Уля: давѣ смастерилъ на бездѣльи; на—вотъ!... годится ходить по ягоды.

Дядя отдалъ дѣвушкѣ красивенькую плетенку, свитую изъ ивяныхъ прутьевъ, съ крышечкой, плотно придѣланной съ одного боку.

— Крышку-то я сниму, дядя! проговорила дѣвушка: а то мѣшать только будетъ.

— Какъ знаешь сама, твое дѣло. Да, вонъ, прихвати и бра-

тенку своему, Матюшкѣ, дудку. Только-бы рукой не хватался за дирочку эту, да языкомъ прихватывалъ, во-какъ!...

Пастухъ громко высвисталъ свою, извѣстную всѣмъ, пѣсню; посадимъ дѣвушку подлѣ себя и погладилъ по головѣ.

— Изо всей семьи, что ни на есть лучше, продолжалъ онъ, обращаясь ко мнѣ. И куды ласкова! Самъ, почитай, одинъ выняньчилъ, за то и люблю пуще всѣхъ ее вотъ, да Матюшку — младшаго ея братишку. Я ей и жениха стану отыскивать... самъ. Хошь, жениха, Уля?

— Рано еще, дядя! Баушка говоритъ: еще два года нужно погодить. Тогда ужъ, говоритъ.

Дѣвушка, взглянула на меня, покраснѣла, и еще больше потупилась. Это, какъ казалось, понравилось дядѣ, потому-что онъ, погладивъ ее по головѣ, крѣпко поцѣловалъ въ темя и принялся за обѣдъ, пригласивъ и меня — не погнушаться, отвѣдать хлѣба-соли:

— Самъ-то ты развѣ не женатъ? А вѣдь пора-бы, кажется!... спросилъ я его, по уходѣ дѣвушки.

Парень крѣпко задумался, и заговорилъ про себя, тяжело вздохнувъ, и какъ-бы желая умѣрить свою болтливость и излишнюю откровенность.

— Бабы говорятъ: скоро третій годъ на второй десятокъ пойдетъ: какъ-бы, кажись, не пора? Ужъ и такъ семья серчаетъ. Ты говорятъ, въ тяглѣ лишной. Вонъ, говорятъ, у брата ужъ дѣти большія, а ты совсѣмъ бобыль, какъ перстъ одинокой. Вѣстимо бобыль—сами знаемъ, хоть и отецъ и мать живы, и братъ родной... Ну, да что братъ? одинъ братъ былъ, да и тотъ сплылъ, —хоть и двоюроднымъ онъ мнѣ доводился. Ну, чтожъ-что не женатъ? хотѣлъ было, сами знаете, да вишь пень словно какой подвернулся, и не сталось по моему. Одну дѣвку три брата разомъ полюбили и не сказывали. А у ней, только къ Петрухѣ

одному и лежало сердце. Меня, вишь, она за брата почитала сама сказывала. И померла... ну и, Господь съ ней!... ладно она это сдѣлала.

Всю эту рѣчь пастухъ говорилъ едва слышно, опустивши голову и перевивая плеть на коротенькомъ кнутовищѣ. Какъ будто ему совѣстно было поднять голову и своимъ бойкимъ, умнымъ взглядомъ окинуть любопытнаго распросчика. Долго онъ сидѣлъ въ такомъ положеніи, по временамъ покачивая головой и передергивая плечами.

— Да ты, поди, знаешь, Петруху-то нашего? спросилъ онъ быстро приподнявъ голову и взглянувъ на меня. Онъ у васъ тутъ частенько бывалъ въ посадѣ съ проѣзжащими: отецъ мой лѣтъ пятокъ тому назадъ, держалъ извозъ, а Петрованъ-отъ и ѣздилъ ямщиной. Три лошади держали... Красивой такой парень былъ, лицо краснощокое еще такое,—чай знаешь?

Получивъ отрицательный отвѣтъ, пастухъ опять спустилъ голову и задумался.

— Что-же онъ—братъ тебѣ былъ?

— Братъ-то братъ былъ, да не родной. Послѣ покойнаго дяди отецъ въ нашу семью привелъ, съ тѣхъ вотъ поръ и сталъ онъ словно родной, особо мнѣ-то... Братъ Васюха не взлюбилъ его и сомустилъ у насъ всѣхъ; только одинъ я не послушалъ...

— За что-же?

— Да, вишь, дѣвка у насъ Матрена была, и славная дѣвка, голосистая, гладкая, смиренница такая, что слова даромъ не промолвитъ. И полюбились они съ Петрованомъ-то; любятся, и никому не сказываютъ. Только меня одного и ласкаетъ дѣвка, братомъ называетъ, а все, должно быть, Петруха нахвалилъ. Ласкаетъ это она меня и гостинцовъ носитъ: то черники сушоной, то каленыхъ орѣховъ; не сказывай только, говоритъ, брату сво-

ему Василью. "Что мнѣ сказывать? — говорю, вѣдь и Петруха тоже братъ!„

— Такъ вотъ и любились они цѣлое лѣто и осень. Слышу: наши бабы объ этомъ провѣдали, стали толковать: что никакъ-де Петръ Матрену за себя засватать хочетъ, — ожениться надумалъ. Я къ нимъ. "Да!„ говорятъ, "только, слышь, филиповки пройдутъ, да святки, и пойдетъ къ дядѣ съ поклономъ.„ Какъ услышалъ я это, такъ у меня у сердца словно оторвалось что, — такъ и ошибло. И не то, чтобъ я любилъ ее, что-ли, а все-же, думаю, гостинцами кормитъ, братомъ зоветъ; цалуемся иную пору... Промолчалъ я однако, ни кому про то не сказалъ: ни отцу, ни невѣсткѣ, ни брату, никому въ семьѣ.

— Подошли у насъ на ту пору супрядки осенніе; стали свадьбы налаживаться. Слышу: братъ Василій ребятъ сомущаетъ: „побьемъ, да побьемъ Петруху,—я за все отвѣчаю, не бойтесь. Пусть-де, слышь, къ моей суженой не суется!..." Я опять промолчалъ. Да слышу Васюха все одно да одно гвоздитъ ребятамъ нашимъ. Тѣ уже и сговорились съ нимъ; и мѣсто въ баняхъ намѣтили. Я и скажи Петрухѣ-то: "ладно, говоритъ, нишни до время!„ А тамъ возьми, да и подошли ко мнѣ Матрену съ пряниками, да поцалуями, — „приходи, говоритъ, тогда за бани, да и дожидайся меня за нашимъ овиномъ!„ Пришолъ я туды, а ему на ту пору изъ Соснина привелось идти, пошевни у земскаго ходилъ просить. Вижу: выскочилъ братъ Василій, да и сгребъ его; откуда ни возьмись и наши ребята. Не олухъ же былъ и Петруха: за нимъ чуть ли не всѣ сосниніскіе пришли. Начали драться. Слышу: вопитъ братъ Васюха: „не стану, говоритъ, другу-недругу закажу; не трону твоей Матрешки... любитесь вволю!... отстань только, не души!..." Стою я такъ за овиномъ, къ углу припалъ, ни живъ, ни мертвъ. Слышу: Петруха меня кличетъ. Да я не пошолъ — побоялся... или такъ что-то...

— А соснинскіе ребята нашихъ лихо вздули! Да и брату Василью досталось: синяки по всему лицу были. Отцу сказалъ, что на супрядкахъ съ полатей упалъ. Такъ и прошло!.

Разскащикъ улыбнулся и, какъ казалось, припоминалъ всю смѣшную обстановку давнишной свалки. По всему было видно, что радовался онъ за своего двоюроднаго брата-побѣдителя, держалъ его сторону.

— Что же дальше было? спросилъ я его.

— А ужъ дальше-то больно плохо было...

И онъ глубоко вздохнулъ.

— Васюха братъ началъ бабъ подмывать, а тѣ съ дуру отца сомустили, а какъ пришолъ Петрованъ-отъ къ отцу, началъ говорить: что вотъ-де невѣсту нашолъ, благослови!...

— "Чѣмъ, говоритъ, благословлю: откуда деньги? Братъ вотъ только шубенку оставилъ, да буренку яловую. Эта дѣвка, и Василью, либо Ванюшкѣ годится. Мнѣ, говоритъ отецъ-отъ нашъ, хозяйка къ дому нужна, а ты сегодня здѣсь, а утрѣ и съ собаками тебя не сыщешь. Любись съ другой какой, а эта не по твоему рылу. Слышишь, говоритъ: завтра въ городъ ступай, сѣдоковъ присматривай, да и въ дорогу. О себѣ оставь думать: самъ завтра сватать иду, а тебѣ не видать ее, какъ своего уха.„

— "Тѣмъ было и порѣшилъ отецъ, да уперлась сама дѣвка. Больно, вишь, любила Петруху: ни за меня, ни за брата не хотѣла идти. Господь, думаю, съ ней! ничѣмъ я ее не обидѣлъ! Пускай, гнушается!.. Пришолъ я только къ отцу, да сказалъ ему, что я, молъ, чужому счастью не завистникъ; не нужно мнѣ Матрены, не стану заѣдать ея вѣкъ дѣвичій. И не сватай, говорю, лучше". Отецъ посмотрѣлъ эдакъ на меня, обругалъ, да изъ избы выгналъ. Послѣ не говорилъ онъ со мной недѣлю мѣста, словомъ не приголубилъ...„

— Что же сталось съ Матреной? спросилъ я опять призамолкшаго разскащика.

— Что съ Матреной? знамо неповадная была дѣвка, какъ уперлась на свое, такъ съ тѣмъ и отъѣхали всѣ. Нейду, говоритъ, да и все! Либо Петруху, слышь, либо никого. Тутъ какъ на зло лихоманка за ней увязалась и начала ее ломать, да сушить. "Ступай, говорятъ, въ баню: скорѣй пройдетъ!..„ Нѣтъ и такъ, слышь, пройдетъ!—И на улицу вышла. Тутъ съ Петрухой встрѣнулась и тотъ ее сталъ уговаривать. Плачетъ только Матрена; а никого не слушаетъ, и въ баню нейдетъ. Кореньевъ какихъ-то напарили ей въ горшкѣ и тѣхъ въ ротъ не брала: "съ души, говоритъ, тянетъ!.. горько больно, лучше такъ перемогусь!„ Перемогусь, перемогусь, да на томъ и сѣла; свалило ее на печь, да и начало гнуть. Кричитъ, бывало, на всю избу, и никого не подпускаетъ! "Укушу! говоритъ, не замайте... Укусила бы, говоритъ, Василья Корепина!„ И брата Петруху вспомянетъ, меня закричитъ, да и зареветъ. Начнетъ это причитывать словно по покойникѣ. Эдакъ-то ровно трое сутокъ мы въ перемѣнку съ Петрухой просидѣли у ней. А на четвертые отецъ Петруху услалъ въ городъ, а меня засадилъ въ избу. — "Полно, говоритъ, съ бабами возжаться, шалапай ты эдакой! Твое ли это дѣло; посмотри ты на себя!..„

„Слышу по утру: пришла наша невѣстка, да и говоритъ, что Матрена-то послѣ третьихъ пѣтуховъ побывшились; поминала Петруху да меня, опять на брата Василья грозилась. Отецъ пожалѣлъ: "первая, слышь, дѣвка такъ помирала; никто себѣ ворогомъ, говорилъ, не бываетъ!„ Самъ оболокся, мнѣ велѣлъ и брату и повелъ насъ за собой. Смотримъ: обмыта лежитъ, лица и не знать стало, все изкалѣчило.

„На другой денъ Петрованъ вернулся изъ дороги, да и взвылъ, какъ узналъ о Матренѣ, больно же взвылъ!...

У разскащика навернулись слезы. Вѣроятно желая поправиться, онъ толкнулъ своего жучку ногой, поднялся съ земли и отвернулся на вѣтеръ, который начало наносить прямо на насъ.

Неловко было просить его продолжать интересный разговоръ и я счолъ за лучшее, давъ ему успокоитсься, привести къ тому окольнымъ путемъ. Лучше всего, подумалъ я, спросить его о томъ, какимъ образомъ попалъ онъ въ пастухи. Мнѣ казалось, что и это обстоятельство имѣло нѣкоторую связь съ предъидущимъ.

Какъ бы не вслушавшись въ мой вопросъ, и увлеченный своимъ разсказомъ, онъ продолжалъ его какимъ-то вялымъ, нѣсколько дрожащимъ голосомъ, изъ чего однако можно было заключить, что онъ все-таки разсказывалъ охотно, безъ всякаго принужденія съ своей стороны.

— Въ осеняхъ это было, о чемъ разсказывать стану; — только что заморозки пошли у насъ. Послѣ Матрениной-то смерти ровнехонько бы черезъ годъ. Сидимъ мы эдакъ въ избѣ, отецъ съ бабами на овинѣ рожь домолачивалъ. Васюха шлею конопатилъ, а Петра не было дома, опять въ извозъ услали. Я у свѣтца съ Матюшкой—племянникомъ самострѣлы изъ лучины дѣлалъ. Вотъ и сидимъ мы эдакъ одни-одинехоньки. Ваушка на печи храпитъ. Васюха братъ, какъ теперь знать да помнить, пѣсню на ту пору мурлыкалъ; а Матюшка махонькой нѣтъ-нѣтъ да и загогочетъ: любо, вишь, что лучинка-то изъ рукъ прыгаетъ. Я ему, знаешь, опять самострѣлъ въ руки далъ и опять лучинку вложилъ, да и поджогъ съ праваго-то конца. Только бы лучинѣ-то этой загорѣться, а Васюха пересталъ пѣсни, да и окликнулъ.

— Никакъ, знать, тотъ-отъ.... одмѣнъ-отъ нашъ вернулся: слышь, воротами заскрипѣлъ!..

И опять замурлыкалъ пѣсню, и дратву зубомъ ухватилъ.

— Что-жъ, думаю, пусть его! — да и опят новый самострѣлъ Матюшкѣ сдѣлалъ.

„Заливается мой парнишко такъ, что и мнѣ ино-любо стало. Тѣмъ временемъ и Петруха въ двери.

„Гляжу: лица на немъ нѣтъ, весь блѣдный; совсѣмъ пьянъ,— шатается.

— Гдѣ, говоритъ, дядя? И глазами своими масляными вскинулъ на меня.

— На овинѣ, говорю;—рожь домолачиваетъ...

— То-то, слышь, рожь домолачиваетъ, чтобъ опосля, говоритъ, мнѣ кускомъ своимъ оржанымъ въ глаза корить... знаю, говоритъ...

„Снялъ эдакъ Петруха шубу и сѣлъ за столъ, схватилъ шапку съ головы, да и кинулъ супротивъ себя.

— Вотъ тепереча, говоритъ, ѣсть хочу, больно ѣсть хочу; груздей бы соленыхъ поѣлъ съ квасомъ. Да нѣтъ, слышь, не хочу я ѣсть, ни за что не стану... Чебоксарскій купецъ десять рублевъ сулилъ помѣсячно... и одежа его, и съ одного съ нимъ стола харчи идутъ...

„Петруха, смотрю, и голову опустилъ на грудь, такъ-что и бороды его курчавой не стало знать. Уперъ онъ эдакъ руки-то въ колѣна и голову опять вздынулъ. Встряхнулъ волосами, да и замолчалъ..

— Пусть, думаю, покуражится маленькое..

— Вотъ, говоритъ, братьевъ у меня двое... то бишь, одинъ, говоритъ, братъ— Ванюха.

И рукой на меня показалъ.

— Что, думаю, дальше скажетъ?

— Вмѣстѣ, говоритъ, пьемъ, вмѣстѣ по посѣдкамъ ходимъ... Люблю, говоритъ, Ванюху... А тутъ тебя, слышь, корятъ ни зря—ни походя, день-то деньожой... И бабы мусолятъ, да и дя-

дя: „лядъ, говоритъ, съ тобой, коли пьешь!“ А нѣшто на твои пью?.. Господа проѣзжающіе даютъ на водку — такъ и пью... Попросилъ на армякъ: у тебя старый, слышь, хорошъ, кушакъ дай — Васюхѣ годится. Вотъ жисть-то она!.. вотъ!.. не давайте, слышь, бабы, новыхъ рубахъ ему, въ старыхъ нащеголяется, а эти и Василью годятся.

„Петруха, помню, опять головой тряхнулъ и прошолъ по избѣ.

— Дай, говоритъ, Ваня обухъ!.. дай топоръ!.. Дядю, слышь, подай!..

„Тутъ ужъ я подошолъ къ нему прямо, да и ухватился за руки; вижу — совсѣмъ его дурость какая-то одолѣла.

— Отстань, говорю, не ругайся!

— Ваня, слышь, не бранись, не сердись на меня!.. хоть ты-то!..

„Да такъ, помню, болѣзно молвилъ онъ это, что у меня и руки опустились и кровь на сердце кинулась. Матюшка племянникъ реветъ. и самострѣлъ кинулъ.

— Тебя, говоритъ, что ни на есть люблю пуще всѣхъ. Не замай меня!...

Я опять ухватился за руки.

— Ваня, молъ, оставь дурости!.. не ругайся!..

— Гдѣ, слышь, дядя? гудетъ мой парень, словно вонъ быкъ на паствѣ. Дядю, говоритъ, позови! Уйду, да и не приду больше, а дядю позови! Отдамъ ему вотъ эти десять рублевъ, да и все тутъ: пусть не коритъ!..

Десять рублевъ, помню, изъ-за голенища вытащилъ Петруха, да и кинулъ на столъ.

Взялъ я эти деньги, засунулъ на тябло и опять уцѣпился за Петруху.

— Уйму, думаю, его пока до время, а отецъ придетъ на ту притчу, ничего не выдетъ путнаго. Не ломайся, говорю,

Ваня! отставь эти дурости свои. Коли зла хочешь, на вотъ: бей меня!.. бей!...

На ту пору и рожу ему подставилъ и руки навелъ.

— Нѣтъ, слышь, не трону тебя, Ваня!.. а оттого, что люблю, пуще всѣхъ люблю... во-какъ!..

И обнялъ онъ меня, шибко обнялъ: нали — крякнулъ. Да опять за свое:

— Дядя, говоритъ, гдѣ, гдѣ онъ?

— Въ овинѣ, говорю, послѣдніе суслоны обмолачиваютъ, что отъ вечорошныхъ остались.

— Туды, кричитъ, пойду!.. туды..

„А самъ ногами брыкаетъ, словно баранъ шальной. Братъ Василій сидитъ въ углу по-давешному и все ухмыляется, да бороду обгрызаетъ... все ухмыляется...

Я ухватился за Петруху, оттолкнулъ его отъ дверей; на полъ свалилъ, да и сѣлъ на грудь:

— Оставь! кричитъ: тебя не трону!.. Вотъ тебѣ Христосъ, не трону!.. Васюху, слышь, только дай, да дядю, да невѣстокъ дай!..

А на эту-то притчу, какъ на зло, и отецъ въ двери, да прямо къ Петрухѣ и лѣзетъ въ глаза:

— Что, говоритъ, опять нализался? Опять, поди, на водку дали?

Петруха мой вскинулся съ полу, да и всталъ, эдакъ, къ печкѣ; руки заложилъ назадъ, потупился.

Отецъ смотритъ на него во всѣ глаза, и ровно бы шибко сердится.

— Нализался, кричитъ. На водку дали? Обрадовался даровщинѣ, и все пропилъ: съ горя, поди, дядя обираетъ?..

— Да! говоритъ Петруха и качается. Пропилъ!.. все пропилъ!.. вонъ только десять рублевъ осталось, а двѣнадцать дали: все-все пропилъ!..

И глаза прищурилъ и опять головой встряхнулъ. Гляжу: облизнулся, руками замахалъ.

— Эхъ, думаю, пьянъ ты, Петруха... Лучше бы было, кабы не грубилъ отцу.

А онъ тутъ тебѣ опять, словно на зло, рожонъ вострой въ горло.

— Купецъ проѣзжающій въ работники нанялъ: десять рублевъ задатку далъ... Пѣсни, вишь, ему мои, да приговоры понравились. Что-жъ? я пойду. Самъ свой разумъ теперь имѣю, никого не хочу знать. Самъ себѣ голова!.. Только, говоритъ, одного Ваню жаль, а то ничего!..

И опять на меня рукой показалъ.

Я на-ту-пору на отца глаза вснул, вскижу покраснѣлъ старикъ словно макъ рдяный, да какъ крикнетъ, да топнетъ:

— Вонъ! — кричитъ, на печь!.. на полати!.. подъ лавку!.. спать, кричитъ. Пьяный, чихирникъ! У братьевъ невѣстъ отбивать надумалъ, дармоѣдъ эдакой!.. Деньги прогонныя все лѣто прогуливалъ; съ цѣловальниками подорожными спознался. Матрешку заморилъ, Ванюшку сомущаешь; меня обижать сталъ...

И началъ эдакъ усчитывать и вины начситывалъ много, и, помню, некрутчинной прогрозилъ:

— Какъ пьянъ, такъ и атаманъ, а проспится — свиньи боится!

— Вяжи его, дуры-бабы, да и спать укладывай!... Крѣпче вяжи, вотъ такъ. Бери, Васька, веревку, да крути руки назадъ: крѣпче, кричитъ, крѣпче!..

— А ты, болванъ, что ротъ разинулъ, что не подсобляешь? держи ему ноги! что онъ дрягается?... ты!... Ванюшка!...

Да какъ ляпнетъ меня, ни съ того ни съ сего. Тутъ ужъ и совсѣмъ у меня опустились руки и свѣта Божьяго не видалъ я. Лежу, и земли не чую. Помню только, въ избѣ темно; зыбка скры-

пить; отецъ на печи храпитъ. Петруха на полатяхъ храпитъ; бабы за переборкой... Такъ я и не спалъ до утра."

Разскащикъ мой замолчалъ и съ трудомъ перевелъ духъ, какъ-бы утомленный наплывомъ тяжолыхъ воспоминаній и текучестью оживленныхъ подробностей событія. Солнце клонилось къ закату. Отъ рѣки понеслась продолжительная прохлада, столь рѣдкая, и слѣдовательно драгоцѣнная въ жаркіе іюльскіе дни. Мимо насъ проплелась на водопой корова и проскакала стреноженная лошадь съ жеребенкомъ. Окрестность была по-прежнему тиха, но эта тишина сдѣлалась еще пріятнѣе и привлекательнѣе. Въ это же время молчалъ мой собесѣдникъ.

Едва-едва собрался онъ съ духомъ, и только на мой вызовъ рѣшился разсказать остальное:

— Такъ-то вотъ и сталось! заговорилъ онъ съ тяжолымъ вздохомъ: что Петруха отъ насъ ушолъ къ купцу въ Чебоксары, да въ два лѣта хошь бы одну грамотку прислалъ о себѣ. Только мнѣ раза никакъ два наказывалъ поклонъ съ ходебщиками.

Сказывали тѣ, что Петруха тамъ у купца товары возитъ по ярмаркамъ; три, слышь, лошади на рукахъ имѣетъ. Звалъ, было, меня къ себѣ, да отецъ не пустилъ:

— Я тебѣ, говоритъ, послѣднія звенья въ костяхъ вышибу! Съ чихирникомъ непутнымъ спознался, — самъ такимъ сталъ... Собирайсь! говоритъ.

Оболокся я. Изъ избы вышли. Гляжу: прямо на барскій дворъ ведетъ меня тятька.

Помню: выходитъ баринъ въ халатѣ. Старый ужъ у насъ баринъ былъ. Вышелъ и табаку изъ серебряной табакерки понюхалъ,—мы ему оба въ поясъ, и еще, и еще. Поклонились.

— Что, говоритъ, вамъ нужно?

— Къ твоей милости! говоритъ отецъ: не обидь, яви ми-

лость! Парень совсѣмъ отъ рукъ отбился: работать на семью не хочетъ, за Казань просится.

— Хорошо, говоритъ. Что-жъ тебѣ нужно?

— Не возьмешь ли, говоритъ отецъ, на скотній дворъ скотину пасти? Да и чибурахнулся въ ноги. Я тоже палъ. Взглянулъ на меня баринъ. А добрый онъ былъ, всѣхъ уважалъ, какая бы ни была твоя просьба.

— Я, говоритъ отецъ: и оброчное, и государево за него платить буду самъ; яви милость!...

— Хорошо, говоритъ. Я прикажу управляющему.

Мы опять ему въ ноги; да вотъ съ этихъ самыхъ поръ, какъ лѣто, такъ и иду къ скотницѣ принимать животы. За шесть десятковъ головъ на рукахъ у меня. Я, стало быть, и отвѣчаю за нихъ.

Вотъ третеводни корова поколѣла, такъ пыталъ меня управляющій мылить: „ты, говоритъ, чего смотришь: развѣ не твое это, слышь, дѣло“? Мое-то, мое, вѣстимо мое! да поди ты, вотъ тутъ, свалило корову въ канаву, да такъ и затянулась, замоталась. Это не то, что свинья—ту, коли не заколешь, сама не свалится скоро.

— Овцы тоже маленько привередливы, нападаетъ на нихъ мокрецъ, что ли, такой; совсѣмъ изъ силъ выбиваются: крутитъ ихъ изъ стороны въ сторону, просто-на просто вьюномъ вьетъ. Такъ и замотается; а тамъ, глядишь, и другая почала. Да разъ этакъ-то, позапрошлымъ лѣтомъ, никакъ десятка два ярокъ поколѣло. Навязали было мнѣ тогда гусей стеречи, ну, и ничего: смирная птица; сядутъ эдакъ на озеро и сторожа посередь себя посадятъ. Этотъ не спитъ, гусенятъ стережетъ; на зарѣ просыпаются и кричатъ всей артелью. Теперь за ними скотницова Паранька приставлена. А мнѣ за всѣмъ не въ усмотръ было, — самъ отказался.

— Что-же ты по зимамъ дѣлаешь? спросилъ я его.

— Вѣстимо, по дому работаю... Что дадутъ, то и дѣлаю, ни отъ чего не отказываюсь. Теперь и отецъ словно бы не серчаетъ. Иной разъ кушакъ новой купитъ; рукава новые къ полушубку прошлой зимой сдѣлалъ; про невѣстъ толковалъ, да я не хочу...

— Отчего же? давно пора!

— Нѣтъ, такъ не хочу!... Безъ меня много. А то опять, глядишь, чужой вѣкъ заѣдать станешь, не хочу!

— Послѣ Матрешки боюсь, ну ихъ!... Да пора никакъ и скотину огонять въ кучу, напоить, да и въ хлѣвъ придутъ заставать—проговорилъ пастухъ, взглянувъ на небо, которое какъ будто заволокло туманомъ: солнце скрылось за оврагомъ и только видѣнъ былъ его красноватый отблескъ на верхушкахъ деревъ знакомаго уже мнѣ бора.

Я поднялся съ нимъ на гору. Пастухъ началъ сгонять коровъ, оставляя лошадей и овецъ на ночлегъ, вѣроятно и самъ предполагая остаться здѣсь же, чему неопровергаемымъ доказательствомъ служилъ шалашъ, сдѣланный изъ осиновыхъ и березовыхъ сучьевъ и примкнутый къ оврагу.

Вскорѣ явилась сама скотница и угнала коровъ. Я сталъ прощаться съ пастухомъ и распросилъ о дорогѣ.

— Иди на Печениково, говорилъ онъ мнѣ; а тамъ по болоту ступай на Сватѣлово, да смотри, легонько. Гать-то у нихъ положена, только стара больно: вертячихъ песковъ много по сторонамъ; чортовы воронки попадаются, совсѣмъ засосетъ. А не то, коли не хочешь, бери на кирпичные заводы; вотъ все прямо на сватѣловскія горошища. Тутъ тебѣ и посадъ свой знать приведется, какъ пройдешь мимо оврагу вашего.

— Ступай, вотъ, пока перелѣскомъ направо,—говорилъ онъ мнѣ, указывая на то мѣсто, въ которое мнѣ нужно было углубиться.

На полпути къ нему онъ остановилъ меня крикомъ.

— Слышь-ко!... Въ Ильинъ день у насъ въ Вертиловкѣ праздникъ, заходи пивка напиться—лихо будетъ: хороводы заводятъ. Угощеніе не хуже вашего посадскаго идетъ. Отпрошусь,— отпустятъ. Приходи, право: упоштую во-какъ!...

ДОБАВЛЕНІЕ.

ИЗЪ ПУТЕВЫХЪ ЗАМѢТОКЪ

(НА ОКРАЙНАХЪ СИБИРИ).

I.

ЯПОНКИ.

— Понравились-ли тебѣ Японки? спрашивалъ я матроса Ершова,—моего неизмѣннаго спутника, въ теченіе цѣлаго года (1860), дѣлившаго со мною и горе и радости, по Сибири, по Амуру, и на Океанѣ, а теперь возвращавшагося съ прогулки по японскому городу Хакодате на корветъ нашъ „Америку".

Ершовъ былъ матросъ старый, кругосвѣтный. Отвѣтъ его казался мнѣ вдвойнѣ интереснымъ: какъ отвѣтъ человѣка, перевидавшаго на своемъ вѣку многихъ и многое, и какъ человѣка, въ тоже время не лишоннаго способности вѣрно и мѣтко опредѣлять людей, и обыденныя житейскія явленія. Нѣсколько десятковъ разъ убѣждалъ онъ меня въ этомъ умѣньи способности, и вызвалъ вопросъ, предложенный ему по дорогѣ изъ Хакодате, еще и потому, что женскій полъ былъ его слабостью, даже больше—его вдохновеніемъ. Крутой, угрюмый и молчаливый всегда, даже при щекотливыхъ, иногда рѣзкихъ огорченіяхъ, онъ становился разговорчивымъ до болтливости, когда спрашивали его о тѣхъ женщинахъ, которыхъ удавалось ему видѣть во время двухъ кругосвѣтныхъ плаваній. По нѣскольку разъ онъ готовъ былъ отвѣчать на подобные вопросы; часто заговаривалъ самъ, — безъ всякаго, по видимому, вызова, безъ всякаго повода съ моей стороны. Но вызванный, или вызвавшійся, онъ всегда

говорилъ одно: съумѣвши сдѣлать выводы изъ личныхъ наблюденій, онъ не развивалъ ихъ далѣе за недосугомъ, или нежеланіемъ; убѣдивши себя въ результатахъ личныхъ наблюденій, онъ такъ и заморозилъ ихъ для себя и для другихъ на всегда. Выводы эти я помню, за долгими разсказами Ершова, почти слово въ слово.

— Самыя, что ни есть, лучшія на свѣтѣ француженки!— говорилъ онъ.

— Чѣмъ же?—пробовали его.

— Чистоплотны очень и къ нашему брату матросу ласковы.

— Да ты не перепуталъ-ли? Чистоплотны-то вѣдь нѣмки; онѣ же и ласковы.

— Какъ можно перепутать?! Не могу я этого сдѣлать, такъ какъ и тѣхъ и другихъ доподлинно знаю. Нѣмки—дрянь!

И затѣмъ круто поворачивалъ вопросъ, и всегда повѣствовалъ слѣдующее:

— Я когда во Францеѣ былъ въ плѣну—ихнымъ языкомъ очень занялся. Сейчасъ подойдешь къ ней: „Маданъ"! Сейчасъ ножкой сдѣлаешь, глазъ прищуришь... сейчасъ она тебѣ отвѣчаетъ: „русь"! Такъ, молъ, точно, маданъ: я русскій!

Затѣмъ Ершовъ обыкновенно махалъ рукой, отходилъ въ уголъ и тяжело вздыхалъ, вздыхалъ на всю комнату. И дальше говорилъ, но уже не столько словами, сколько движеніями. Онъ присѣдалъ, щурился; щурилъ въ особенности лѣвый глазъ, всегда выразительный и эффектный. Складывалъ руки фертомъ, подхватывалъ правую руку и опять нагибался, желая показать, что и онъ хаживалъ съ французскими маданами подъ руку. Не столько словами, на половину ломаными, на половину русскими, передавалъ онъ о своихъ куртизанствахъ, сколько объяснялъ это движеніями своего приземистаго, плечистаго, не ладно-кроенаго, но крѣпко-шитаго тѣла. Особенно работали его руки и по пре-

имуществу, пальцы, омозолѣвшіе на тягѣ брасовъ и иныхъ снастей, грубые, толстые и совсѣмъ неспособные къ передачѣ тонкихъ сердечныхъ ощущеній. А между тѣмъ ему хотѣлось выразить и передать все это. И передавая *все это*, онъ былъ рѣшительно вдохновленъ. На тотъ разъ забывалъ онъ многое, если не все положительно. Оставляя обычное мѣсто свое у двери, Ершовъ дотанцовывалъ при разсказахъ до самыхъ слушателей. Разъ, забывши о томъ, что въ числѣ послѣднихъ былъ его командиръ, онъ спокойно танцовалъ и передъ нимъ долго и сосредоточенно. Съ трудомъ онъ потомъ догадался, вспомнилъ, спохватился, попросилъ прощенія и спряталъ свое покраснѣвшее лицо и охолодѣлое тѣло за дверь.

Вытаскивая его изъ за-двери, мы все-таки и всегда слышали отъ него одно и тоже: Ершовъ не занимался въ сочиненіи новыхъ пріемовъ и новыхъ словъ, а потому въ особенности и казался вполнѣ искреннымъ и правдивымъ.

Не утерпѣло мое сердце отнестись къ нему съ вопросомъ и на тотъ разъ, когда мы шли изъ Хакодате,—отнестись, какъ къ говоруну, любителю и знатоку.

— Какъ же тебѣ, Ершовъ, показались Японскія женщины?

— А я не видалъ ихъ.

— У кого же ты саки́-то покупалъ?

Ершовъ, получившій отъ меня утромъ двѣ серебряныя, четвероугольныя японскія монеты—ицебу, цѣлый день носилъ подарокъ этотъ въ карманѣ; терпѣливо, и какъ будто даже охотно, ходилъ за мной повсюду: въ храмы, по лавкамъ, въ кипарисную рощу, на скачки въ губернаторскомъ домѣ, бродилъ за мной цѣлой день. Вечеромъ, передъ возвращеніемъ на судно, высказался: купилъ себѣ огромную плетушку съ водкой, и ее въ числѣ другихъ покупокъ, бережно пронесъ за мной, и поставилъ у меня же въ каютѣ, чтобы избавиться отъ конфискаціи, и не входить

въ споры и ссоры съ вахтеромъ. Какъ любитель крѣпкихъ напитковъ, онъ и ходилъ всюду за мной съ тою цѣлью, чтобы за моей спиной и подъ видомъ моихъ вещей пронести эту водку. Въ этомъ чистосердечно сознался онъ потомъ, когда качкой судна, на возвратномъ пути въ Россію, сбросило водку на полъ, разбило посудину и пролило влагу съ крѣпкимъ, характернымъ запахомъ спирту. Протомившись битый день на одной мысли о покупкѣ вина, онъ не замѣчалъ уже ничего больше; не замѣтилъ и японскихъ женщинъ.

— Не стыдно-ли тебѣ?

— Стыдно, ваше благородье!

— Иди же завтра: посмотри на нихъ и скажи свое мнѣніе.

— Непремѣнно схожу: отпустите.

Сходилъ Ершовъ на берегъ и рапортуетъ:

— Видѣлъ: и надо полагать, Японки съ Каначками одной породы. Стыда нѣтъ и нашему брату одно препятствіе—въ разговорѣ. На перстахъ я съ ними пробовалъ и нашолъ, что и онѣ такъ-то, что и француженки, хорошо на перстахъ понимаютъ.

— Объ чомъ же ты разговаривалъ?

— Обо всемъ.

— Напримѣръ?

— Я говорилъ: съ русскимъ не въ примѣръ лучше, чѣмъ съ агличаниномъ знакомство имѣть. Русь — доброй, сказалъ я. Усмѣхнулась: поняла значитъ. Я дальше пошолъ. Говорю: нехорошо на головахъ такія кибитки носить: голова болѣть станетъ, а у васъ, молъ, жарко. Жарко!—говоритъ: головой покрутила.“ Имѣете мужа? спрашиваю... Имѣю, говоритъ: значитъ, засмѣялась тихонько. Стыдиться, молъ, тутъ нечего, потому какъ дѣло это христіанское. Я васъ не обижать пришолъ, а поговорить только. Я, молъ, купить у васъ могу все, что вы продаете. Позвольте!—Молчитъ: „Можно—значитъ“. Я сейчасъ изъ-за са-

нога желѣзную штучку вынулъ, кругленькую. Сколько пожалуете? Головой кивнула: значитъ, самому выбирать надо. Отобралъ я у ней 10 грушъ; смотрю,—три груши къ себѣ потащила: бери-де семь. Дай, — молъ, поторгуюсь: я къ себѣ изъ трехъ этихъ двѣ придвинулъ. Гляжу: смѣется и деньги взяла. Такъ и купилъ я девять грушъ за желѣзку. *) Дешево у нихъ все, ужъ если на жестяныхъ деньгахъ торговля идетъ.

— Да ты, Ершовъ, отъ разговора-то о женщинахъ ушолъ далеко.

— Вы, ваше благородье, отпустите меня еще погулять.

Погулялъ Ершовъ и принесъ новыя вѣсти.

— Съ Японками я теперь могу разговаривать всячески. У нихъ—значитъ—только покупай, а она безъ того на тебя и вниманія не кладетъ. Француженки сами зачинаютъ: тѣ, значитъ, лучше. Отъ нихъ щекотнѣе.

— Чѣмъ же эти-то хуже?

— Первое,—онѣ въ халатахъ, что и мужчины, ходятъ: распознать трудно. Оттого я впервые и опознался. Теперь на головы смотрѣть сталъ: отмѣну увидѣлъ. У мужчины волоса селедкой свиты и положены на лобъ. У женскаго полу взбиты копной, и съ затылка на темя приглажены: не хорошо! Наша бабья коса лучше. Вотъ и все...

— А второе-то?

— Сказать не могу...

— Забылъ, или не знаешь?

— Сказать не могу.

---

*) Круглая японская монета, называемая каши, которыхъ 1700 штукъ въ ицебу, а ицебу равняется стоимости нашихъ русскихъ 43 коп. сер. Каши, какъ баранки, носятся японцами на веревкахъ: это употребительнѣйшая монета. Ицебу въ народныхъ рукахъ нечастая гостья, а золотой—овальный кобанъ—замѣчательная редкость.

Я зналъ Ершова: на чомъ всталъ—не сдвинешь. Настаивалъ я и на этотъ разъ, но не добился отъ него толку.

На другой разъ онъ самъ подъѣхалъ съ предложеніемъ.

— А вы бы, ваше благородье, сами поглядѣли на японокъ.

— Я смотрѣлъ, да мало видѣлъ. Ты ходилъ по разнымъ землямъ: глазъ твой наметаный; дальше видитъ и больше смыслитъ.

Ершовъ самодовольно улыбнулся; грѣшной человѣкъ—и онъ не лишонъ былъ самолюбія (да еще какого!) Переступивъ съ ноги на ногу, онъ ловко выправилъ плечи, твердо всталъ на мѣстѣ, самоувѣренно глядѣлъ на меня.

— Изъ некрещоныхъ-то народовъ, признаться тебѣ, Ершовъ, я только почти первыхъ и вижу.

— Это точно что такъ, ваше благородье, я это дѣло понимаю.

— Вотъ мнѣ и сравнивать здѣшныхъ не съ кѣмъ.

— Гдѣ вамъ?—сказалъ Ершовъ—да и спохватился:

— Человѣка понимать трудно; надо его къ примѣру всего... то есть знать. Всячески съ нимъ... точно чтоне такъ, какъ бы... а на счотъ обхожденія...

Ершовъ попалъ въ трущобу своей доморощеной философіи и, не привыкшій откровенно высказывать свои мысли и не выученный ясно излагать ихъ, онъ, какъ солдатъ, и притомъ не грамотный, говорилъ только слова, какія когда-то и гдѣ-то слыхалъ или подслушалъ, когда грамотные читали при немъ печатаныя книжки и, по увѣренію товарищей и по собственному сознанію, считалъ ихъ хорошими, красивыми, а, можетъ быть, и учоными. На стезѣ этого смутнаго пониманія и спутаннаго изложенія стоятъ всѣ тѣ, которые послѣ грамоты, безъ предварительной подготовки, перешли прямо къ книжкамъ и, поглотивши всякихъ такихъ книжекъ довольное множество безъ толку и

смыслу, не сдѣлались умными и учоными, а только резонерами и хвастунами. Военные писаря стоятъ во главѣ этого полу-грамотнаго полчища, и примкнулъ къ нему Ершовъ мой не по безграмотству, а по простой причинѣ,—что судьба позволила ему видѣть многое, слышать многое. Видѣлъ онъ, конечно, все вверхъ ногами, все не на своихъ мѣстяхъ, а понялъ такъ, что, по собственному его выраженію: иному дѣлу словно-бы и такъ надо быть въ головѣ-то, а станешь разсказывать — выходитъ не то. Языкъ съ мѣста не сдвинешь и никакъ къ дѣлу-то этому словъ не приладишь.

Въ такихъ случаяхъ необходимо прибѣгать къ догадкамъ.

Ершовъ продолжалъ путаться и затемнять свою мысль.

— Ты хочешь сказать, что и съ Японцомъ надо пудъ соли съѣсть, чтобы узнать его.

— Точно такъ.

— А можно и иначе.

— Извольте вы разсказать, что вы узнали,—предлагалъ онъ мнѣ.

— Что жъ изъ этого выйдетъ, и чего ты хочешь?

— Вотъ, извольте разсказывать.

— Видѣлъ я, что Японки не застѣнчивы, и не скрываются за угломъ, и не прячутъ лицъ своихъ въ рукавъ, или за спиной товарки, какъ дѣлаютъ наши дѣвки.

— Вѣрно!

— Стало быть,—по моему,—Японкамъ вольнѣе жить: ихъ не запугиваютъ, ихъ не заколачиваютъ...

— Почему?

— Видно, законъ такой.

— Это не можетъ быть, ваше благородье; баба за-всегда бита. Я гдѣ ни видалъ,—вездѣ одинъ законъ. Вотъ у Францу-

зовъ—мы пивали въ ихныхъ кабакахъ—всегда ихную сестру бьютъ.

— Лжешь ты!

— Ей—Богу не вру. И не бить ихъ нельзя... Потому—капризны очень. Когда въ ней чортъ-отъ этотъ сидитъ да разгуляться захочетъ: хуже звѣря не бываетъ. Ругается, въ лице плюетъ, глаза царапаетъ. У Канаковъ, которая въ нашего брата вцѣпится—ни чѣмъ не оторвешь, пока сама не отвалится.

— Съ тобой объ этомъ говорить трудно, потому что ты женщинъ хвалить не любишь.

— До смерти не люблю, ваше благородье.

— Надо бы тебѣ къ Японкамъ-то приглядѣться: можетъ быть и нашолъ бы въ нихъ что-нибудь хорошее, и полюбилъ-бы ихъ.

— А вы-то развѣ что-нибудь видѣли?

— Видѣлъ я, что Японки не сидѣли сложа руки, какъ твои Сибирячки, а онѣ и въ лавкахъ торгуютъ: стало-быть, мужьямъ пособляютъ.

— Да это, можетъ, солдатки, которыя вдовы. Тѣ и въ нашихъ мѣстахъ маклачатъ торговлишкой. Разноты я не вижу. Во Францеѣ тоже опять все женщины этакимъ дѣломъ занимаются. Только на Таитѣ—островѣ я не видалъ тово. Тамъ бабы, какъ быть надо бабѣ, какъ быть надо: только брюхо накалачиваетъ, да съ нашимъ братомъ матросомъ компанію имѣетъ.

— И знаете что, ваше благородье? И Ершовъ, съ плутовато-насмѣшливымъ выраженіемъ въ лицѣ, стоялъ, подпершись въ бока руками, съ выставленной впередъ ногой, готовый говорить свою любимую повѣсть о пребываніи на Отаити, о тамошныхъ женщинахъ, о своихъ похожденіяхъ съ ними. Но разсказъ этотъ онъ не приготовлялъ для печати.

— Пишите, ваше благородіе, въ книжку свою, что матросу Ершову Японки не понравились. Первое—не красивы.

— Второе—запишу, что Японки тѣмъ хороши, что рядиться не любятъ, на наряды денегъ не тратятъ и мужей своихъ не изъянятъ.

— Это не хорошо, ваше благородіе!—Чѣмъ же баба и угодить нашему брату можетъ какъ не этимъ самымъ? Если она нарядно одѣта: я и подойти къ ней могу. Мнѣ это не стыдно, мнѣ и разговоръ начать есть съ чего: вотъ молъ какая ты нарядная!—и все такое, по нашему. А похвалишь бабу — извѣстное дѣло: она эти слова твои на сердце приметъ, и ты ей понравишься. Значитъ, она чувствуетъ, что ты за-человѣкъ таковъ и чего желаешь Мы этакимъ манеромъ кругомъ свѣта объѣхали, и нигдѣ охулки на руку не клали. Насъ всякія любили за одно то, что знаемъ какъ говорить.

— Любили тебя за русскія деньги, за серебряныя.

— Деньги тутъ дѣло второе. За деньгами матросъ не стоитъ: ему зачѣмъ деньги? На деньги скупы одни Голландцы: ни Французъ ни Агличанинъ этимъ добромъ для барышенъ не скупятся. А ужъ нашему-то брату и Богъ велѣлъ.

— Я вотъ что о французянкахъ смѣю говорить вамъ опять. Вырядится шельма, да начнетъ ласкать тебя: таешь. Маленькой ручкой по щекѣ тебя треплетъ, не глядитъ, что щетиной обросла. Цѣловать не цѣлуетъ, а смотритъ такъ на тебя, что сто рублей будь, всѣ отдашь и сдачи не попросишь. Я вотъ гдѣ ни бывалъ потомъ, такихъ людей и не видывалъ. Наша баба только цѣловаться можетъ лучше, а ласковыхъ словъ она также мало умѣетъ сказывать.

— Чѣмъ же на твои глаза наша баба отъ Японской отличается?

— Надо быть, мало чѣмъ. Наша съ виду подобротнѣй: какъ-

бы изъ себя по-толще, да и лицомъ по-красивѣй. Есть вѣдь, и у насъ такія бабы, что во Францеѣ не найдешь, ей—Богу!

— Ты не божись, Ершовъ, я тебѣ въ долгъ повѣрю.

— Вѣрьте, не вѣрьте, а сказывать надо одно: вотъ мы на Амурѣ были,—Манчжурокъ видѣли: тѣ не въ примѣръ Японокъ лучше, тѣ съ нашими бабами подъ одну линію подойдутъ.

— Чѣмъ-же?

— Круглоликія такія же, какъ и наши. Въ писаные цвѣта рядиться любятъ, и на грудь къ ней взглянуть пріятно. Японки, какъ одинъ цвѣтъ наладили, такъ и ходятъ всѣ въ сѣромъ да чорномъ, словно монашенки. У Манчжурокъ и на головѣ любо: цвѣты всякіе. У нашихъ барынь я видывалъ, и во Францеѣ носятъ, а такихъ расхорошихъ нѣтъ, какъ у Манчжурокъ.

Договорившись съ Ершовымъ до Манчжурокъ, мы стояли уже съ нимъ на твердой почвѣ, могли идти по ней болѣе смѣлыми шагами, на болѣе знакомыя тропы. Я не уйду теперь вслѣдъ за моимъ товарищомъ: прежде всего потому, что объ этомъ рѣчь наша впереди, а позади насъ все-таки остается мудреная Японія. Хотѣлось бы сказать про нее что-нибудь опредѣленное, но едва-ли скажу многое: всего 10 дней стояли мы передъ Японскимъ городомъ и хотя, почти изо-дня въ день, изъ часа въ часъ, бродилъ я по берегу, но видѣть и слышать въ такое короткое время что-нибудь опредѣленное и полное—не могъ. Мои личныя наблюденія и усиленныя розыски, руководимые на большую половину сторонними подсказами,—ни къ чему привести не могли. И вотъ причина, почему и въ оригинальномъ матросѣ я принужденъ былъ искать того же, чего искалъ въ другихъ, чего не могъ найти въ своихъ личныхъ средствахъ.

Немножко матеріалистъ, немножко циникъ—Ершовъ отчасти былъ правъ въ основныхъ своихъ воззрѣніяхъ, преимущественно по отношенію къ японскимъ женщинамъ: ни въ чомъ въ такой

силѣ, не отразилась оригинальность этого неизвѣстнаго и любопытнаго народа, какъ именно въ вопросѣ объ общественномъ положеніи женщинъ.

Извѣстно, напр., по разсказамъ многихъ путешественниковъ, что ни въ одной изъ коренныхъ азіатскихъ странъ женщина не получаетъ такого воспитанія, какъ въ Японіи. Здѣсь онѣ всѣ грамотны; здѣсь рѣдкая изъ нихъ не умѣетъ играть на инструментѣ, имѣющемъ форму тѣхъ же азіатскихъ (или лучше еврейскихъ) цимбалъ, съ такими же металлическими струнами. Рѣдкая не поетъ свои гортанныя пѣсни, при чемъ человѣческое горло силится уподобить свои тоны тому же инструменту, и дальше подражанія ему не уходитъ. Рѣдкая Японка не умѣетъ танцовать, и при этомъ танецъ ея медленный, разсчитанный, весь стремится къ той цѣли, чтобы приладиться къ смыслу той же пѣсни, которой онъ служитъ дополненіемъ и объясненіемъ; отдѣльно взятый,—онъ не имѣетъ никакого значенія. На этихъ трехъ добродѣтеляхъ зиждется, говорятъ, все зданіе образовательной премудрости: и въ умѣньи танцовать, пѣть и играть заключается вся суть воспитанія японскихъ женщинъ. Премудрость эту богатыя Японки пріобрѣтаютъ дома, но бѣдныя и женщины средняго состоянія, т. е. $^{9}/_{10}$ населенія, получаютъ ее тамъ, гдѣ, по европейскимъ понятіямъ, кромѣ зла, грѣха и нравственной порчи женщина ничего не заимствуетъ.

Мы встрѣчали каждый вечеръ на улицахъ Хакодате цѣлыя толпы Японцовъ въ маскахъ и безъ масокъ, стремившихся по одному направленію въ извѣстной кварталъ, на гору. Мы ходили вслѣдъ за толпами этими и видѣли пять улицъ, въ каждой по двадцати домовъ, ярко освѣщонныхъ и наполненныхъ молоденькими дѣвушками, набѣлеными, наряжеными, съ вѣерами въ рукахъ, сидѣвшихъ передъ столиками, лицомъ къ окнамъ. По приблизительному счоту такихъ дѣвушекъ на весь городъ каждо-

годно приходится около шестисотъ. Ихъ же разбираютъ на время пріѣзжіе иностранцы, не исключая и Русскихъ и сознаются въ томъ, что роль жены-хозяйки онѣ исполняютъ въ высокой степени совершенства. Разставаясь въ свое время, не терзаются, не ревутъ, разстаются съ ледянымъ хладнокровіемъ словно старый башмакъ сбросила, какъ не годный.

Утромъ японскія дѣвушки учатся. По окончаніи полнаго курса ученія ни одинъ Японецъ не затруднится взять за себя замужъ любую изъ нихъ и ту, которая пуще другихъ ему понравится. И выйдя за мужъ и перекрасивъ, по обычаю, свои перловые, бѣлые, дѣвичьи зубы въ несмываемый чорный бабій цвѣтъ — всякая такая Японка становится неприступно - цѣломудренна. Но сдѣлавшись женой, она не дѣлается рабыней. Она помогаетъ мужу, брату въ торговлѣ, она сидитъ за нихъ въ лавкѣ (у Японцовъ, какъ и у всѣхъ Азіатовъ, страсть къ торговлѣ прочнѣе и сильнѣе всѣхъ другихъ страстей человѣческихъ): открытый, веселый, честный взглядъ японской женщины, ея свободныя, смѣлыя и рѣшительныя движенія доказываютъ необлыжно, что и тамъ, за бумажными ширмами, во внутренныхъ покояхъ, она не преслѣдуется и не заколачивается тѣмъ, чѣмъ заколотило свою женщину хотя-бы, напримѣръ, тоже азіатское мусульманство. Въ Японіи женщина ходитъ съ открытымъ лицомъ, не прячетъ ни волосъ, ни косы, не прикрываетъ чадрами и халатами стройнаго стана своего. Она, какъ есть, во всей первозданной красотѣ своей ходитъ, не оглядываясь и не потупляясь. Кажется, даже ее и на улицѣ никто обидѣть не смѣетъ, и это вѣрно, (по наблюденіямъ всѣхъ, долго жившихъ въ Японіи), она пользуется нѣкоторымъ почтеніемъ и, во всякомъ случаѣ, днемъ ее оскорбить никто не рѣшится.

Завернувши ребенка въ широкой халатъ свой и ловко приспособивъ его на груди, Японка, не боясь оскорбленій, идетъ

всюду смѣло: и въ храмъ, гдѣ она частая и исключительная гостья (мужчины не богомольны, и къ буддизму своему равнодушны до крайности), и въ баню, каковыя существуютъ въ Японіи на общемъ положеніи, какъ нѣкогда и у насъ, на Руси, т. е. въ нихъ и мужчины и женщины моются вмѣстѣ.

Заручившись извѣстными нравственными убѣжденіями и понятіями, Японка изживаетъ всю свою жизнь, не считая зазорнымъ и безнравственнымъ то, что Европейцы и Русскіе считаютъ зломъ и преступленіемъ. Въ этомъ ея особенность и ея самобытность. Европейцы могутъ сказать, что Японія живетъ вверхъ ногами, дѣлаетъ все на оборотъ, не по нашему (пишетъ съ лѣва на право и притомъ снизу вверхъ, гребетъ веслами не на себя, а отъ себя, религіозный индеферентизмъ называетъ вѣрой, воспитаніе женщинъ въ публичныхъ домахъ признаетъ законнымъ и правильнымъ и пр., и пр.), но обвинить въ варварствѣ съ женщинами никто не въ правѣ. Японія намъ можетъ не нравиться, порядки ея могутъ возбуждать негодованіе, отвращеніе, но народъ живетъ себѣ въ такихъ правилахъ не одну тысячу лѣтъ, живетъ, не шатаясь и не разваливаясь; живетъ въ назиданіе и глубокое поученіе тѣмъ, кто вмѣсто халатовъ носитъ кринолины и юбки.

Кто знаетъ, на сколько исчезли въ Японіи общечеловѣческія понятія, на сколько далекъ сталъ народъ ея отъ всѣхъ другихъ, съ которыми такъ крѣпко разъединился онъ, отрѣзанный широкимъ и негостеріимнымъ Океаномъ, съ которыми поставило препону его самоувѣренное, самодовольное и деспотическое правительство.

Но вотъ уже тамъ и сямъ, въ Хакодате и Канагавѣ, въ Симодѣ и Юкагамѣ пустились Европейцы въ изслѣдованіе и наблюденіе надъ этимъ мудренымъ и даровитымъ народомъ. Вотъ уже кое-гдѣ послышались разсказы о странѣ (до сихъ поръ ма-

ло противорѣчащіе и всегда любопытные), вотъ уже скоро исполнится полтора десятка лѣтъ, какъ стоитъ тамъ русская нога и высится надъ японскимъ городомъ домъ нашего консула съ христіанскимъ православнымъ храмомъ.

Посмотримъ, къ чему приведетъ сумма свѣдѣній и наблюденій, а до тѣхъ поръ подождемъ произносить судъ и осужденіе и японскимъ нравамъ и японскимъ понятіямъ, частицу которыхъ мы рѣшились передать въ этой сжатой формѣ.

Заключая статью нашу сожалѣніемъ о томъ, что такъ недолго привелось пробыть намъ въ этой странѣ, ради которой разсказъ нашъ,—мы все-таки должны повторить одно, что въ Японіи женщинѣ лучше, и тамъ она свободнѣе, чѣмъ во всякой другой азіатской странѣ. Для примѣра, посмотримъ на Китай, откуда, какъ извѣстно, Японія получила свою цивилизацію.

II.

КИТАЯНКИ.

Если въ святорусской землѣ—по пословицѣ: „бабій бытъ завсе битъ„—и русская женщина находится въ тяжолыхъ бытовыхъ и общественныхъ условіяхъ, то у сосѣдей нашихъ политическое положеніе женщинъ еще сумрачнѣе и безобразнѣе. Вопросъ не о томъ, что и въ Европу порядки эти пришли изъ прямого ея отечества Азіи, и что у насъ въ Россіи — больше чѣмъ въ какомъ—либо изъ другихъ государствъ Европейскаго материка,—сохранились эти остатки кочевой жизни, — рѣчь наша о порядкахъ, существующихъ въ Китаѣ, гдѣ они стоятъ въ самой страшной и варварской формѣ. Нигдѣ отецъ семейства не пользуется такой огромной властью, и если убійство дѣтей по законамъ почитается однимъ изъ тяжолыхъ преступленій, тѣмъ не менѣе оно совершается безпрестанно. Никто въ это не мѣшается; полиціи нѣтъ ни какого дѣла. Число убиваемыхъ дѣтей женскаго пола превосходитъ всякое вѣроятіе, потому что самое рожденіе дѣвочки—по народнымъ понятіямъ—почитается позоромъ для семейства и затѣмъ вся жизнь ея — тяжолымъ и безполезнымъ бременемъ.

Исходя изъ этого принципа, Китаецъ держитъ дочь въ самомъ униженномъ положеніи до тѣхъ поръ, пока не вздумаетъ отдать ее за-мужъ тому, кому онъ самъ захочетъ и когда захочетъ. И попадая въ свѣжія руки женщина и въ новомъ по-

ложеніи своемъ испытываетъ тѣже оскорбленія, подвергается тѣмъ же преслѣдованіямъ. Отъ излишныхъ и смертельныхъ побоевъ удерживается мужъ только въ видахъ личной корысти, изъ боязни потерять въ семьѣ выгоднаго рабочаго, но уже потомъ за всѣ ея прегрѣшенія онъ воленъ разсчитываться такъ, какъ повѣлитъ ему холодное сердце. Законъ становится на его сторону и является самымъ усерднымъ его защитникомъ.

Въ южныхъ провинціяхъ Китая мужъ упрекаетъ жену свою, если ее никакой другой мужчина не любитъ, — въ сѣверныхъ всякій мужъ имѣетъ право (и охотно имъ пользуется) отрубить и женѣ своей и ея соблазнителю головы, съ головами этими явиться въ главное судилище и покаяться. Блюстителя общественной и семейной нравственности судьи кладутъ на землю, даютъ ему въ спину десять ударовъ камышовой доской и этимъ разсчитываются съ нимъ за грѣхъ убійства. Затѣмъ, поставивъ его на ноги, показываютъ ему большой палецъ (бывалой понимаетъ, что палецъ этотъ показываютъ ему въ знакъ похвалы, какъ *самому первому человѣку)*, и въ концѣ концовъ награждаютъ по закону десятью ланами серебра за храбрость.

— Пречудный законъ! — (говоритъ свидѣтель такихъ случаевъ): наказываютъ какъ виноватаго, а награждаютъ, какъ учинившаго доброе дѣло.

Когда судьи убійцѣ не довѣряютъ, и нѣтъ свидѣтелей тому, что онъ убилъ жену не по злобѣ, то обѣ головы кладутъ въ чанъ съ водою и смотрятъ: если онѣ обратятся одна къ другой лицами, — у виновнаго десять бамбуковъ въ спинѣ и десять ланъ серебра за пазухой; если же мертвыя головы встрѣтятся затылками, — мужъ виноватъ, и сидитъ въ тюрьмѣ съ тяжолой колодкой на шеѣ: посинѣетъ мертвеннымъ цвѣтомъ лицо, глаза нальются кровью, запекутся губы и лучше бы и во снѣ не видать этихъ живыхъ мертвецовъ, которыхъ показывали намъ и

въ Айгунѣ и въ Маймаченѣ. Въ такомъ случаѣ, когда мужъ убьетъ кого—нибудь изъ двухъ, а не обоихъ вмѣстѣ, онъ подвергается смертной казни.

„Буде же, который вѣтреница (говоритъ нашъ авторъ) пожелаетъ чьей жены, то долженъ искать посредника, который-бы склонилъ ея мужа, дабы онъ далъ свободный доступъ къ своей женѣ, который,—безъ сомнѣнія,—не возбранитъ онаго, но уже должно на сей случай тому подлипалѣ лишиться всего своего имѣнія (коихъ примѣровъ великое множество въ Китаѣ).“

Основавшись на показаніяхъ этого нашего русскаго самовидца и на разсказахъ Европейскихъ путешественниковъ,—мы приходимъ къ слѣдующимъ выводамъ:

Бракъ у Китайцовъ имѣетъ характеръ простой, коммерческой сдѣлки, какъ и у Японцовъ же, и, по этой причинѣ, при всей страсти народа къ церемоніямъ и обрядности, обставляется такъ просто и немногосложно, какъ ни одинъ изъ другихъ семейныхъ и общественныхъ праздниковъ. Обрядъ этотъ можно передать въ двухъ словахъ. Невѣсту сыну, какъ мы сказали, выбираетъ самъ отецъ. Женихъ посылаетъ въ условленной день украшенныя цвѣтами носилки,—невѣста садится въ нихъ и отправляется въ домъ жениха въ предшествіи фонарей, украшенныхъ рѣзьбой и позолотой и въ сопровожденіи носильщиковъ (съ красными сундуками, заключающими приданое) и музыкантовъ (съ бубнами и трубами). На дворѣ дома ее встрѣчаетъ женихъ съ лукомъ и стрѣлами. Двѣ стрѣлы тотчасъ же пускаетъ онъ въ два угла двора съ намѣреніемъ убить злыхъ духовъ, а третью въ потолокъ средней избы и въ третьяго домашняго чорта. Этимъ женихъ кончаетъ весь обрядъ, завершаемый пиршествомъ, послѣ котораго онъ становится мужомъ, невѣста — его рабыней на всю жизнь.

Она—купленая вещь; онъ — покупатель, истратившій все

свое достояніе на свадебныя церемоніи и на подарки; отецъ невѣсты—продавецъ, получившій въ свою собственность большую часть затраченнаго зятемъ капитала. Затѣмъ, всѣ трое остаются въ тѣхъ обязательныхъ между собою отношеніяхъ, по которымъ тесть обязанъ молчать, какъ купецъ, запродавшій товаръ и не имѣющій права почитать его своимъ; его зять — куплею получившій право на владѣніе пріобрѣтеннымъ — можетъ поступать такъ, какъ бы со всякимъ другимъ товаромъ. Не погодится ему товаръ этотъ, онъ, съ разрѣшенія начальства, можетъ продать его тому, кто больше дастъ; продастъ и тестю, если припадетъ тому охота взять дочь и вознаградить зятя за всѣ издержки. Считая купленой товаръ для себя выгоднымъ и притомъ только такимъ, который могъ-бы, при болѣе благопріятныхъ условіяхъ, быть лучшимъ, чѣмъ онъ оказался на самомъ дѣлѣ,—покупатель употребляетъ всѣ дозволенныя закономъ и обычаями средства къ его исправленію. А такъ какъ, по тѣмъ же законамъ и обычаямъ, — онъ дальше кулаковъ и бамбуковъ не ходитъ, и какъ все это падаетъ на живыя и чувствительныя мѣста, то вѣроятіе боли предупреждается только единственнымъ правомъ, оставшимся у продавца. Тесть съ друзьями и родными, можетъ придти къ зятю и посовѣтовать ему не дѣлать обидъ и притѣсненій. Если же зять убьетъ жену, тесть наказать его за то не имѣетъ никакого права. Жена убьетъ мужа, — ее судъ правительственной изрѣжетъ въ мелкіе куски. Надъ мужомъ же останется только единственный контроль и единый страхъ, — это его собственный отецъ, въ свою очередь полный властитель его дѣяній: за оскорбленія невѣстки онъ можетъ, если захочетъ, бить своего сына, сколько его душѣ угодно.

Все это безобразіе отношеній вытекаетъ изъ одного источника — изъ принципа повиновенія старшимъ, доведеннаго у Ки-

тайцовъ до той грани, дальше которой ни одинъ народъ на свѣтѣ дойти не въ состояніи. Уродливое же устройство семейныхъ отношеній прямо находится въ зависимости отъ неограниченной власти, каковая предоставляется главѣ семьи и старшимъ лицамъ какой-бы-то ни было корпораціи.

Отецъ непокорному сыну, съ разрѣшенія главнаго судилища, можетъ отрубить голову, можетъ задавить его тетивой. Отъ дѣтей не принимаютъ на родителей ни обвиненій, ни оправданій, не даютъ труда производить какое-либо слѣдствіе. Достаточно отцу придти къ судьямъ и объявить, что онъ не доволенъ сыномъ или дочерью, чтобы первымъ же вопросомъ получить отъ нихъ вопросъ о томъ, какое наказаніе онъ полагаетъ для себя удовлетворительнымъ. Сынъ, убившій отца, изрѣзывается въ куски. Смерть родителей обязываетъ сына трехлѣтнимъ трауромъ, и когда онъ опоздаетъ надѣть этотъ трауръ — его немилостивно бьютъ бамбуками. Точно также поступаютъ съ нимъ и тогда, когда онъ сниметъ трауръ раньше назначеннаго времени, или приметъ участіе въ какихъ-либо увеселеніяхъ. Чиновникъ на всѣ эти года обязанъ отказаться отъ службы; купецъ—отъ поѣздки на мѣста своей коммерческой дѣятельности. Бракъ, заключонный во время траура, считается недѣйствительнымъ.

Неуваженіе къ старшимъ, равносильно у Китайцовъ безбожію, и есть одно изъ величайшихъ преступленій. Ударившій старшаго роднаго подвергается смертной казни. Несправедливо обвинившій родныхъ, выразившій желаніе начать съ кѣмъ-либо изъ нихъ тяжбу, даже оскорбившій ихъ словомъ въ одинаковой мѣрѣ полагаются достойными того же наказанія.

Таковы главныя причины, содѣйствующія тому обстоятельству, что китайская семья—главная язва и основной тормазъ, замедляющій правильное шествіе впередъ народа, у котораго умъ необыкновенно быстрый и понятливый, физическія свойства нахо-

дятся въ необыкновенно гармоническомъ сочетаніи, у котораго смѣтливость идетъ рядомъ со способностью ко всякому ремеслу. Къ рѣдкой способности извлекать пользу изъ своихъ знаній присоединяется ловкость и умѣнье самыми простыми орудіями достигать громадныхъ результатовъ. Но коренной государственный принципъ умѣетъ и здѣсь налагать свои цѣпи, и, ослабляя свою силу только по отношенію къ мужскому населенію государства, — онъ въ конецъ обездолилъ другую половину его—женскую.

Женщина не только въ семьѣ пролетарія—кули (въ южныхъ провинціяхъ), или сибарита—купца (въ сѣверномъ Китаѣ), но и въ семьѣ самаго сына Неба подвергается всѣмъ случайностямъ несчастій, какими награждаютъ своихъ женъ мужья изъ этого сладострастнаго и чувственнаго народа. Не смотря на то, что у жены богдыхана хранится государственная печать, и она въ понятіяхъ народа почитается лучшею женщиною во всей Небесной Имперіи—судьба ея подчинена деспотизму мужа на столько же, на сколько силенъ этотъ деспотизмъ и въ полу-сгнившихъ манчжурскихъ хижинахъ на берегу Амура.

Возьмемъ примѣръ конца прошлаго столѣтія (что все равно).

Въ Китаѣ царствовалъ богдыханъ Цянъ-Лунь, человѣкъ безнравственный и корыстолюбивый, разъ позволившій себѣ ограбить гробницу своего евнуха *), съумѣвшаго скопить огромныя сокровища. Въ могилѣ этой богдыханъ нашолъ, какъ и ожидалъ, огромнаго идола (бурхана), вылитаго изъ чистаго золота, и совершивъ такой грѣхъ святотатства и уличонный въ томъ мандаринами, онъ самопроизвольно осудилъ себя на 4 мѣсяца въ ссылку. На мѣстѣ ссылки онъ встрѣтилъ монахиню и влюбился въ нее **).

---

*) Евнухи въ Китаѣ полагаются только у родственниковъ богдыхана (ванахъ чунахи и пр); при дочеряхъ богдыхана также имѣются таковые.

**) *Послѣдователи* Лау-дзи женятся и живутъ съ женами въ монастыряхъ.

Возбужденная ревность въ женѣ его заставила эту просить богдыхана объ томъ, чтобы онъ возвратилъ ея соперницу въ монастырь. Цянъ-Лунь не только не послушался совѣтовъ, но приказалъ женѣ своей самой удалиться и не считаться императрицой. Оскорбленная и сосланная въ заточеніе женщина извела себя до того, что на возвратномъ пути изъ ссылки, по дорогѣ въ Пекинъ, умерла съ тоски и горя. Но у Цянъ-Луна была вторая жена (и тоже законная *). Въ сокровищахъ богдыхана находилась между прочимъ жемчужина, величиною въ куриное яйцо, превращонная въ табакерку и подаренная Цянъ-Луну однимъ изъ губернаторовъ, выкупившимъ ее за сто ланъ серебра отъ ростовщика. Табакерка эта пропала. Цянъ-Лунь заподозрилъ жену, пыталъ ея прислужницъ, и трехъ изъ нихъ замучилъ до смерти. Оскорбленная жена высказала свое негодованіе. Богдыханъ началъ ее сначала бранить, потомъ надавалъ нѣсколько пощочинъ и, наконецъ, сваливъ ее на полъ, сталъ таскать за волосы и бить ногами. Билъ онъ ее до тѣхъ поръ, пока самъ не пришолъ въ изнеможеніе. Тогда битая отправилась жаловаться къ богдыхановой матери: говорила, что она не раба, и, какъ императрица, обидъ такихъ выносить не можетъ. Свекровь обвинила ее самое въ нескромности, и отсылала къ мужу просить прощенія въ томъ, что позволила себѣ возбудить въ немъ гнѣвъ. Обиженная не согласилась и была обругана во второй разъ до того, что съ отчаянія отрѣзала себѣ тутъ же, передъ свекровью, половину косы и тѣмъ показала, что она уже не желаетъ быть больше женою изверга. Свекровь выгнала ее изъ своихъ комнатъ съ безчестіемъ. Вскорѣ пришолъ къ матери и самъ Цянъ-Лунь. Мать выговари-

---

*) Китайскій законъ не дозволяетъ многожонства, но терпитъ гаремы. Дѣти наложницъ считаются законными дѣтьми, но не собственныхъ своихъ матерей, а той, которая признается законною.

вала ему за его непристойные поступки, и приказала идти тотчасъ помириться съ женой. Богдыханъ далъ ей въ томъ слово, но, придя къ женѣ, снова началъ ее бить и въ заключеніе приказалъ выгнать ее со двора, предоставивъ ей полную волю искать себѣ пріюта, гдѣ хочетъ. Узнавъ объ этомъ скандалѣ, мать Цянъ-Луна, знавшая, что такого примѣра еще не было въ Китаѣ съ самого его существованія, требовала отъ сына, чтобы онъ далъ женѣ пріютъ и пропитаніе. Цянъ-Лунь отвелъ внутри дворца особенныя комнаты, и, исполнивъ такимъ образомъ священную обязанность по отношенію къ матери, — по отношеніямъ къ женѣ остался все тѣмъ же злодѣемъ. Въ конецъ уничтоженная женщина вскорѣ умерла отъ невыносимыхъ побоевъ и глубокихъ оскорбленій. У простыхъ смертныхъ единственный выходъ изъ тяжкаго семейнаго положенія—самоубійство: Китаянки часто прибѣгаютъ къ этому средству охотно, и случаи самоубійствъ въ Китаѣ и въ особенности въ Пекинѣ довольно обыкновенны. Огорченныя жены обыкновенно давятся; нерѣдко находятъ ихъ трупы въ грязныхъ и глубокихъ городскихъ канавахъ.

Таковъ многопечальный жизненный путь, по которому идетъ Китаянка, одѣтая въ отличный шолкъ, украшенная отличнаго дѣла искуственными цвѣтами, на своихъ маленькихъ до уродливости ножкахъ. *) Если идти за ней слѣдомъ и слѣдить за ней внимательно—мы можемъ придти къ такимъ подробностямъ, которыя будутъ еще сумрачнѣе, еще безпривѣтнѣе. Мы не будемъ останавливаться на нихъ, боясь утомить вниманіе читателей.

Скажемъ одно, что отобравъ у женщины всякое право и общественное дѣло, мущины оставили ей много досуга, которымъ

*) Маленькія ножки принадлежность только богатыхъ дѣвушекъ, имѣющихъ средства восполнять носильщиками недостатокъ искуственнаго уродованія природы. Колодки для дѣвичьихъ ногъ употребляютъ только *именитыхъ* Китайцовъ, въ особенности въ Пекинѣ.

живое и разумное существо и поспѣшило воспользоваться, къ выгодѣ не только своей личной, но—какъ увидимъ ниже—и всего человѣчества. Такъ напр. (между прочимъ), при всѣхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, китайская женщина все-таки съумѣла—во многихъ отношеніяхъ, своимъ досугомъ и знаніемъ оказать не только общественную, но и государственную пользу. Не забудемъ того, что главная гордость Китая или то, что доставило ему всемірную извѣстность и славу, то, наконецъ, что разнеслось изъ Китая по всему свѣту,—изобрѣтено было женщиною, поддерживается и направляется до сихъ поръ исключительно женщиною. Это искусство разведенія шолковичныхъ червей и приготовленіе изъ доставляемаго ими матеріала—шолку—матерій.

Лучшій шолкъ, какъ извѣстно китайскій; лучшія шолковыя матеріи—китайскія. Ни одинъ народъ не достигъ еще до той степени совершенства въ выдѣлкѣ матерій, на какой нѣсколько столѣтій стоитъ народъ этотъ—изобрѣтатель искусства шолководства.

На этомъ же предметѣ—въ заключеніе статьи нашей—мы хотимъ остановить вниманіе читателей. *)

Искусство шолководства изобрѣтено въ Китаѣ—говорятъ—слишкомъ за 2600 лѣтъ до Р. Х. Изобрѣла его царица Цилиниши. Она кормила шолковыхъ червей, выдѣлывала шолкъ и собственными руками ткала изъ него матеріи. Предъ началомъ этой работы царица постилась, по окончаніи ея вытканную матерію приносила въ жертву богамъ, сожигая ее. Такъ говоритъ преданіе, и вотъ что сказываютъ современные наглазные факты.

Какъ земледѣліе полагается главнымъ основаніемъ для благосостоянія, и самъ богдыханъ, въ примѣръ и поученіе подданнымъ, проводитъ плугомъ ежегодно первую борозду, такъ точно и шол-

---

*) Мы будемъ держаться того китайскаго подлинника, переводъ котораго случайно достался намъ во время пребыванія нашего въ Маймаченѣ.

вала ему за его непристойные поступки, и приказала идти тотчасъ помириться съ женой. Богдыханъ далъ ей въ томъ слово, но, придя къ женѣ, снова началъ ее бить и въ заключеніе приказалъ выгнать ее со двора, предоставивъ ей полную волю искать себѣ пріюта, гдѣ хочетъ. Узнавъ объ этомъ скандалѣ, мать Цянъ-Луна, знавшая, что такого примѣра еще не было въ Китаѣ съ самого его существованія, требовала отъ сына, чтобы онъ далъ женѣ пріютъ и пропитаніе. Цянъ-Лунь отвелъ внутри дворца особенныя комнаты, и, исполнивъ такимъ образомъ священную обязанность по отношенію къ матери, — по отношеніямъ къ женѣ остался все тѣмъ же злодѣемъ. Въ конецъ уничтоженная женщина вскорѣ умерла отъ невыносимыхъ побоевъ и глубокихъ оскорбленій. У простыхъ смертныхъ единственный выходъ изъ тяжкаго семейнаго положенія—самоубійство: Китаянки часто прибѣгаютъ къ этому средству охотно, и случаи самоубійствъ въ Китаѣ и въ особенности въ Пекинѣ довольно обыкновенны. Огорченныя жены обыкновенно давятся; нерѣдко находятъ ихъ трупы въ грязныхъ и глубокихъ городскихъ канавахъ.

Таковъ многопечальный жизненный путь, по которому идетъ Китаянка, одѣтая въ отличный шолкъ, украшенная отличнаго дѣла искуственными цвѣтами, на своихъ маленькихъ до уродливости ножкахъ. *) Если идти за ней слѣдомъ и слѣдить за ней внимательно—мы можемъ придти къ такимъ подробностямъ, которыя будутъ еще сумрачнѣе, еще безпривѣтнѣе. Мы не будемъ останавливаться на нихъ, боясь утомить вниманіе читателей.

Скажемъ одно, что отобравъ у женщины всякое право и общественное дѣло, мущины оставили ей много досуга, которымъ

*) Маленькія ножки принадлежность только богатыхъ дѣвушекъ, имѣющихъ средства восполнять носильщиками недостатокъ искуственнаго уродованія природы. Колодки для дѣвичьихъ ногъ употребляютъ только *у именитыхъ* Китайцовъ, въ особенности въ Пекинѣ.

живое и разумное существо и поспѣшило воспользоваться, къ выгодѣ не только своей личной, но—какъ увидимъ ниже—и всего человѣчества. Такъ напр. (между прочимъ), при всѣхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, китайская женщина все-таки съумѣла—во многихъ отношеніяхъ, своимъ досугомъ и знаніемъ оказать не только общественную, но и государственную пользу. Не забудемъ того, что главная гордость Китая или то, что доставило ему всемірную извѣстность и славу, то, наконецъ, что разнеслось изъ Китая по всему свѣту,—изобрѣтено было женщиною, поддерживается и направляется до сихъ поръ исключительно женщиною. Это искусство разведенія шолковичныхъ червей и приготовленіе изъ доставляемаго ими матеріала—шолку—матерій.

Лучшій шолкъ, какъ извѣстно китайскій; лучшія шолковыя матеріи—китайскія. Ни одинъ народъ не достигъ еще до той степени совершенства въ выдѣлкѣ матерій, на какой нѣсколько столѣтій стоитъ народъ этотъ—изобрѣтатель искусства шолководства.

На этомъ же предметѣ—въ заключеніе статьи нашей—мы хотимъ остановить вниманіе читателей. *)

Искусство шолководства изобрѣтено въ Китаѣ—говорятъ—слишкомъ за 2600 лѣтъ до Р. Х. Изобрѣла его царица Цилиниши. Она кормила шолковыхъ червей, выдѣлывала шолкъ и собственными руками ткала изъ него матеріи. Предъ началомъ этой работы царица постилась, по окончаніи ея вытканную матерію приносила въ жертву богамъ, сожигая ее. Такъ говоритъ преданіе, и вотъ что сказываютъ современные наглазные факты.

Какъ земледѣліе полагается главнымъ основаніемъ для благосостоянія, и самъ богдыханъ, въ примѣръ и поученіе подданнымъ, проводитъ плугомъ ежегодно первую борозду, такъ точно и шол-

---

*) Мы будемъ держаться того китайскаго подлинника, переводъ котораго случайно достался намъ во время пребыванія нашего въ Маймаченѣ.

ководство становится на ту же самую степень великаго государственнаго значенія. До сихъ поръ всѣ жоны богдыхановъ, имѣя близь дворца великолѣпный домъ, назначенный для шолковой фабрики, сами, въ установленное время въ году съ дамами и дѣвицами своими занимаются искусствомъ шолководства,—въ томъ разсчотѣ, чтобы примѣромъ своимъ поддерживать въ народѣ сознаніе великой важности этого полезнаго занятія.

Вотъ что говоритъ объ этихъ занятіяхъ китайскій подлинникъ.

„Спустя нѣсколько дней послѣ зимняго солнечнаго поворота принимаются за шолковыя яички или сѣмяна, рожденныя бабочками и прильнувшія, какъ макъ, къ толстой бѣлой бумагѣ. Яички эти кропятъ снѣжною холодною водой въ теченіе двухъ дней, по два раза. Потомъ бумагу съ сѣмянами свертываютъ и держатъ 20 дней въ холодномъ и чистомъ мѣстѣ, гдѣ не позволяютъ курить табакъ (что у Китайцовъ въ великомъ употребленіи). Послѣ двадцати дней кладутъ въ цинковую или фаянсовую корчагу, закупориваютъ и—до времени вступленія солнца въ знакъ рыбы—черезъ каждые девять дней выносятъ по одному разу въ день на солнце для обогрѣванія; а по вступленіи солнца въ знакъ рыбы, бумагу съ сѣмянами, вынувши изъ корчаги, кропятъ одинъ разъ рѣчной водой, затѣмъ,—спустя 40 дней, выносятъ эту корчагу въ теплый покой и кладутъ на полку.

Когда на шолковичныхъ деревьяхъ появляются листочки, бумагу съ сѣмянами вынимаютъ изъ корчаги и грѣютъ на солнцѣ, переворачивая на обѣ стороны и наблюдая, чтобъ не горячо нагрѣвалась. Отъ нагрѣванья сѣмяна видъ свой перемѣняютъ, масса ихъ оказывается пепельнаго цвѣта; бумагу опять свертываютъ, и снова кладутъ въ корчагу, гдѣ и держатъ ее полсутки. Вынувши оттуда, разстилаютъ на лоточкахъ, грѣютъ въ полуденное время на солнцѣ (полчаса времени),—потомъ выносятъ въ покой, въ которомъ черезъ $^1/_4$ часа сѣмяна превращаются въ черненькихъ

червячковъ. Червячкамъ этимъ въ то же самое время спѣшатъ дать ѣсть шолковичныя листья (тутоваго дерева) мелко—изрубленные и просѣянные сквозь чистое рѣшето.

Червячки, послѣ ѣды, выростаютъ въ три дня. На седьмой становятся жолтыми и засыпаютъ на цѣлыя сутки, поднявши въ верхъ головы.

Послѣ сна, жолтый цвѣтъ измѣняется въ бѣлый, изъ бѣлаго переходитъ въ чорный, изъ чорнаго опять въ бѣлый, а изъ бѣлаго снова въ жолтый—и на четырнадцатый день отъ рожденія они снова засыпаютъ.

Послѣ втораго сна, червячки черезъ семь дней еще разъ перемѣняютъ цвѣта, также какъ и послѣ перваго сна и засыпаютъ въ третій разъ: въ 21-й день отъ рожденія.

Послѣ третьяго сна черви начинаютъ вить гнѣзда безпрерывно въ теченіи трехъ сутокъ, выпуская въ то же время тягучую нить и обматываясь въ нее кругомъ себя въ пролговатой клубочекъ на подобіе яйца (съ пустотою внутри). Въ клубочкѣ эти черви заматываются на-глухо. Гнѣзда, нужныя для сѣмячекъ, вносятъ въ особой чистой покой, на прохладной вѣтерокъ. Черезъ 5—6 сутокъ изъ гнѣздъ выходятъ бабочки мужескаго и женскаго родовъ. Вышедшіе тотчасъ совокупляются, и отъ самокъ родятся новыя сѣмячки. Бабочки ничего не ѣдятъ, и отъ мѣста своего прочь не лѣтятъ, а только порхаютъ, поднимаясь не высоко и живутъ не дольше трехъ сутокъ. *) Гнѣзда, назначенныя для шолку, кладутъ въ цинковатый горшокъ, и на нихъ,—(чтобы не родились снова бабочки), сыплютъ немного соли, обертывая при этомъ, въ большой и толстый древесной листъ. Горло горшка,

*) Сѣмяна ихъ похожи на макъ,—жолтоваты. Изъ сѣмянъ отъ каждой пары бабочекъ можетъ народиться червей на одинъ золотникъ вѣсомъ, а изъ золотника червей можетъ выдти слишкомъ два фунта шолку.

замазываютъ глиной, и такимъ образомъ морятъ тутъ червей семь сутокъ. Вынувши, варятъ въ котлахъ *), и затѣмъ уже мотаютъ шолкъ.

Покой, въ которомъ кормятъ червей, долженъ быть свѣтѣлъ: окна въ немъ располагаются со всѣхъ четырехъ сторонъ. Стѣны, окна и потолокъ оклеиваются чистою бѣлою бумагою. Для обогрѣванія червей, по угламъ прилаживаются четыре печи. При этомъ наблюдаютъ, чтобы тепло соразмѣрялось со временемъ года и состояніемъ погоды и имѣя въ виду, что сутки для червей равносильны году: утро—весна, вечеръ—осень, полдень—лѣто, ночь—зима. Наблюдаютъ также, чтобы, когда червяки появятся—тепла было больше, а когда уснутъ—меньше. Послѣ послѣдняго сна, для нихъ нуженъ холодъ, а когда начнутъ они вить гнѣзда—большое тепло. Черви любятъ чистоту, тишину, сухость, а потому стараются наблюдать, чтобы не было дыму, пыли, сырости, дурнаго запаху, стуку и крику. Когда черви черны, — они голодны, и много ѣдятъ въ это время; бѣлые—меньше, а жолтые—уже сыты. Съ этимъ соразмѣряется выдача имъ листьевъ, которые должны быть ни слишкомъ сухи, ни слишкомъ мокры, ни слишкомъ холодны, или горячи, и не имѣли бы дурнаго запаху. Кормятъ червей на лоточкахъ, плетеныхъ изъ тонкихъ прутьевъ, на которые подстилается тонкое и мягкое сѣно, а сверху послѣдняго кладется тонкій холстъ, чтобы червямъ было мягко. Лоточки устанавливаютъ на станкахъ въ три ряда; одни сверху—пустые: для сохраненія отъ пыли; другіе—въ серединѣ: съ червями, гдѣ ихъ и кормятъ; третьи, нижніе — также пустые: для сохраненія отъ влажныхъ и сырыхъ паровъ.

Наблюдаютъ, чтобы на лоточкахъ червямъ не было тѣсно,

---

*) Котлы большіе. Изъ одного котла выходитъ шолку около полутора пуда; а шолкъ мотаютъ 5 женщинъ.

и для того дѣлятъ ихъ на мелкіе лоточки, полегоньку ихъ состукивая и снимая руками, или чѣмъ-либо другимъ. Когда созрѣвшіе черви начнутъ искать для гнѣздъ мѣста, въ то время состукиваютъ ихъ на большія плетеныя клѣтки. Гнѣзда бываютъ бѣлыя и жолтыя. Бѣлыя почитаются лучшими. Смотрятъ, чтобы на гнѣзда не попадала мокрота, пыль, копоть, или другая какая-либо нечистота. Тѣ гнѣзда хороши, которыя ближе къ солнцу. Гнѣзда, отобранныя для бабочекъ, складываютъ одно къ другому, не стѣсняя ихъ близкими сопоставленіями. Передъ выходомъ бабочекъ гнѣзда шевелятъ. Бабочекъ сажаютъ попарно, на толстую бѣлую бумагу, отобравши неуродовъ, не имѣющихъ страшнаго вида.

На этой бумагѣ самецъ съ самкою совокупляются. Самки выбрасываютъ сѣмячки, которыя такъ крѣпко прилипаютъ къ бумагѣ, что не въ состояніи отъ нея отвалиться. Бабочки потомъ умираютъ. Умершихъ и уродовъ, бабочекъ, зарываютъ въ землю, по той причинѣ, что ихъ почитаютъ ядовитыми, вредными для скота и птицы.“

Бумагу съ сѣмянами до времени зимняго солнечнаго поворота держатъ въ чистомъ, сухомъ и тепловатомъ мѣстѣ, гдѣ нѣтъ, какъ сказано,—зною, угару, дыму, пыли и сырости.

По наступленіи времени зимняго солнечнаго поворота, опять принимаются за сѣмяна и начинаютъ съ ними туже исторію, которую мы разсказали, и подробностей которой мы же не услышимъ ни отъ одного изо всѣхъ другихъ азіатскихъ народовъ. Только одни Китайцы способны на такую терпѣливую чистоту отдѣлки, поражающую всякаго, кто подходитъ къ этому народу съ желаніемъ изученія и поученія.

Отъ того же, можетъ быть, ни одинъ народъ и недошолъ до такой мастерской выдѣлки шолка и шолковыхъ издѣлій.

Отдаленность Китая, затрудненіе въ сообщеніяхъ, соперничество удешевленіе въ Европѣ шолковыхъ французскихъ матерій и, наконецъ то[illegible]ное обстоятельство, что Китаецъ, по своей натурѣ, живетъ только для настоящаго дня, и не любитъ и не понимаетъ запаса и залишка, — служатъ причинами тому, что китайскія шолковыя матеріи — въ Европѣ рѣдкость. Тѣмъ не менѣе у насъ, въ Россіи, извѣстны два сорта: канфа и фанза; а въ Сибири, сверхъ того еще: канча, янча, чемуча, или какъ называютъ на Кяхтѣ, чечуча, лянза и пр. *) Не такъ давно матеріи эти вывозились въ Кяхту для сибирячекъ. Привозятъ ихъ и теперь, но не иначе, какъ по заказу; въ китайскихъ лавкахъ — матеріи эти замѣчательная рѣдкость и при томъ низшаго достоинства. Чтобы получить высшій сортъ, надо обратиться къ купцу, и ждать матеріи по крайней мѣрѣ цѣлый годъ. Придетъ она съ чайнымъ караваномъ на верблюдахъ и явится въ такой высокой цѣнѣ, что по сравненію съ ней, французскій пу-де-суа значительно дешевле, не смотря на то, что путь этой испытывается до Иркутска и Кяхты несравненно больше мытарствъ. Китайская ма-

---

*) Распредѣляемъ эти матеріи по относительному ихъ достоинству:

Канфа—лучшій атласъ отъ 60—80 р. сер. по цѣнѣ на Кяхтѣ; выходитъ $1^1/_2$ платья.

Канча—атласная матерія, для покрышки трубокъ и салоповъ; легче канфы.

Неизвѣстная имени китайскія матеріи, [illegible]зущія подъ именемъ крепа—легкая, маковая, узорчатая, употребляемая въ Сибири на халаты и дамскія лѣтнія платья.

Фанза—родъ плотнаго фуляра: легкая и жидкая, употребляемая для сорочекъ и на подкладку.

Янча—низшій сортъ канфы.

Чемуча—съ бумажной ниткой шолковая матерія; идетъ въ Сибири (гдѣ ее называютъ чунча) на халаты и подкладку; кусокъ 12 рублей.

Лянза—на сырцу: легонькая, дрянная; ею обтягиваютъ ящики съ цвѣточными чаями; бурята покупаютъ ее на оторочку своихъ лабашаковъ.

терія въ Россіи все-таки диковинка, а по высокой цѣнѣ своей даже большая рѣдкость.

Подождемъ, когда наши дѣла съ Китаемъ будутъ лучше, а въ настоящее время они становятся все хуже и хуже: Кяхта напр. уже совсѣмъ убита.

КОНЕЦЪ ВТОРАГО И ПОСЛѢДНЯГО ТОМА.

Stanford University Libraries
3 6105 124 445 821

PG
3337
M3L48
V.2

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.